

Марк Твен
Приключения Гекльберри Финна

Переводс английского С. Ильина

Глава I. Я узнаю про Моисея в камышах

Вы меня не знаете, если, конечно, не читали книжку, которая называется «Приключения Тома Сойера», да оно и не важно. Книжку написал мистер Марк Твен и там все правда – ну, по большей части. Кое-что он преувеличил, но в основном писал по правде. Я его не осуждаю. Отроду не видал человека, которому не случалось бы иногда приврать – не считая, конечно, тети Полли, вдовы, ну и, может быть, Мэри. Тетя Полли – это томова тетя Полли, – а про Мэри и вдову Дуглас как раз в той книжке и рассказано, – той, которая в основном правдивая, но, как я уже говорил, с преувеличениями.

Вот, а кончается она так: мы с Томом нашли деньги, которые грабители в пещере прятали, и разбогатели. По шесть тысяч долларов на нас заимели – и все золотом. Здоровая такая куча получилась, когда их на стол вывалили. Ну, судья Тэтчер взял эти деньги и положил их в банк, под проценты, так что оникаждый божий день приносили нам по доллару – больше, чем человек может потратить. А вдова Дуглас, она вроде как усыновила меня и надумала сделать изменя цивилизованного человека, но только жить все время в ее доме было тяжело, потому как там все оказалось устроенным по разным унылыми правилам, все чин-чином, так что я, в конце концов, не выдержал и смылся. Напялил мое старое тряпье, снова поселился в бочке изпод сахара и зажил на свободе в свое удовольствие. Однако Том Сойер отыскал меня и сказал, что собирается сколотить шайку разбойников и меня в нее примет, если я вернусь к вдове и стану приличным человеком. Я и вернулся.

Вдова поплакала надо мной, обозвала меня бедной заблудшей овечкой и всякими другими словами, но вовсе не потому, что обидеть хотела. Снова на меня новый костюмчик напялили, в котором только одно хорошо и получалось – потеть да от неудобства корчиться. В общем, пошло все по-старому. Опять к ужину колокольчик зазвонил, значит надо к столу идти да не запаздывать. А как придешь, то сразу есть нельзя, подожди, пока вдова не склонит над снedyю голову и не побормочет немного, хотя еда была как еда – нормальная, если не считать того, что варилося для нее все по отдельности. То ли дело жизнь в бочке: намешаешь всякую всячину, каждая из них сочок даст и всё им пропитается – и жевать не надо, само в глотку идет.

После ужина вдова достала книгу и почитала мне про Моисея в камышах. Поначалу мне страх как хотелось узнать, чего там с ним дальше было, но потом вдова проговорила, что Моисей давным-давно помер и мне стало неинтересно – чего это ради я про покойника-то слушать буду?

Потом мне захотелось покурить, и я попросил у вдовы разрешения. И не получил. Вдова сказала, что это дурная, нечистая привычка, что я должен постараться избавиться от нее. Такое нередко случается. Набрасывается человек на что-нибудь, в чем ни аза не смыслит. Вот и вдова – волнуется насчет Моисея, который ей даже не родственник, да и проку от него никому никакого – он же помер, верно? – и при этом виноватит меня за привычку, в которой хоть что-то приятное есть. А сама, между прочим, табачок-то нюхает и ничего, все правильно, – это ж она делает, а не кто другой.

А в скором времени приехала, чтобы жить с нами, ее сестра, мисс Ватсон, тощая такая старая дева в очках, и тут же прицепилась ко мне спрoписями. Целый час приставала, пока вдова ее не окоротила. Да и то сказать, ябы больше не выдержал. А в следующий час я и вовсе чуть не пропал со скуки, я его весь на стуле просидел, вернее, проерзал. Ну и мисс Ватсон,

конечно, завелась: «Не клади сюда ноги, Гекльберри», да «Не горбись так, Гекльберри, сядь прямее», да «Не зевай и не потягивайся, Гекльберри, постарайся вести себя прилично». А потом начала мне про ад втолковывать, а я возьми да и брякни, что хотел бы туда попасть. Она прямо осатанела, хотя я ж никого обидеть вовсе и недумал. Я только одного и хотел – оказаться в каком-нибудь другом месте, ну, обстановку сменить, а уж на какую, это мне было без разницы. А она давай разливать на счет того, какие плохие слова я сказал, она, дескать, таких ни за что на свете не сказала бы, уж она-то постарается жить так, чтобы попасть на небеса. Мне как-то улыбалось оказаться в одном месте с *ней*, и я решил, что особенно напрягаться ради этого не буду. Однако говорить ничего не стал, – проку-то, одни только новые неприятности наживешь.

А она уже разошлась вовсю, так про эти самые небеса и изливается. Говорит, все, что там требуется от человека, это ходить день-деньской с арфой и петь – и так во веки веков. Мне и это не шибко понравилось. Но я опять промолчал. Только спросил, как она думает, попадет туда Том Сойер? – и она ответила, что ни в коем разе. Меня это обрадовало, потому как мне хотелось, чтобы мы с ним в одно место попали.

В общем, изводила меня мисс Ватсон, изводила и стало мне, наконец, совсем невмоготу. Но тут пришли негры, мы все помолились, а потом разошлись по кроватям. Я поднялся с огарком в мою комнату, поставил его на стол, сел в кресло у окна и попробовал подумать о чем-нибудь веселом – да куда там. Мне до того одиноко было, что просто сдохнуть хотелось. Сияли звезды, листья в лесу шуршали страх как печально, я слышал, как далеко-далеко ухает сова, рассказывает про кого-то, кто уже помер; слышал, как козодой и собака наперебой оплакивают кого-то еще, кому это в скорости предстоит; ветерок пытался нашептать мне что-то, а я не мог ничего разобрать и меня от этого холодная дрожь пробирала. А потом из леса понеслись звуки, какие издает привидение, которому охота рассказать о том, что у него на уме, да не получается, и от этого оно лежать спокойно в могиле не может, ну и вылезает из нее каждую ночь – погоревать. И я до того перепугался и затосковал, что пожелал себе ну хоть какой-нибудь компании. Как вдруг смотрю, по плечу у меня паучок ползет, я и сбил его щелчком, да напрямик в пламя свечи – ахнуть не успел, а он уже весь скукожился. Ну, до чего это дурной знак, объяснять вам не надо, я аж затрясся от страха, так что с меня чуть штаны не свалились. Вскочил на ноги, трижды обернулся вокруг себя, каждый раз крестя грудь, а потом перевязалниточкой клочок моих волос, – это чтобы ведьмы от меня подальше держались. Однако уверенности особой не испытывал. Такие штуки хороши, если человек найдет лошадиную подкову, да тут же ее и потеряет, не успев к двери прибить, а вот чтобы они помогали отгонять напасти, когда ты паука убьешь, этого я что-то не слышал.

Я снова сел, продолжая трястись от страха, вытащил трубку, чтобы покурить – в доме уже мертвая тишь стояла, так что вдова ничего не узнала бы. Ну вот, а спустя долгое время в городе забили часы – бум-бум-бум – двенадцать ударов, и снова все стало тихо, тише, чем прежде. И скоро я услышал, как в темноте среди деревьев треснул сучок, – кто-то там шебуршился. Я замер, вслушиваясь. И еле-еле расслышал долетевшее оттуда «мяу, мяу». Отлично! Я как можно тише ответил: «мяу, мяу», погасил огарок и выбрался через окно на навес. А оттуда соскользнул на землю, прокрался между деревьями – и, пожалуйста, подними меня ждал Том Сойер.

Глава II. Страшная клятва нашей шайки

На цыпочках, пригибаясь, чтобы не цеплять головами ветки, направились мы к дальнему краю парка вдовы. А когда проходили мимо кухни, я наступил на сухой сучок, нашумел. Ну, мы оба присели на корточки и замерли. В двери кухни сидел здоровенный негр мисс Ватсон, Джим, – мы его ясно видели, потому что за спиной него свет горел. Он встал, вытянул шею и с минуту прислушивался. А потом говорит:

– Кто это тут?

Послушал еще, а после прошелся немного на цыпочках и остановился прямо между нами, так что мы до него дотронуться могли бы, почти. Ладно, минуты проходят, ни звука не слышно,

и все мы так близко один от другого. Тут у меня коленка начинает чесаться, а поскрести-то ее я не могу, заней зачесалось ухо, за ним спина, прямо между лопатками. Мне казалось, что еслия не почешусь, то помру. Ну, я потом такое много раз замечал – если ты попал вприличное общество, или на похороны, или пытаешься заснуть, а не получается, –в общем, когда чесаться ну никак нельзя, так непременно на тебя чесотканападет, да еще и в тысяче мест сразу, сверху и донизу. Наконец, Джим говорит:

– Ну, вы кто? Где вы? Черт дери, я же чего-то слышал. Ладно,я знаю, что сделаю: вот сяду тут, и буду сидеть, пока опять чего не услышу.

И он уселся на землю между мной и Томом. Прислонился спинойк дереву, вытянул ноги – одна едва меня не коснулась. А у меня засвербел нос.Зуд был такой, что слезы на глаза наворачивались. Но я его не почесал. Потомзазудело в самом носу. Потом под носом. Даже и не знаю, как я на месте-тоусидел. И продолжалось это бедствие минут шесть или семь. Чесалось у меня уже водинадцати разных местах. Я решил, что больше и минуты не выдержу, однакостиснул зубы и решил попробовать. И тут Джим задышал ровнее, глубже, а там ивовсе захрапел – ну, у меня сразу все и прошло.

Том подал мне знак – языком еле слышно поцокал, – и мы начетвереньках поползли прочь. А как отползли футов на десять, Том прошептал, чтохочет подшутить над Джимом – привязать его к дереву. Но я сказал, не надо – онпроснется, шуму наделает и меня хватятся в доме. Тогда Том заявил, что у негосвечей маловато, что он проскользнет на кухню и возьмет там несколько штук. Япопытался его отговорить, сказал, что Джим опять же может проснуться и застукатьего. Однако Том решил рискнуть, так что мы пробрались на кухню, взяли трисвечи, а Том на столе пять центов оставил, в уплату. Когда мы оттуда вылезли,меня так и подмывало убраться как можно дальше, но Тому все было мало, онсказал, что просто обязан подползти на четвереньках к Джиму и сыграть с нимшутку. Я ждал его – очень долго, по-моему, – все было тихо, спокойно.

Как только Том вернулся, мы пошли по тропе вдоль парковогозабора и скоро очутились на верхушке горы, за домом. Том сказал, что стянул сДжима шляпу и повесил ее на сук, прямо над ним, а Джим всего лишь пошевелилсяслегка, но не проснулся. На следующий день Джим рассказывал, что ведьмызаворожили его, вогнали в сон, а потом прокатились на нем верхом по всему штатуи повесили его шляпу на сук, чтобы он знал, кто все это сделал. Еще через деньон уже говорил, что ведьмы на нем в Новый Орлеан ездили, а после этого, при каждомновом рассказе заезжал все дальше и дальше, и кончил тем, что объехал с ведьмамивесь белый свет и укатали они его чуть не до смерти, и всю спину ему седлом стерли.Гордился он этим страшно, а других негров вроде как и замечать перестал. Ониготовы были пройти много миль, лишь бы послушать рассказ Джима, он стал самымзнаменитым в нашем округе негром. Пришлые негры обступали его, разинув рты, и разглядывали,будто диво какое. А у негров же, как они рассядутся на ночь глядя у кухонногоочага, непременно разговор о ведьмах заходит, и теперь, стоило кому рототкрыть, как Джим перебивал его и говорил: «Хм! Да что ты смыслишь в ведьмах?»,и этот негр мигом затыкался и тушевался. Монетку в пять центов Джим подвесил наверебочку и всегда носил на шее, уверяя, что это амулет, который дьявол выдалему собственноручно, сказав, что этой штукой можно исцелить кого хочешь, да ещеи ведьм вызывать в каком угодно месте, нужно только произнести над монеткойнесколько слов – правда, каких именно, Джим никому не говорил. Негры, опять же,сходились со всей округи и отдавали Джиму все, что у них было, лишь бывзглянуть на эти пять центов, но никогда к ним не прикасались, потому как их жесам дьявол в руках держал. В общем, работником Джим стал никаким, уж больно ончванился тем, что знаком с дьяволом и ведьм на себе катал.

Ну вот, когда мы с Томом поднялись не верхушку горы, товзглянули вниз, на городок, – в нем мерцали три не то четыре огонька, наверное,там болел кто-то. И звезды сверкали над нами так красиво, а за городком лежаларека шириной в целую милю, ужасно тихая и величавая. Мы спустились с горы,нашли Джо Харпера и Бена Роджерса, а с ними еще двух-трех мальчишек, они все встарой дубильне прятались. А потом отвязали чей-то ялик,

проплыли две споловиной мили вниз по реке, к большой скале на склоне горы, и высадились на берег.

Там мы залезли в густые кусты и Том заставил всех поклясться в сохранении тайны, а после показал им дырку в земле, в самой гуще кустов. Мы зажгли свечи и на четвереньках поползли по проходу. И сотни через две ярдов оказались в пещере. Том ткнулся в один коридор, в другой и скоро нырнул под стену – там такая нора была, которую никто бы и не заметил. Мы доползли по узкому лазу до подобия комнаты – сырой, холодной, с запотевшими стенами, и в ней остановились. Том и говорит:

– Ну вот, здесь мы учредим нашу банду и назовем ее Шайкой Тома Сойера. И каждый, кто захочет в нее вступить, должен будет принести клятву и подписаться кровью.

Захотели, понятное дело, все. Том вытащил листок бумаги, на котором он записал клятву и зачитал ее. В ней говорилось, что каждый мальчик должен хранить верность банде и никогда не выдавать ни одного ее секрета; а если кто чего-нибудь сделает мальчику из банды, то названный мальчик обязан этого человека убить и всех его родичей поубивать тоже, и он должен не есть, не спать, пока всех их не перебьет и не вырежет на груди каждого покойника крест, который и есть знак банды. И никто, кроме членов банды, этим знаком пользоваться не может, а если кто попробует, так мы на него в суд подадим, а попробует еще разок, уьем. И если кто-нибудь из банды раскроет ее секреты, то надо будет перерезать ему горло, а после сжечь его труп и пепел везде развеять, а имя его вычеркнуть кровью из списка разбойников и больше в шайке не упоминать, а проклясть его и забыть навсегда.

Все сказали, что клятва отличная и спросили у Тома, сам ли он ее выдумал – из своей головы? Он ответил, что кое-что выдумал, а остальное взял из книжек про разбойников и пиратов, потому как такая клятва имеется у каждой приличной шайки.

Кто-то сказал, что неплохо было бы вырезать и *семь* мальчиков, которые наши секреты выдают. Том назвал это хорошей мыслью, достал карандаш и вписал ее в клятву. И тут Бен Роджерс говорит:

– А вот у Гека Финна и семь никакой нет, чего же мы с ним делать будем?

– Ну, отец-то у него есть, – говорит Том Сойер.

– Отец-то есть, да поди-ка его поищи. Прежде-то он все больше в дубильне пьяным валялся, со свиньями, но теперь его уж больше года как в наших краях не видать.

Обсудили они это дело и совсем уж решили в шайку меня не принимать, говоря, что у мальчика должна быть семья или еще кто, кого можно убить, а иначе получится нечестно и несправедливо по отношению к другим членам банды. Придумать, как тут быть, никто не мог, все они зашли в тупик и умолкли. Я чуть не заплакал, но тут меня вдруг осенило, и я предложил им мисс Ватсон – пускай они ее убивают. И все сказали:

– Да, она подойдет. Правильно. Принимаем Гека.

Потом каждый проколол себе булавкой палец, чтобы расписаться кровью, ну и я тоже на той бумажке закорючку поставил.

– А теперь, – говорит Бен Роджерс, – надо решить, чем будет заниматься наша шайка.

– Только разбоем и убийствами, – ответил Том.

– Нет, а делать-то мы чего будем? Дома обчищать или, там, скот угонять...

– Чушь! Угонять скот и прочее это не разбой, а воровство, – говорит Том Сойер. – А мы не воры. В ворах нет настоящего блеска. Мы будем надевать маски, останавливать на дорогах кареты и экипажи, убивать людей и забирать их часы и деньги.

– А убивать обязательно?

– Конечно. Это самое лучшее. Правда, некоторые авторитеты иначе считают, но большинство думает, что лучше всех убивать – кроме тех, когo мы притащим в эту пещеру и будем держать здесь, пока они не выкупятся.

– Выкупятся? Это как?

– Ну, я не знаю. Но обычно разбойники так и поступают. Я об этом в книжках читал, значит, и нам придется то же самое делать.

– Но как же мы делать-то это будем, если не знаем что оно такое?

– Проклятье, да мы просто *обязаны* делать это и все. Я же тебе говорю, так в книжках написано. Ты что, собираешься против книжек идти и поступать так, как тебе в голову взбредет?

– Говорить-то легко, Том Сойер, но как, бог ты мой, эта публика будет выкупаться, если мы ей ничего объяснить не сможем? Вот что я хотел бы знать. Скажи, как ты это понимаешь?

– Да никак я не понимаю. Ну, может, держать их, пока они невыкупятся, значит держать, пока они не помрут.

– А, ну вот это на что-то *похоже*. Это ответ. Чего же ты сразу-то не сказал? Ладно, будем держать их, пока они не выкупятся до смерти, хотя так мы с ними мороки не оберемся – они же все наши припасы сожрут и все время будут пытаться сбежать.

– Скажешь тоже, Бен Роджерс! Как же они сбегут, когда мы к ним стражу приставим, готовую пристрелить их, если они хоть пальцем пошевелят?

– Стражу! Ничего себе. Выходит, кому-то придется торчать приник всю ночь и не спать только для того, чтобы следить за ними? По-моему, это дурь. Почему бы просто не взять хорошую дубину да и не выкупить их всех до единого, как только они сюда пожалуют?

– Потому что этого в книжках нет, вот почему. Слушай, Бен Роджерс, ты хочешь все делать как положено – или не хочешь? Скажи. Ты полагаешь, люди, которые книжки пишут, не могут правильное от неправильного отличить, так что ли? Полагаешь, что *ты* их учить будешь? Нет уж, сэр, давайте-ка выкупать всех как следует.

– Да ладно. Я не против, но, по-моему, это все-таки глупо. Слушай, а женщин мы тоже убивать будем?

– Знаешь, Бен Роджерс, если бы я был таким невеждой, как ты, я бы вообще помалкивал. Женщин убивать, надумал тоже! Да такого ни в одной книжке не встретишь. Женщин следует приводить в пещеру и обходиться с ними, как положено воспитанному паиньке, а после они в тебя влюбляются и домой ни почем уходить не хотят.

– Ну, если так, я не против, только опять же не понимаю, начерта это нужно. Этак у нас скоро в пещере протолкнуться негде будет от женщин да от тех, кто дожидается, когда его черед выкупаться придет, – а разбойникам куда деваться прикажешь? Ну ладно, рассказывай дальше, я больше ничего не скажу.

К этому времени маленький Томми Барнс заснул, а когда мы его разбудили, испугался, заплакал и сказал, что хочет домой, к маме, а бандитом больше быть не желает.

Все стали смеяться над ним, обзывать плаксой, а он взъерепенился и заявил, что вот пойдет сейчас и расскажет всем про наши секреты. Но Том дал ему пять центов, чтоб он помалкивал, а после сказал, что сейчас мы все разойдемся по домам, а на следующей неделе опять соберемся и ограбим кого-нибудь да убьем хоть пару человек.

Бен Роджерс сказал, что каждый день ему из дома выбираться будет трудно, он только по воскресеньям может, и потому предложил в следующее воскресенье и начать, но остальные мальчишки сказали, что по воскресеньям заниматься такими делами – грешно, чем этот разговор и закончился. Все согласились, что хорошо бы нам было сойтись как можно скорее и назначить день для разбоя, а после выбрали Тома Сойера атаманом шайки, Джо Харпера его главным подручным и отравились восвояси.

На навес я вскарабкался и в окно моей комнаты влез еще до рассвета. Новая одежда моя была вся в глине и свечном сале, а сам я устал, как собака.

Глава III. Мы садимся в «секрет» и нападаем на А-рабов

Ну ладно, утром мне здорово досталось от старой мисс Ватсон – за одежду. А вдова ругаться не стала, просто очистила ее от сала и глины и уж такая была печальная, что я решил пока что вести себя получше, если удастся. Потом мисс Ватсон завела меня в чулан и стала молиться, да только ничего невымолила. Она сказала, что, если я буду молиться каждый день, то получу все, о чем попрошу. Куда там. Я уж пробовал. И даже получил как-то раз леску для удочки, но без крючков. А на фига она мне без крючков-то? Я помолился и насчет крючков, раза три, а то четыре, но без толку. Тогда я попросил мисс Ватсон за

меня попробовать, и она обозвала меня дураком. Почему я дурак, она не сказала, а сама, как ни ломал голову, этого не понял.

И как-то раз я ушел в лес и долго сидел там, обдумывая все это. Я себе так говорил: если каждый может получить все, о чем он молится, почему же тогда дьякон Винн не вернул себе деньги, которые потерял, когда свининой торговать взялся? Почему вдова не вернет серебряную табакерку, которую у нее сперли? Почему мисс Ватсон хоть немного жирка не нарастит? Нет, говорю я себе, ерунда это все. Ну, пошел я к вдове, рассказал ей, что надумал, а она сказала, что молящийся может получить только «духовные дары». Чего это такое, я не понял, и она объяснила – я должен помогать ближним, делать для них все, что в моих силах, сутра до вечера блюсти их интересы, а о себе и вовсе не думать. А ближние, как я понимаю, это и мисс Ватсон тоже. Я снова пошел в лес, опять посидел, подумал-подумал, но так и не понял, какой от этого прок будет – ближним, оно конечно, а мне-то? – и решил больше на этот счет не беспокоиться, пусть все идет, как идет. Вдова, бывало, позовет меня к себе и давай рассказывать о промысле Божиим – слушаешь ее, просто слюнки текут; а на следующий день мисс Ватсон как начнет рассуждать о том же самом, так все и испортит. В общем, мне стало ясно, что промыслов этих два, и тот, который у вдовы, предлагает грешнику хорошие шансы, а вот если занею возьмется промысел мисс Ватсон, то все – пиши пропало. Обдумал я это и решил, что лучше буду держаться вдовьего промысла, – я, правда, так и не смог взять толк, что уж он такого наживет, промысел-то этот, если начнет обо мне заботиться, я же вон какой невежественный, и бессовестный, и непослушный.

Папаши моего никто уж больше года не видел и меня это устраивало, я с ним вообще больше дело иметь не хотел. Он же только и знал, что толкнуть меня, если, конечно, трезвый был и если я ему в руки давался, – я ведь, когда он в городе объявлялся, сразу в лес удирал. Ну вот, и примерно в то время его нашла утонувшим в реке, милях в двенадцати выше города, так мне сказали. То есть, все думали, что это он, потому как утопший был в точности его роста, весь в лохмотьях и с длинными волосами, в общем, вылитый папаша. Другое дело, что по лицу его ничего сказать было нельзя – он столько времени пробыл в воде, что от лица ничего, почитай, не осталось. Говорили, что он плыл по реке этим самым лицом кверху. Короче, выудили его и закопали на берегу. Однако радовался я недолго, потому как вспомнил то, что всегда хорошо знал: утопленник, если он мужчина, лицом кверху плыть ну никак не может, только книзу. И я сообразил, что никакой это был не папаша, а вовсе утопленница в мужском платье. И мне снова стало не по себе. Я рассудил так, что рано или поздно, а мой старик объявится, хочу я того или не хочу.

Месяц примерно мы проиграли в разбойников, а потом я ушел из шайки. И другие мальчишки тоже. Никого мы не ограбили, никого не убили, одно притворство и больше ничего. Выбегали из леса, налетали на свинопасов или наженщин, которые ехали на рынок в телегах со всякими овощами, да и из тех ни одной к себе не увели. Том Соьер называл свиней «слитками», а репу и прочее «самосветами», и мы забирались в пещеру и хвастались нашими подвигами, рассказывали, сколько народу перебили да на скольких наши метины оставили. Но я что-то не видел, какая нам от этого прибыль. Как-то раз Том послал одного мальчишку бегать по городу с горящей головней, которую Том называл «боевым кличем» (то есть знаком, что разбойникам следует собраться вместе), а послесказал, что получил от своих лазутчиков секретное донесение – дескать, назавтра в Пещерной лощине станет становищем целая орава испанских купцов и богатых А-рабов, а с ними будет две сотни слонов, да шесть сотен верблюдов, да больше тысячи «бьючных» мулов и все они будут нагружены бриллиантами, а охраны у них все-то четыре сотни солдат, и стало быть, мы засядем в «секрет», так он сказал, всех их поубиваем и сорвем здоровенный куш. Он велел нам наострить мечи, начистить пистолеты и вообще изготавиться. Он даже на телегу с репой ни разу не напал, не заставив нас первым делом мечи заострить да пистолеты начистить, хотя мечи у нас были из реек и метловищ, а их остри хоть до посинения, ни фига они лучше не станут. Я вообще-то не верил, что нам удастся расколотить такую кучу испанцев и А-рабов, но мне охота было взглянуть на верблюдов со слонами, поэтому на следующий день, в субботу, я, как миленький, сидел со

всеми в«секрете», и мы, получив сигнал, выскочили из леса и понеслись вниз по склону горы. Да только никаких испанцев с А-рабами там не оказалось – и слонов сверблюдом тоже. Всего-навсего, пикник воскресной школы, и тот для первоклашек. Налетели мы на них, разогнали детишек по всей лощине, и захватили добычу: несколько булочек с вареньем – ну, правда, Бену Роджерсу все же досталась тряпичная кукла, а Джо Харперу сборник гимнов и религиозная брошюрка. А тут еще откуда ни возьмись учительница выскочила, так что мы всю добычу побросали и дали деру. Брильянтов я ну никаких там не увидел, так Тому Союеру и сказал. Ноон ответил, что брильянтов там было хоть завались – и испанцев с А-рабами тоже, и слонов и прочего. «Чего же мы их тогда не увидели?» – спросил я. А Том сказал, что, если бы я не был таким неучем и прочитал книжку, которая называется «Дон Кихот», так сразу все понял бы и никаких вопросов не задавал. Сказал, что во всем виноваты заклинания. Дескать, и сотни солдат там были, ислоны, и сокровища, и прочее, однако наши враги, он их магами назвал, обратились это в воскресную школу – просто по злобе. Я сказал, ладно, тогда нам надо изловить этих магов. А Том обозвал меня олухом.

– Да маг, – говорит он, – может вызвать прорву джиннов и они тебя в лапшу изрубят, ты и «мама-папа» сказать не успеешь. Они же всеростом с деревом, а толщиной в церковь.

– Ладно, – говорю, – а положим, мы разживемся джиннами, которые *нам* помогать будут, – смогут они эту прорву расколошматить?

– Как это ты ими разживешься?

– Не знаю. *Те* же их как-то добывают.

– Ну, те, – те трут старую жестяную лампу или железное кольцо, вот джинны сразу и сбегаются – с громом, молниями и клубами дыма, – и чего им не прикажешь, все тут же и сделают. Им, знаешь ли, ничего не стоит целую дроболитную башню из земли с корнем выдрать и треснуть ею по башке директора воскресной школы – да и вообще кого угодно.

– А кто ж это их сбегаться-то заставляет?

– Как это, кто? Тот кто лампу трет или кольцо. Они рабы того, кто владеет кольцом или лампой, и делают все, что он им велит. Велит построить дворец в сорок миль длиной из одних брильянтов и наполнить его до крыши жевательной резинкой или чем он захочет, а заодно уж притащить из Китая дочь императора, чтобы он на ней женился, и они обязаны все это выполнить, да еще и до того, как солнце взойдет. Мало того: они обязаны твой дворец по всей стране таскать, куда тебе только захочется, понял? – Ну ладно, – говорю я, – только, по моему, простофили они, эти твои джинны, – могли бы и дворец прикарманить, и собой вот так вот вертеть не позволять. Больше того, будь я одним из них, послал бы я этого проходимца с лампой в Иерихон загнал, вместо того, чтобы бросать все мои дела да мчаться к нему, как только он ее потерет.

– Скажешь тоже, Гек Финн. Да ты просто *обязан* являться к нему, если он ее потер, хочешь – не хочешь.

– Да? Это когда я ростом с деревом, а толщиной, как церковь? Ладно, *явлюсь* я к нему, но только, спорим на что хочешь, а он у меня едва счета залезет на самое высокое дерево, какое найдется в округе.

– Какую ты чушь несешь, Гек Финн, просто уши вянут. Тебе, по моему, ничего втолковать нельзя – болван-болваном.

Дня два или три я все это обмозговывал, а после надумал сам проверить, правду Том говорил или нет. Разжился старой жестяной лампой и железным кольцом, ушел в лес и тер их там, тер, пока не вспотел, как индеец, и все прикидывал, какой я дворец построю, да как его продам; но так ничего и не добился, никакие джинны ко мне не прискакали. И я решил, что вся эта ерунда – очередное вранье Тома Союера. Я так понимаю, что сам-то он верил и в А-рабов, и в слонов, ну а у меня на этот счет другое мнение. Самая что ни на есть воскресная школа, пробунегде ставить.

Глава IV. Пророчество волосяного шара

Ну и вот, прошло месяца три или четыре, зима была в самом разгаре. Я чуть не каждый

день ходил в школу, читать выучился и даже писать немного, а таблицу умножения вызубрил аж до шести семь тридцать пять – правда, дальше у меня дело не пошло, да, думаю, и не пойдет, проживи я хоть целую вечность. Вообще я в этой самой математике никакого смысла не вижу.

Поначалу у меня от школы просто с души воротило, но мало-помалу я начал к ней привыкать. Если совсем уж невтерпех становилось, я ее прогуливал, а на следующий день меня, понятное дело, пороли и это шло мне на пользу, как-то так встряхивало. В общем, чем дольше ходил я в школу, тем легче мне становилось. И к порядкам в доме вдовы я тоже стал привыкать, не так уж они меня теперь и донимали. Жить под крышей и спать в кровати штука, конечно, нелегкая, но я, пока холода не наступили, удирал иногда в лес и отсыпался там по-человечески, отдыхал. Старая жизнь нравилась мне куда больше, однако я понемногу свыкался с новой и, в общем, понял, что и она тоже ничего себе. Вдова говорила, что я делаю успехи – медленно, но верно, – что у меня это неплохо получается. Что ей за меня не стыдно.

И вот, как-то утром опрокинул я за завтраком солонку. Хотела побыстрее схватить щепотку соли и бросить ее через левое плечо, чтобы невезение отвести, но тут встряла мисс Ватсон и соль мне взять не позволила. «Убери руки, Гекльберри, – говорит, – не можешь ты не насорить!» Вдова за меня заступилась, да ведь добрым словом злую судьбу не отвадишь, уж я-то знаю. Вышел я послезавтрака из дому перепуганный, просто до дрожи, и все гадал с какой стороны меня стукнет и чем. От некоторых напастей увернуться, худо-бедно, а можно, но тут был не тот случай, так что я и не рыпался – просто брел нога за ногу, приуныв, да по сторонам озирался.

Ну, дошел я по парку до высокого дощатого забора, перебрался через него – там для этого ступеньки такие были устроены. А утром снежок выпал, с дюйм примерно, и я увидел на нем чьи-то следы. Кто-то поднялся от карьера, постоял немного у перелаза, а после пошел вдоль забора. Странно – стоял-стоял человек, а в парк так и не сунулся. Я собрался было пройтись по следам, но сначала нагнулся, чтобы получше их рассмотреть. В первый-то миг я ничего не увидел, но уж во второй... Крест из гвоздей на каблуке левого башмака, чтобы, значит, чертей отваживать.

Через секунду я уже несся вниз по холму и все оглядывался на бегу, но, правда, так никого и не увидел. И очень скоро оказался в доме судьи Гэтчера. А тот и говорит:

– Что-то ты совсем запыхался, мой мальчик. Тебе нужны твои проценты?

– Нет, сэр, – отвечаю я, – а что, есть проценты?

– О да, вчера вечером поступили, за полгода – больше ста пятидесяти долларов. Для тебя это целое состояние. Знаешь, давай-ка я присоединю их к шести тысячам, а то ведь, если ты их возьмешь, так потратишь ни на что.

– Нет, сэр, – говорю, – не хочу я их тратить. Не нужны они мне – и шесть тысяч тоже не нужны. Я хочу, чтобы вы их себе взяли, хочу вам их отдать – вместе с шестью тысячами.

Он удивился. Не мог понять, что на меня нашло. И говорит:

– Постой, мой мальчик, что ты этим хочешь сказать?

Я говорю:

– Пожалуйста, не задавайте мне никаких вопросов, просто возьмите деньги, ладно?

А он говорит:

– Совсем ты меня с толку сбил. С тобой случилось что-нибудь?

– Прошу вас, возьмите деньги, – говорю я, – и ни о чем не спрашивайте – тогда мне врать не придется.

Он некоторое время вглядывался в меня, а потом говорит:

– Ага-а! Кажется, понял. Ты хочешь *продать* мне все, чем владеешь, – продать, а не отдать. Очень правильная мысль.

Потом он написал что-то на листке бумаги, перечитал написанное и говорит:

– Ну, так; видишь, тут сказано: «за вознаграждение». Это значит, что я купил у тебя твои деньги и заплатил за них. Вот тебе доллар, получи. И распишись вот тут.

Я расписался и ушел.

У Джима, негра мисс Ватсон, был волосяной шар размером с добрый кулак – Джим добыл его из бычьего сычуга и гадал по нему. Говорил, что вшаре засел дух, который все на свете знает. Ну и я тем же вечером пошел к нему и сказал, что папаша мой вернулся, – это ж я его следы на снегу видел. И мне хотелось узнать, что он задумал, и надолго ли здесь задержится. Джим вытащил волосяной шар, пошептал над ним что-то, потом поднял его повыше и уронил. Шар шлепнулся на пол и откатился примерно на дюйм. Джим попробовал еще раз, и еще – то же самое. Тогда Джим опустился на колени, приложил к шару ухо, прислушался. Без толку – Джим сказал, что шар говорить с ним не хочет. Он, дескать, иногда даром разговаривать не желает. Я сказал, что у меня есть старый осклизлый четвертак, поддельный, проку от него все равно никакого, потому что на нем сквозь слой серебра медь проступила, да его и так никому не сбagriшь, даже без меди, – уж больно он скользкий, будто салом намазанный, сразу видно, что это за добро. (Насчет выданного мне судьей доллара я решил помалкивать.) В общем, монета, конечно, никудышная, сказал я, но, может, шар ее примет, может, он разницы-то и не заметит. Джим понюхал четвертак, покусал, потер в пальцах и сказал, что знает, как сделать, чтобы шар принял его за настоящий. Надо, говорит, надломить картофелину, засунуть в нее четвертак и оставить там на ночь, а наутро от меди следа не останется, да и сальным он больше не будет, так что любой человек в городе примет четвертак, не моргнув глазом, а уж волосяной-то шар тем более. Вообще говоря, насчет картофелины я и раньше все знал, да как-то забыл.

Джим засунул четвертак под шар, снова встал на колени, прислушался. И сказал, что на этот раз шар в полном порядке. Сказал, что, если мне охота, он готов все мое будущее рассказать. Я говорю, ну давай. В общем, волосяной шар поговорил с Джимом, а Джим мне все передал. Вот так:

– Ваш отец покамест и сам не знает, что ему делать. То говорит, что уйдет отсюда, а потом говорит – останусь. Вам лучше всего сидеть тихо – пускай старик сам все решит. Вокруг него два ангела крутятся. Один весь белый, аж светится, а другой черный. Белый наставляет его на правильный путь, но, как только наставит, тут же подлетит черный и все дело изгадит. И который, в конце концов, верх возьмет, сказать пока ну никак нельзя. Зато у вас все будет хорошо. Ждут вас в жизни большие горести, но и большие радости тоже ждут. Придется вам и битым быть, и поболеть, но вы каждый раз будете поправляться. И встретятся вам в жизни две женщины. Одна вся такая светлая, а другая черноволосая. Одна богатая, другая бедная. Вы первым делом женитесь на бедной, а уж потом на богатой. Главное, держитесь подальше от воды, не рискуйте собой, потому как вам суждено быть повешенным.

Ладно, зажег я свечу, поднялся в мою комнату, а там папаша сидит – собственноличной персоной.

Глава V. Папаша начинает новую жизнь

Я быстро закрыл дверь, повернулся к нему – ну, точно, он самый, папаша. Всю жизнь я его боялся, уж больно часто он меня дубасил. Думал, и теперь со страху помру, однако уже через минуту понял, что ошибся, то есть, понял после первого, как говорится, потрясения, от которого у меня дух перехватило, потому что уж больно неожиданно он появился, а после, гляжу, – небоюсь я его, и все тут.

Лет ему было около пятидесяти, на эти годы он и выглядел. Волосы длинные, спутанные, сальные и на лицо свисают, а за ними глаза поблескивают – так, точно он в кустах сидит. И все сплошь черные, без седины, как и длинные, взлохмаченные бакенбарды. А в лице ни кровинки – то есть, там, где его вообще видно, лицо-то; белое оно было, но не как у человека с очень белой кожей, а как у больного, до того белое, что взглянешь на него и мурашки по коже бегут – белое, точно квакша, точно рыбе брюхо. Ну а одежда – сплошная отрепья. Сидел он, положив ногу на ногу, башмак на той, что сверху лежала, давноразодрался, два пальца наружу торчали, и он ими так пошевеливал время от времени. А шляпа его на полу валялась – старая черная войлочная шляпа с широкими полями и продавленным, точно дно старой кастрюльки, верхом.

Я постоял, глядя на него, он посидел, на меня глядя и легонько покачиваясь вместе со стулом. Потом я поставил свечу на пол и только тут заметил, что окно поднято, значит он сюда по навесу залез. Оглядывал он меня, оглядывал, а потом и говорит:

– Какой ты весь расфуфыренный, это ж надо. Думаешь, небось, что важной персоной заделался, а?

– Может, думаю, а может, и нет, – отвечаю.

– Ты язык-то попридержи, – говорит он. – Ишь какой спесинабрался, пока меня тут не было. Ну ничего, я из тебя дурь повытрясу. Говорят, ты еще и ученый стал – читать-писать выучился. Думаешь, ты теперь лучше отца, раз он ничего такого не умеет? Так я и *это* из тебя вытрясу. Кто это тебе сказал, будто ты на меня теперь сверху вниз смотреть можешь, а? Кто?

– Вдова. Вдова сказала.

– Вдова, да? А кто сказал вдове, что она имеет право совать нос в дела, которые ее не касаются?

– Никто не говорил.

– Ладно, я ее отучу лезть, куда не просят. А теперь слушай – ты эту свою школу брось, понял? Я им всем покажу, где раки зимуют – научил мальчишку от отца рыло воротить, я, мол, не то, что *он*, я получше буду. Смотри, поймаю тебя около школы, тебе же хуже будет, слышишь? Да твоя мать и вообще читать-писать не умела, так и померла. И никто в нашей семье не умел и тоже все померло. Я и сам не умею, а ты, вона, раздулся от важности. Не такой я человек, чтобы это терпеть, понял? Ну-ка, давай, почитай мне, а я послушаю.

Я взял книжку, начал читать что-то про генерала Вашингтона, про войны. Он с полминуты слушал, а потом как даст ручищей по книжке, она и полетела через всю комнату. И говорит:

– Ну так. Читать ты умеешь. А я было не поверил, когда ты сказал. Теперь слушай: чтоб я этого чванства больше не видел. Не потерплю. Я затобой послежу, умник, и если поймаю возле школы, шкуру спущу. Ты у меня ахнуть не успеешь, как я тебя в правильную веру обращу. Надо ж, послал бог сыночка!

Потом он взял со стола синюю с желтым картинку, изображавшую о коров и с ними мальчика, и говорит:

– А это что такое?

– Это мне за хорошую учебу выдали.

Папаша разодрал картинку пополам и говорит:

– Я тебе кой-чего получше выдам – плетью из воловьей кожи.

Тут он примолк, только под нос себе бурчал что-то, просидел так с минуту, а после и говорит:

– Выходит, ты у нас теперь фифа надушенная, так что ли? У тебя и кровать с простынками, и зеркало, и даже ковер на полу, а родной отец пускай, значит, со свиньями дрыхнет в старой дубильне. Послал бог сыночка. Ничего, я из тебя эту спесь вышибу. Ишь, важный какой стал, да еще и разбогател, говорят. Это как же?

– Врут они все, вот как.

– Ты, это, не забывай, с кем разговариваешь. Я терпел-терпел, да надо ж и меру знать, – так что ты мне не дерзи. Я уж два дня как в городе, тут только и разговоров, что про твое богатство. И внизу по реке мне тоже про него рассказывали. Я потому и вернулся. Завтра отдашь мне эти деньги – они мне нужны.

– Нет у меня денег.

– Врешь. На них судья Тэтчер лапу наложил. А ты их заberi. Они мне нужны.

– Я ж говорю, нет у меня денег. Спросите у судьи Тэтчера, он вам то же самое скажет.

– Ладно, хорошо. Я спрошу. Он у меня мигом раскошелится или я не знаю, что сделаю. Ну-ка, говори, сколько у тебя сейчас в кармане лежит. Давай все сюда.

– Только один доллар, и я хотел...

– Очень мне интересно знать, чего ты хотел – а ну, вытаскивай!

Отобрал он у меня монету, куснул ее, чтобы проверить, настоящая ли, а потом сказал, что

пойдет в город виски купить, а то у него, дескать, весь день во рту ни капли не было. А когда вылез на навес, сунул голову обратно в окно и обругал меня за то, что я спеси набрался и нос от него ворочу; и только я решил, что он ушел, как папаша опять в окно вставился и сказал, чтобы я помнил насчет школы, потому как он сядет около нее в засаду и, если я эту дурь не брошу, то вздует меня.

На следующий день он напился, пошел к судье Тэтчеру, обругал его по всякому и потребовал, чтобы судья отдал ему деньги, а тот не отдал, и папаша заявил что отсудит их.

Судья с вдовой сами пошли в суд – просить, чтобы меня отобрали у папаша и отдали кому-нибудь из них на попечение, однако судья у нас был новый, только что назначенный, и старика моего совсем не знал; он сказал, что судам не следует лезть в такие дела и разрушать семьи, что ему не хочется разлучать ребенка с отцом. В общем, пришлось вдове с судьей Тэтчером эту затею оставить.

Папаша до того обрадовался, что прямо места себе не находил. Сказал, что если я не добуду ему денег, так он меня до смерти заперет. Я занял судью Тэтчера три доллара, папаша забрал их, напился и чуть не до полуночи колесил по всему городу – ругался, орал, вытворял бог знает что и бил в жестяную сковородку; ну его и упрятали в кутузку, а на следующий день суд засадил его туда на неделю. Однако папаша сказал, что *он* доволен, что он своему сыну голова и еще покажет *ему*, почем фунт лиха.

А когда его из тюрьмы выпустили, новый судья заявил, что намерен сделать из него человека. Привел он папашу в свой дом, одел во все чистое, усадил завтракать со своей семьей, и обедать, и ужинать тоже, в общем принял, что называется, как родного. А после ужина судья долго толковал с ним об умеренности, так что мой старик расплакался и сказал, что был дураком, который пустил свою жизнь псу под хвост, но уж теперь он начнет жить заново и станет человеком, за которого никому краснеть не придется, и надеется, что судья поможет ему, не станет смотреть на него свысока. Судья сказал, что готов обнять его за такие слова и сам расплакался, и жена его тоже; а папаша заявил, что никто его раньше не понимал, и судья сказал, что верит этому. Ну, мой старик начал объяснять, что для падшего человека сочувствие – первое дело, а судья с ним согласился, и оба они еще немножко поплакали. А когда пришло время спать ложиться, папаша встал, протянул перед собой руку и говорит:

– Посмотрите на нее, джентльмены и все леди; коснитесь ее и пожмите. Это рука, которая была рукой свиньи, но больше она не такая, теперь это рука человека, который начал новую жизнь и скорее умрет, чем вернется к старой. Поимейте в виду эти слова и не забывайте – это я их сказал. Теперь эта рука чистая, пожмите ее, не бойтесь.

Ну, они ее, конечно, пожалели друг за дружкой, все, кто там был, и каждый пустил слезу. А жена судьи даже поцеловала ее. Потом мой старик дал обет ни чем больше не пить, – судья все за ним записал, а папаша под этим делом крестик поставил. А после этого его отвели в прекрасную комнату для гостей, да только ночью на него жуткая жажда напала, так что он вылез на крышу веранды, спустился с нее по столбу, обменял свой новый костюмчик на бутылку дешевого пойла, влез обратно и от души повеселился; а когда стало светать, он, пьяный, как сапожник, снова полез на крышу, сверзился с нее и сломал руку, да еще и в двух местах – и уж было замерз там до смерти, но после рассвета кто-то на него наткнулся. А когда они пошли взглянуть на комнату для гостей, оказалось, что по ней плавать можно – был бы лот, чтобы глубину промерять.

Судья здорово обиделся. Сказал, что, как он себе понимает, моего старика если и можно исправить, то только хорошим зарядом картечи, а другого способа он, судья, не видит.

Глава VI. Папаша сражается с Ангелом Смерти

Ну вот, старик мой довольно скоро поправился и опять принялся за свое. Первым делом он затеял судиться с судьей Тэтчером, чтобы тот ему деньги отдал, а следом взялся за меня, пытаюсь отвадить от школы. Пару раз он меня изловил и отколошматил, но я все равно продолжал ходить туда и научился увиливать от него и удирать. Раньше-то меня в школу не шибко тянуло, но теперь решил, что буду ходить в нее исправно – папаше на зло. Суд не

спешил –походило на то, что до разбирательства дела они там и вовсе никогда не дойдут, так что я время от времени занимал у судьи два-три доллара и отдавал их, чтобы избежать взбучки, папаше. Получив деньги, он каждый раз напивался, а напившись, каждый раз куролесил по всему городу и его каждый раз сажали в тюрьму. Папашу это устраивало – самая подходящая для него была жизнь.

Он все время слонялся вокруг дома вдовы Дуглас и, в конце концов, она сказала папаше, что если он это дело не оставит, ему придется несладко. Ну, тут уж он совсем взбеленился. Заявил, что покажет всем, кто Геку Финну хозяин. И как-то весной выследил меня, изловил и увез в ялике на три мили вверх пореке, а там пересек ее и высадился на лесистом иллинойском берегу, в таком месте, где не было никакого жилья, а только одна сложенная из бревен хижинка стояла в лесу, да в таком густом, что найти ее, не зная, где она, было никак невозможно.

В ней он меня и держал все время, не давая никакой возможности сбежать. Мы жили в старой лачуге, дверь папаша всегда на замок запирали, а ключ прятал на ночь под подушку. У него было ружье – спер где-то, так я понимаю, – и мы охотились, ловили рыбу, тем и жили. Время от времени, он уходил на три мили вниз, к переправе, и там обменивал рыбу и дичь на виски, а после приносил его домой, напивался и приятно проводил время, лущуя меня. Вдова, в конце концов, выяснила, куда я заподевался, и прислала одного человека, чтобы тот попробовал меня забрать, но папаша шугнул его, пригрозив ружьем, да я в скором времени и привык к такой жизни, все в ней было хорошо – кроме побоев.

Жизнь была неспешная, приятная – лежишь день-деньской да покуриваешь – или рыбку ловишь и никаких тебе учебников. Прошло два месяца слишком, одежда моя вся изодралась, запачкалась, а я перестал даже понимать, что уж мне так нравилось у вдовы – там и умываться надо было, и есть с тарелки, и причесываться, и ложиться по часам, и вставать по ним же, и с книжкой какой-нибудь ко мне вечно приставали, да еще старая мисс Ватсон меня все время пилила. Возвращаться туда я больше не хотел. Ругаться я у вдовы почти разучился, потому как ей это не нравилось, а тут опять начал, – папаша ничего против не имел. В общем, с какой стороны ни взгляни, жизнь в лесу была самая что ни на есть приятная.

Другое дело, что папаша прилачился дубасить меня ореховой палкой, и вот это сносить было трудно. У меня уже вся спина рубцами покрылась. Да он еще и уходил слишком часто и всякий раз запирали меня в хижине. Однажды заперли исчез аж на три дня. Ужас как мне было одиноко. Я даже решил, что он утонул и теперь мне отсюда не выбраться. Ну, перепугался, конечно. И сказал себе, что надо придумать какой-то способ бегства. Я уже много раз пытался найти лазейку наружу, да все не получалось. Окно у нашей хибы было такое, что в него собака не протиснулась бы. По дымоходу я тоже вылезти не мог, он был слишком узким. Дверь толстая, сколоченная из крепких дубовых досок. Папаша усердно следил за тем, чтобы, уходя, не оставлять в лачуге ни ножа, ни еще чего-нибудь – я ее, наверное, раз сто всю обшарил, только этим и занимался, потому как больше мне время скоротать было нечем. Однако в те три дня я, наконец, кое-что нашел – старую, ржавую ножовку без ручки, засунутую кем-то между одним из стропил и дощатой крышей. Смазал я ее и принялся за работу. В глубине лачуги, прямо за столом, висела прибитая к стене старая конская попона, не позволявшая ветру, когда он задувал в щели между бревнами, гасить свечу. Я залез под стол, приподнял попону и начал отпиливать кусок бревна, достаточно толстого, чтобы я мог пролезть в дыру, которую выпилю. Работа была, конечно, долгая, однако я почти уж закончил ее, когда услышал в лесу выстрел папашиного ружья. Я быстро устранил все следы моих трудов, опустил попону и спрятал пилу, а тут он явился.

Настроение у него было паршивое – как, впрочем, и всегда. Он сказал, что побывал в городе и все там идет из рук вон плохо. Его адвокатуверяет, что сможет выиграть дело и отсудить деньги, нужно только, чтобы процесс, наконец, начался, однако существует множество способов отсрочить его, и судья Тэтчер все их знает. А еще он сказал, будто ходят разговоры о другом процессе, насчет того, чтобы отобрать меня у папаши и отдать под опеку вдовы и, если верить этой болтовне, на сей раз так оно и случится. Это меня здорово напугало,

потому как я вовсе не хотел возвращаться к вдове, снова влезать в тесный костюмчик и становиться цивилизованным, как они это называют, человеком. Ну, тут старик мой начал ругаться и обложил дурными словами вся и всех, когосмог припомнить, а потом обложил, чтобы уж наверняка никого не пропустить, повторому разу, и кончил тем, что охаял всех скопом, в том числе и тех, кого он не знал по имени, и потому, когда добирался до одного из них, говорил просто – какого там – и шел дальше.

Папаша заявил, что еще посмотрит, как это вдова заполучит меня. Он, дескать, будет держать ухо востро и, если кто попытается заявиться сюда и шутки с ним шутить, так он знает милях в семи-восьми отсюда местечко, в котором спрячет меня, и пусть они тогда ищут хоть до упаду, все равно ни чертаны найдут. И от этого мне тоже стало не по себе, но всего на минуту: я решил, что дожидаться здесь, пока он это проделает, не стану.

Старик велел мне сходить к ялику, перенести в лачугу то, что он привез. В ялике лежал мешок с кукурузной мукой, фунтов на пятьдесят, здоровенный кусок копченой грудинки, патроны, четырехгалонная бутылка виски, старая книга и две газеты, – это чтоб пыжи делать, – и немного пакли. Я выгрузил все это на берег и присел отдохнуть на носу ялика. Посидел, подумал, и решил, что, удирая, прихватчу с собой ружье и лески и укроюсь в лесу. На одном месте подолгу оставаться не буду, а стану бродить по округу, все больше ночами, кормиться охотой да рыбалкой и забреду так далеко, что ни папаша, ни вдова ни чем меня не отыщут. Я так увлекся этими мыслями, что про время и думать забыл – пока не услышал, как папаша орет, интересуюсь, заснул я или утоп.

Перетащил я все в лачугу, а тут и стемнело. Пока я готовилужин, папаша пару раз приложился к бутылке и вроде как разогрелся, и снова начал рвать и метать. В городе он напился, ночь провел в канаве, так что смотреть на него было одно удовольствие. Ну, вылитый Адам, только что вылепленный из глины. Обычно, когда виски ударяло ему в голову, он принимался обличать правительство, то же самое произошло и теперь.

– Правительство, называется! Да вы посмотрите, на что оно похоже, ваше правительство. Закон у них, видишь ли, такой есть, чтобы у человека сына отбирать – родного сына, на которого он столь трудов положил, столько сил и денег потратил, чтобы его вырастить. Да, а когда он, наконец, воспитал сына, чтобы тот, значит, работать мог, чтоб заботился об отце, дал ему отдохнуть, тут сразу закон этого сына – хватить! И это правительство? Пустое место, вот что это такое! Ихний закон принимает сторону судьи Тэтчера, помогает ему не подпускать меня к моей же собственности. Что он делает ваш закон, а? Берет человека, у которого шесть тысяч долларов в банке лежат, если не больше, и засовывает его в развалюху вроде этой, и заставляет носить одежду, в которой и свинья-то постыдилась бы на люди выйти. И они называют это правительством! Иди, добейся от такого правительства, чтобы оно твои законные права соблюдало. Меня иногда так и подмывает уехать из этой страны навсегда, бросить ее на произвол судьбы, и все. Да, я им так и сказал, прямо в лицо судье Тэтчеру сказал. Меня многие слышали, все подтвердят. Говорю: да я за два цента бросил бы вашу поганую страну и больше к ней близко не подошел бы. Так и сказал. Вы посмотрите на мою шляпу, говорю, если ее можно назвать шляпой, – сверху вся драная, а поляниже подбородка свисают, это разве шляпа? Да если б я печную трубу на башку напялил, и то красивее вышло бы. Смотрите, смотрите, говорю, вот какую шляпу носит человек, который был бы в этом городе богаче всех, если б ему позволили свои права отстаивать.

– Да уж, отменное у нас правительство, лучше некуда. Ну вот сам посуди. Был там у них один свободный негр из Огайо – мулат, почти такой жебелый, как мы с тобой. Рубашку он носил такую белую, каких ты и не видел, и шляпа у него была самая роскошная, во всем городе не нашлось бы человека, который так хорошо одевался, да он еще и золотые часы на цепочке носил, и трость с серебряным набалдашником, а сам весь седой такой, – ну, первый набоб во всем штате, чтоб его! И что ты думаешь? Уверяли, будто он профессор в колледже и на всяких языках говорит, и все не свете знает. Но и это не все. Мне сказали, что у себя дома он даже *голосовать* может. Я чуть не упал. И думаю, куда катится эта страна? Как раз день выборов был, я бы и сам пошел, проголосовал, если бы не выпил малость, так что меня ноги

не держали, но уж когда мне сказали, что в этой стране есть штат, в котором какому-то ниггеру голосовать разрешается, я раздумал. Сказал, не буду больше голосовать, никогда. Прямо так и сказал, меня все слышали, вот пропади она пропадом, эта страна, а я до конца моих дней голосовать больше не буду, и точка. А видел бы ты, какой этот негритоспокойный был да наглый, я как-то шел ему навстречу, так он мне и дорогу-тони почем не уступил бы, кабы я его не отпихнул. Ну я и говорю тамошнему народу: почему этого ниггера до сих пор с аукциона не продали, хотел бы я знать? И что мне, по-твоему, ответили? А его, говорят, нельзя продать, пока он в нашем штате полгода не проживет, а он сюда только недавно приехал. Вот тебе и пример. Все говорят, правительство, правительство, а оно свободного негра продать не может, пока он не проживет в одном штате полгода. Правительство, а? оно называет себя правительством, и все считают его правительством, да оно и само думает, что правительство и есть, а ведь сидит, сложа руки, целых шесть месяцев, и не может взять пронырливого, вороватого, растреклятого свободного ниггера в белой рубашке, да и...

Папаша до того распалился, что уж и не смотрел, куда его ноги несут, ну и напоролся на бочонок с солониной, и полетел вверх тормашками, да еще и обе голени зашиб, так что остаток своей речи он произносил с большой горячностью, осыпая проклятьями ниггера и правительство, хотя и бочонку тоже доставалось, время от времени. Папаша скакал по лачуге сначала на одной ноге, потом на другой, держась сначала за одну, потом за другую голень, а после вдруг как замахнется левой ногой, да как даст бочонку здоровенного пинка. Ну, это он неподумавши сделал, потому что как раз на этой-то ноге у него башмак и порвался и два пальца наружу торчали, и теперь уж папаша взвыл так, что у меня волос дыбом встал, ей-богу, а он повалился на пол и катался в грязи, обхватив руками ступню, а уж слова орал такие – куда там прежним. Он после и сам так говорил. Дескать, слышал он старика Сауберри Хагана в лучшие его дни, так папаша уверял, что и того ухитрился перещеголять. Но это он, я думаю, малость перехватил.

После ужина папаша снова взялся за бутылку, сказав, что этого виски ему хватит на две хороших выпивки и одну белую горячку. Такое у него было присловье. По моим прикидкам, примерно за час он должен был напиться в дымину и тогда я смог бы либо ключ у него стянуть, либо дыру в стене допилить – одно из двух. Папаша пил, пил и, наконец, повалился на свое одеяло, однако удача мнетак и не улыбнулась. Он не то чтобы заснул, а впал в забытье. Вздыхал, стонал, дергался – и так долгое время. В конце концов, меня самого сон начал морить, глаза стали слипаться, и я заснул, сам не заметив как, оставив свечу гореть на столе.

Не знаю, долго ли я проспал, но только разбудил меня жуткий вопль. Смотрю: папаша с одичалым видом мечется по хижине и про каких-то змей орет. Вроде как, они по его ногам вверх ползут, а потом он как подпрыгнул, да как завизжал, дескать, одна его в щеку цапнула – хоть я никаких змей на нем и не видел. Тут он начал бегать по хижине кругами, подвывая: «Уберите ее! Уберите! Она мне шею грызет!». Таких безумных глаз я еще ни у кого не видал. Впрочем, скоро он выдохся и повалился, отдуваясь, на пол, а потом вдруг стал кататься понему, да так быстро, и отшвыривать все, что ему подворачивалось, и бить по воздуху кулаками, и хвататься за него, визжа, что его черти скрутить хотят. Ну и опять устал, и полежал немного, постанывая. А там и вовсе стих и не издавал больше ни звука. Я слышал, как далеко в лесу ухают совы да волки воют, тишина стояла какая-то совсем уж страшная. А папаша полежал-полежал в углу, а после сел и начал вслушиваться, склонив голову набок. И говорит, да тихо так:

– Топ-топ-топ, это покойнички; топ-топ-топ, за мной пришли, а только я с ними не пойду. Вот они, вот! Не трогайте меня, не надо! Уберите руки – ой, какие холодные, – уйдите! Оставьте несчастного в покое!

Тут он встал на четвереньки, побегал немного, прося оставить его в покое, потом накрылся с головой одеялом, заполз под старый сосновый стол, все еще умоляя не трогать его, и вдруг как заплачет. Даже сквозь одеяло слышно было.

Ну, правда, под столом он недолго просидел. Выскочил наружу, вид самый дикий, и тут я ему на глаза попался – ну, он на меня и набросился. Гонял, размахивая складным ножом,

кругами, называл Ангелом Смерти и орал, что вот он меня сейчас убьет и больше я за ним приходить не буду. Я просил его перестать, кричал, что я Гек, но он только смеялся, да так визгливо, иревел, и ругался, и все гонялся за мной. Один раз я проскочил у него под рукой, но он успел вцепиться сзади в мою куртку, – я уж подумал, что тут-то мне и конец придет, но все-таки вывернулся из куртки, только тем и спасся. Вскоре оно опять утомился, плюхнулся на пол спиной к двери и сказал, что отдохнет минутку, а там уж меня и убьет. Потом сунул под себя нож, объявил, что вот он сейчас малость поспит, сил наберется, и тогда посмотрим, чья возьмет.

Ну и заснул, быстро. Я подождал, потом взял старый продавленный стул, залез на него, стараясь, чтоб вышло как можно тише, и снял со стены ружье. Сунул в дуло шомпол – проверить, заряжено ли, – положил ружье на бочонок с репой, дулом к папаше, а сам уселся за бочонком и стал ждать, когда папаша зашевелится. И как же медленно и тихо тянулось время.

Глава VII. Как я надул папашу и смылся

– Вставай! Что это тебе в голову взбрело?

Я открыл глаза, поозирался, пытаюсь понять, где нахожусь. Уже и солнце взошло, а я все еще крепко спал. Папаша стоял надо мной, вид у него был недовольный, больной. Он говорит:

– Ты зачем ружье взял?

Я понял, что о своих вчерашних подвигах он ничего не помнит, и сказал:

– В дверь кто-то ломился, вот я и сел в засаду.

– А меня чего не растолкал?

– Так я попробовал, не вышло, я вас даже с места сдвинуть не смог.

– Ну ладно. Хватит лясы точить, сходи-ка, посмотри, нет ли на закидушках рыбы на завтрак. Я тут задержусь на минутку.

Он отпер дверь, и я побежал на берег реки. А там увидел, что по реке плывут, посверкивая корой, ветки деревьев и все такое, это значит вода начала прибывать. И подумал, как хорошо было бы оказаться сейчас в городе. Июньский паводок всегда мне удачу приносил, потому что, когда вода поднимается, по ней какая только древесина ни плывет – бревна от плотов, иногда целая дюжина бревен, еще связанных – только и дела остается, что вылавливать их да продавать лесным складам или лесопилке.

Я прошелся вверх по берегу, поглядывая одним глазом, не появился ли папаша, а другим – не принесет ли вода чего-нибудь полезного. И очень скоро увидел челнок, да такой красивый – футов в тринадцать-четырнадцать длиной и идет по воде шустро, что твоя утка. Я прямо в одежде прыгнул с берега в воду, как лягушка, и поплыл к челноку. Я, правда, думал, что в нем залег кто-нибудь, люди часто так делают, простаков дурачат – подплывет такой к лодке, ухватится за борт, а хозяин вскочит и ну хохотать. Но на этот раз ничего подобного не произошло. Челнок унесло откуда-то паводком, тут и сомневаться не приходилось, и я забрался в него, и погреб к берегу. Гребу и думаю: старик обрадуется, увидев эту штуковину, она, небось, долларов десять стоит. Однако, когда я подошел к берегу, папаша видно еще не было, так что я завел челнок в закрытое со всех сторон ивами и диким виноградом устье ручья и мне пришла в голову новая мысль: чем удирать в лес да ноги трудить, спущусь-ка я по реке миль на пятьдесят и устройтам постоянный лагерь.

До лачуги от этого места было рукой подать и мне все время казалось, что сюда мой старик идет, и все же, челнок я спрятать успел, авыглянув из-за ив, увидел папашу, который стоял на тропе и целился в какую-то птицу. Стало быть, ничего он не заметил.

Когда он подошел ко мне, я уже старательно тянул из воды закидушку. Он малость поругался на то, что я копаюсь, однако я сказал, что свалился в реку, это меня и задержало. Я же понимал, он заметит, что я весь мокрый, расспрашивать начнет. В общем, сняли мы с донок пяток сомов и вернулись в лачугу.

Прилегли мы вздремнуть после завтрака, оба же усталые были, и я все думал: вот если бы мне удалось изобрести чего-нибудь такое, что отбило бы и у папаша, и у вдовы

охоту искать меня, то это было бы куда вернее попытаться подалеже, прежде чем меня хватятся, потому как мало ли что со мной может случиться, понимаете? Однако я так ни до чего и не додумался, но тут папаша поднялся, чтобы выдуть еще один бочонок воды, да и говорит:

– Если тот малый снова начнет шнырять тут, ты разбуди меня, слышишь? Он сюда не с добром приходил. Я его застрелю. Непременно разбуди меня в следующий раз, понятно?

И тут же снова захрапел, но эти-то его слова и подали мне мысль, в которой я так нуждался. Ладно, говорю я себе, уж теперь-то я так все устрою, что никому и в голову не придет меня разыскивать.

Около двенадцати мы встали и прошлись по берегу. Вода поднималась быстро и несла много всякого деревянного сора. Спустя какое-то время показался кусок плота – девять связанных вместе бревен. Мы запрыгнули в ялики подтянули их к берегу. Потом пообедали. Любой другой подождал бы до вечера, посмотрел бы, не принесет ли река еще чего, но это было не в папашинем стиле. Девяти бревен ему хватило за глаза и теперь он спешил поплыть в город и продать их. Так что около половины четвертого он запер меня и отчалил на ялике, за которым тянул на буксире бревно. Я рассудил, что к ночи он не вернется. Подождал, пока он отплывет подалеже, вытащил пилу и принялся за работу. Папаша еще и до другого берега не добрался, а я уже вылез в дыру; он и его бревно едва различались вдали, точно соринка на воде.

Я взял мешок с кукурузной мукой, отволокло его к спрятанному мучелноку, раздвинул ветки и плети винограда и уложил в него мешок, а следом тащил грудинку и бутылку с остатками виски. Потом забрал из хижины весь кофе, сахар и все патроны; и бумагу для пыжей тоже; и ведерко, и сделанную из тыквы бутылочку; ковшик забрал и жестяную кружку; и пилу, и два одеяла, и сковородку с длинной ручкой, и котелок, в котором мы кофе варили. Забрал лески, спички – вообще все, что хотя бы один цент стоило. Обчистил нашу лачугу так, что любого дорогого. Мне и топор не помешал бы, да топор у нас был только один, он в поленице лежал, а я уже знал, что его придется оставить. Последним, что я утащил из лачуги, было ружье.

Снуя туда-сюда через дыру и вытаскивая всякие вещи, я здорово утрамбовал почву около нее и теперь постарался скрыть это, да и опилки заодно, засыпав все землей. Потом вставил обратно выпиленный кусок бревна, подпер его двумя камнями, и еще один снизу подсунул, потому что как раз в этом месте бревно изгибалось кверху и до земли малость не доставало. Тот, кто не знал, что бревно выпилено, уже с пяти-шести футов ничего не заметил бы, опять же, стена-то была задняя, так что вряд ли вокруг нее кто-нибудь шастать стал бы.

От лачуги к челноку все сплошь трава шла, поэтому следов ясных не оставил. Я побродил вокруг, приглядываясь, постоял на берегу, оглядел реку. Никого. И я, прихватив ружье, углубился немного в лес, думал пару птиц подстрелить, но тут увидел поросенка. В этой глуши свиньи, сбегавшие с ферм, дичают быстро. Я подстрелил бедолагу и отнес его к хижине.

А после взял топор и принялся за дверь. И обухом по ней молотил, и рубил, в общем, потрудились от души. Потом затащил в хижину поросенка, прислонил его к ножке стола, рубанул топором по шее и положил на землю, чтобы кровь стекла – я говорю, на землю, потому что пол в хижине был земляной, хоть и твердый, никаких тебе досок. Ну вот, следом я взял старый мешок, набил его камнями покрупнее – не доверху, потому как мне же его тащить предстояло, – и поволок прямо от поросенка, через дверь, по лесу и к реке, а там бросил мешок в воду, он сразу и потонул. Теперь хорошо видно было: что-то тут волокли. Жаль, не было со мной Тома Соьера, он такие штуки любит и уж наверняка придумал бы парочку забавных подробностей. В подобных делах за Томом никому не угнаться.

Ну а под занавес выдрал я у себя немного волос, вымазал топор в крови, прилепил волосы к обуху и бросил топор в угол. Потом завернул поросенка в куртку, – чтобы кровь на землю не капала, – отошел вниз по реке подалеже от дома и забросил его в реку. И тут мне в голову еще один фокус пришел. Я направился к челноку, достал из него мешок с мукой и пилу, и оттащил их в хижину. Там я поставил мешок на прежнее место и продрал в нем снизу небольшую дыру – пилой, потому как ножом и вилок у нас не водилось, – папаша, когда он стряпал, обходился складным ножом. А после отнес мешок по траве насотню, примерно,

ярдов к мелкому озеру, которое лежало за ивами к востоку от дома, – ширины в нем было миль пять и все оно заросло камышом, а осенью на него тучиуток слетались. С другого края озера от него отходила не то заболоченная протока, не то ручей, эта штука тянулась куда-то на многие мили – уж не знаю куда, но только не к реке. Мука понемногу сыпалась из мешка – получилась ведущая к озеру дорожка. Я рядом с ней еще и папашино точило бросил, вроде какого кто-то случайно обронил. А у озера стянул дырку в мешке веревочкой, чтобы мука больше не высыпалась, и отнес его вместе с пилой к челноку.

Уже темнело, я малость отплыл на челноке вниз, под свисавшие берега ивы и стал дожидаться восхода луны. Челнок я накрепко привязал к одной из ив, а сам поел немного и лег на его дно – покурить и придумать, что делать дальше. И говорю себе: они пройдут по следам мешка с камнями до реки и начнут обшаривать дно, искать мое тело. А еще по мучному следу пройдут, к озеру, и от него по ручью, чтобы найти грабителей, которые убили меня и утащили все изхижины. В реке они, кроме моего трупа, ничего искать не станут. Да и это им скоро надоест, так что они и думать обо мне забудут. Ну и отлично, значит, ямогу остановиться, где захочу. Остров Джексона мне вполне подойдет – я его довольно хорошо знаю, люди туда никакие не заглядывают. А ночами я смогу приплыть с него в город, посмотреть что там да как и тянуть что плохо лежит, если, конечно, нужда появится. Самое для меня подходящее место – остров Джексона.

За день я подустал и потому опомниться не успел, как заснул. А проснувшись, целую минуту пытался понять, где это я. Сижу, оглядываюсь по сторонам, даже испугался немного. Потом вспомнил. Мне казалось, что ширины в реке – несколько миль. Луна светила так ярко, что я мог сосчитать тихо скользившие всотнях ярдов от берега черные сплавные бревна. Тишина стояла мертвая; час, похоже, был поздний, да он и *нах*, как поздний. Ну, вы понимаете, о чем речь, – я просто не знаю, какими словами это сказать.

Я позевал, потянулся и уж собрался отвязать челнок и отправиться в путь, как до меня долетел по воде какой-то звук. Я прислушался. И очень скоро понял, что это. Унылый, мерный перестук, издаваемый в тихую ночь уключинами висел. Я взгляделся сквозь ветви ив – да, вот он, ялик, через реку идет. Скольков нем людей, сказать было невозможно. Он шел в мою сторону, а когда оказался на одной линии со мной, я понял, что человек в нем всего один. Не папаша ли, думаю, вот уж кого не ждал. Течение снесло ялик ниже меня, однако он, подойдя поближе к берегу, начал подниматься по тихой воде и вскоре прошел так близко, что я мог бы дотянуться до него ружьем. Ну так вот, это папаша и *был* – да еще и трезвый, судя по тому, как он веслами работал.

Времени я терять не стал. В следующую минуту челнок мой уже летел, держась в тени берега, вниз по реке, тихо, но быстро. Проплыв так мили две споловиной, я выгреб на четверть мили к середине реки, потому что скоро должна была показаться пристань переправы, и меня могли заметить с нее и окликнуть. Я затесался среди плывущих бревен, лег на дно челнока и предоставил его самому себе. Лежал, отдыхал, покуривал трубку да в небо глядел, а в нем ни облачка. Когда лежишь в лунную ночь на спине, небо кажется таким глубоким, я это раньше и не знал. И как далеко разносится в такую ночь звук по реке! Я слышал, как люди разговаривают на пристани, слышал что они говорят – каждое слово. Один сказал, что дело идет к длинным дням и коротким ночам. Другой ответил, что *эта*, как он понимает, будет не из самых коротких, – и все расхохотались, а он повторил эти слова еще раз, и все снова захохотали, а после разбудили кого-то из своих, и пересказали ему весь разговор, и снова загоготали, но, правда, разбуженный с ними смеяться не стал, а коротко рявкнул что-то и попросил нелезть к нему. Первый сказал, что хорошо бы пересказать эту шуточку его старухе, ей понравится, хотя он в свое время и не такое отмачивал. Потом кто-то заметил, что времени уже около трех и что больше недели рассвета им, похоже, ждать не придется. А затем разговор стал уходить от меня все дальше, дальше, и слов я больше не различал, только бормотание, да временами смех, но, казалось, совсем уж далекий.

Ну, выходит, я отплыл сильно ниже пристани. Сел, смотрю: вот он, остров Джексона, мили на две с половиной ниже меня, лесистый, встающий из воды посреди реки, большой,

темный и грузный, точно пароход, на котором погашены все огни. От отмели в самом его начале и следа не осталось, вся под воду ушла.

Добрался я до него быстро. Пулей пронесся мимо верхушки острова, такое сильное там было течение, но затем выбрался на тихую воду и высадился на его иллинойской стороне. Вошел в знакомую мне глубоко врезающуюся в берег заводь – чтобы попасть в нее, пришлось раздвигать ветви ив, – и привязал челнок в таком месте, что с воды его никто углядеть не смог бы.

Я пересек остров, вышел на верхнюю его оконечность, присел на бревно и стал вглядываться в огромную реку, в сплавной лес на воде, в городок, до которого было отсюда три мили, в три-четыре его огонька. Примерно в миле от меня шел сверху огромный плот, в середине его горел фонарь. Я смотрел, как он ползет вниз, а когда плот почти поравнялся со мной, раздался мужской голос: «Ей на корме! Рули направо». Я расслышал эти слова так ясно, как будто их произнесли рядом со мной.

Небо уже понемногу серело. Я зашел поглубже в лес и вытянулся на земле – соснуть перед завтраком.

Глава VIII. Как я пожалел Джима, сбежавшего от мисс Ватсон

Когда я проснулся, солнце стояло уже высоко, и я решил, что времени сейчас – часов восемь. Я лежал на траве, в прохладной тени, размышляя о том, о сем, чувствуя себя отдохнувшим и довольным. Солнечный свет пробивался сквозь пару прогалин в листве, но, по большей части, под окружавшими меня большими деревьями стоял мрачноватый полумрак. Проникавший сквозь листву свет сыпал землю яркими пятнышками, они чуть покачивались, показывая, что вверху дует легкий ветерок. Две белки сидели на ветке ближайшего дерева и что-то лопотали, поглядывая на меня с большим дружелюбием.

Лежать было так удобно, что меня одолела страшная лень – вставать, ни завтрак готовить мне ничуть не хотелось. Я было опять задремал, но тут мне показалась, что по реке, сверху, до меня долетел звук – «бум!». Я приподнялся, оперся на локоть, стал прислушиваться и очень скоро звук повторился. Тут уж я вскочил, подобрался поближе к берегу, выглянул из закустов и увидел далеко вверху клуб дыма, стелившийся по воде почти вровень с переправой. Увидел я и шедший вниз по реке набитый людьми пароходик. И сразу сообразил, что это значит. «Бум!» С борта пароходика сорвался новый клуб дыма. Понимаете, это они палили над водой из пушки, чтобы заставить всплыть мой труп.

Ну, тут на меня, конечно, сразу голод напал, а костер-то развести я не мог – он же дымить будет, а ну как его с пароходика заметят. Поэтому я просто сидел, смотрел на пушечный дым, слушал выстрелы. Река тут была примерно в милю шириной, а летними утрами она всегда красива, так что я довольно приятно проводил время, наблюдая за поисками моих останков, только есть очень хотелось. Ну вот, и вдруг мне пришло в голову, что они же должны повоевать хлеб с вложенной в него ртутью пускать, потому что такой хлеб всегда останавливается над тем местом, где утопленник на дне лежит. Ладно, говорю я себе, надо бы посмотреть, вдруг какая булка мимо меня поплывет, уж я дам ей возможность меня найти. Перешел я на иллинойский берег острова, удачи поискать, и она мне улыбнулась. Мимо проплывал здоровенный каравай, я почти зацепил его длинной палкой, да нога соскользнула и каравай поплыл дальше. Я, понятное дело, встал там, где течение ближе всего к острову подходит – уж на это-то мне умахватило. Недолгое время погода еще один каравай приплыл, и этот я выловил. Вытряхнул из него катышек ртути и впился в хлеб зубами. Ох и вкусный он был, наверное, пекарь его для себя испек, – не то что какая-нибудь жалкая кукурузная лепешка.

Нашел я в кустах местечко поудобнее, сел там на бревно, уплетая хлеб и следя за пароходом, и очень всем был довольный. И вдруг мне в голову мысль одна стукнула. Я так понимаю, говорю я себе, что вдова, или священник, или еще кто молились, чтобы этот хлеб нашел меня, – ну и пожалуйста, он нашел. Выходит, что-то в этой штуке все-таки есть – в молитве-то, если конечно ее вдова или священник возносит, а вот моя ни в какую не доходит, стало быть, молиться только праведникам смысл и имеет.

Запалил я трубку, сажу, курю, на пароходик смотрю. Онсплывал по течению, и я сообразил, что, когда он подойдет поближе, мне удастся разглядеть, кто стоит на его палубе, – он же пройдет там, где караваи проплывали. И, как только пароходик приблизился к острову, я загасил трубку, побежал к месту, в котором хлеб выловил, и залег на берегу за упавшим деревом. У него развилка была, вот через нее я и смотрел.

Скоро показался пароходик и шел он так близко к острову, что с него можно было доску на берег перекинуть и сойти. И кто только на его палубе стоял. И папаша, и судья Тэтчер, и Бекки Тэтчер, и Джо Харпер, и Том Соьер, и его старенькая тетя Полли, и Сид, и Мэри, и еще много всякого народу. Все они обсуждали убийство, но тут капитан говорит:

– Теперь смотрите внимательно, здесь течение ближе всего к берегу подходит, тело могло выбросить где-то и тогда оно застряло в кустах укромки воды. Во всяком случае, я на это надеюсь.

Ну, мне на это особо надеяться как-то не хотелось. Все умолкли, перегнулись через перила чуть ли не над моей головой, вглядываются. Я-то их видел как на ладони, а они меня нет. А капитан вдруг крикнул: «От борта!», и пушка выпалила прямо мне в физиономию, так что я оглох от грохота, и почти слеп от дыма, и вообще решил, что меня до смерти убило. Кабы пушку зарядили ядром, был бы им труп, который они так искали. Впрочем, я быстро сообразил, что даже не ранен, ну и слава богу. Пароходик проплыл мимо и скрылся из глаз за изгибом острова. Я слышал, как время от времени бухает его пушка, все дальше и дальше от меня, а через час, примерно, буханье смолкло. Длины в острове было три мили, и я подумал, что они добрались до его конца и прекратили поиски. Аннет. Пароходик развел пары, обогнул остров и пошел вверх по течению смиссурийской стороны, продолжая палить из пушки. Я перебрался туда, понаблюдал за ним. Проплыв вдоль всей длины острова, он стрелять перестал и повернул к смиссурийскому берегу, к городу.

И я понял, что дело в шляпе. Никто меня больше искать не станет. Я вытащил все мое имущество из челнока и разбил в гуще леса вполне приличный лагерь. Соорудил из двух одеял что-то вроде палатки, чтобы вещи от дождя укрывать. Поймал сома, вспорол ему пилой брюхо, и перед самым закатом развел костер и поужинал. А после забросил донку, чтобы у меня и к завтраку рыба была.

Когда стемнело, я покурил у костра, всем довольный; но мало-помалу стало мне что-то не по себе, и я пошел на берег, посидел там, слушая, как плещет вода, считая звезды и проплывавшие мимо бревна и вглядываясь в медленно ползшие плоты, а после отправился спать. Это самый хороший способ коротать время, когда тебе одиноко, – вроде совсем уж тоска к горлу подперла, а заснешь – и нет ее.

Так прошли три дня и три ночи. Неотличимые – все время одной то же. А потом я решил осмотреть остров. Я же его, можно сказать, владелец, все здесь мое, значит обязан знать, где тут что – хотя, на самом-то деле, мне просто время не на что было потратить. Нашел я уйму земляники, свежей, только-только созревшей; еще зеленый летний виноград и малину, тоже зеленую, едва завязавшуюся ежевику. Ладно, думаю, в свое время все в дело пойдет.

Ну вот, бродил я, бродил по густому лесу, пока не решил, что почти уж дошел до нижней оконечности острова. Я был с ружьем, но не стрелял, я его на всякий случай прихватил, для обороны; ну и дичь какую-нибудь подстрелить думал, когда поближе к моему лагерю окажусь. И вдруг я едва не наступил на здоровенную такую змею, и она заскользила в траве и цветах, а я погнался за ней, думал ее пристрелить. Бежал очертя голову и внезапно влетел напрямик в кострище, еще дымящееся.

Сердце мое подпрыгнуло так, что едва легкие не пробило. Задерживаться я в том месте, да по сторонам озираться не стал, а взвел курок и на цыпочках побежал прочь оттуда. Время от времени останавливался на секунду – там, где листва была погуще, прислушивался, однако так пыхтел с перепугу, что ничего услышать не мог. Пробегу еще немного и снова прислушаюсь, ну и так далее. Если мне попадался на глаза пень, я его первым делом за человека принимал; если наступал на какой-нибудь сучок, то чувствовал себя так, точно кто-то отломал половину моего дыхания и себе забрал, а мне оставил половинку покороче.

В общем, до лагеря моего я добрался не так чтобы очень большим храбрецом, у меня просто-напросто поджилки тряслись; но я сказал себе: давай-ка, не дури. Перетащил все барахло в челнок, чтобы оно никому на глаза не попало, затоптал костер и пепел вокруг него разбросал, чтобы кострище на прошлогодне походило, а сам на дерево залез.

Думаю, часа два я на нем просидел, однако и не увидел ничего, и не услышал – хоть мне и *казалось* тысячу раз, будто я что-то вижу и слышу. Ну, не век же на дереве сидеть и, в конце концов, я с него слез, но сразу забился в самую чащобу, да и там все время по сторонам озирался. А для прокорма у меня только и было, что ягоды да остатки завтрака.

К ночи я совсем оголодал. И потому, когда стемнело, а луна еще не взошла, я повел челнок от острова к иллинойскому берегу – примерно на четверть мили от места моей стоянки. Там я забрался поглубже в лес, состряпал себе ужин и уж совсем было надумал залечь здесь на ночь, как вдруг слышу, вроде бы копыта постукивают, и говорю себе: лошади какие-то идут, – а следом и голоса людей слышны стали. Я торопливо перетащил все обратно в челнок и, крадучись, вернулся в лес, выяснить, что там делается. Крался я совсем не долго, потому что скоро услышал мужской голос:

– Давайте где-нибудь здесь и остановимся, если найдем подходящее место, а то лошади совсем измотались. Осмотритесь-ка вокруг.

Продолжения я дожидаться не стал, а вернулся к челноку, оттолкнул его от берега и поплыл, стараясь грести потише. Вернулся на старое место и решил, что спать буду в челноке.

Да только не больно-то мне спалось. Сначала заснуть не мог, мысли всякие в голову лезли. А потом то и дело просыпался, оттого, что кто-то меня за загривок хватал – вернее, так мне казалось. Так что от сна мне большого проку не было. И в конце концов, сказал себе: нет, это не жизнь; надо выяснить, кто тут еще есть на острове; а не выясню, так в конец изведусь.

Ну, взял я весло, отплыл на пару шагов от берега и пустил челнок по течению, держась в тени деревьев. Луна уже сияла всюю, за краем тени было светло, как днем. Прошло около часа, тишина вокруг стояла мертвая, все беспробудно спало. Так я доплыл почти до нижнего края острова. Задул, рябью воду, прохладный ветерок – верный признак того, что ночь почти на исходе. Я одним гребком развернул челнок, он уткнулся носом в берег, а я взял ружье и пошел к опушке леса. Войдя в него, я опустился на упавший ствол и сидел, вглядываясь сквозь листву в небо и в реку. Луна уже сдавала свою вахту, на реку опускалась мгла. А недолгое время спустя я различил над деревьями проблеск бледного неба и понял, что начинается день. Тогда я встал, подхватил ружье и пошел туда, где видел кострище, время от времени останавливаясь и прислушиваясь. Поначалу мне не везло, никак я это место отыскать не мог. Но, наконец, углядел за деревьями проблеск костра и направился к нему, осторожно и медленно. И скоро подошел так близко, что увидел лежавшего на земле человека. Ни капельки мне это не понравилось. Голова его, обернутая одеялом, только что не в самом костре лежала. Я присел на корточки футов в шести от спящего, закустами, и ждал, не сводя с него глаз. Уже занимался серенький день. Скоро он зевнул, потянулся, стянул с себя одеяло – смотрю: да это же Джим, негр мисс Ватсон! Сами понимаете, как я обрадовался. Ну и говорю:

– Здорово, Джим!

И выхожу из кустов.

Он как подскочит, как вытарашится на меня. А потом упал на колени, сжал перед собой ладони и говорит:

– Не губи меня, не надо! Я привидение отродясь не обижал. И покойников всегда от души любил, делал для них все, что мог. Иди себе обратно в реку, там твое место, а старого Джима не трогай, он тебе всегда другом был.

Ну, я довольно быстро в толковал ему, что никакой я покойник. Но как же я радовался, что встретил Джима. Все-таки без людей оно как-то тоскливо. А что он донесет, где я прячусь, я не боялся, – так ему исказал. В общем, я ему много чего рассказывал, а он только сидел, смотрел на меня и молчал. Тогда я и говорю:

– Совсем уже рассвело. Давай завтракать. Разводи костер.

– Что толку его разжигать – землянику да вон те корешки жарить? Хотя у тебя же ружье

есть, так? С ним можно разжиться чем-то получше земляники.

– Земляника да корешки? – говорю я. – Так ты только ими икормился?

– Да чего ж тут еще добудешь-то? – говорит он.

– А давно ты на острове, Джим?

– С ночи после той, в какую тебя убили.

– Да ну, так долго?

– Ну да – так.

– И у тебя никакой еды, кроме этой дряни не было?

– Нет, сэр, никакой.

– Так ты ж, небось, совсем оголодал, разве нет?

– Да, пожалуй, лошадь я съел бы. Думаю, с ней справился бы. А ты давно на острове?

– С той ночи, как меня убили.

– Ишь ты! А ты чем кормился? Хотя, у тебя же ружье. Ну да, ружье. Вещь хорошая.

Ладно, иди, подстрели чего-нибудь, а я костер запалю.

Ну, перебрались мы поближе к челноку, и пока Джим разводилна травянистой полянке костер, я притащил туда муку, грудинку, кофе – икофейный котелок, и сковороду, и сахар, и жестяные кружки, – так что негр мой дажезабоялся, потому как решил, что я все это наколдовал. Я поймал порядочногосома, Джим выпотрошил его своим ножом, почистил и зажарил.

Как только завтрак был готов, мы развалились на траве и занялисьедой, не дожидаясь, когда она остынет. Джим налегал на нее, что было сил, поскольку к этому дню он чуть уж не помер от голода. Набив животы, мы полежалималость в траве, отдыхая. А после Джим и говорит:

– Но, послушай, Гек, кого ж тогда убили в той лачуге, колине тебя?

Я объяснил ему как все было, и он сказал, что это умно.Сказал, что до лучшего плана и сам Том Сойер не додумался бы. Тогда и я говорю:

– А ты-то как здесь оказался, Джим, как попал сюда?

Он малость сник и целую минуту промолчал. А потом говорит:

– Может, лучше и не рассказывать.

– Почему, Джим?

– Ну, есть причины. Ты ведь не выдашь меня, Гек, если я теберасскажу, а?

– Да чтоб я сдох, если выдам.

– Ладно, тебе я верю, Гек. Я... я *сбежал*.

– Джим!

– Ты только помни, ты сказал, что не выдашь – пообещал мне,Гек.

– Верно, пообещал. Сказал, что не выдам – и не выдам. Честное*индейское*. Пусть меня назовут последним аболиционистом, пусть презирают– мне без разницы. Никому ни слова не скажу, да я туда все равно возвращатьсяне собираюсь. Так что, давай, выкладывай, как дело было.

– Да дело-то вот как было. Старая хозяйка – мисс Ватсон –она вечно ко мне придиралась, прямо со свету сживала, но хоть обещала, что вОрлеан не продаст. А только заметил я, что в последнее время вокруг нееторговец неграми увивается, и забеспокоился. Ну вот, и как-то ночью подкрался кдвери, а та не совсем прикрыта была, и слышу, старая хозяйка говорит вдове, чтодумает меня в Орлеан продать, ей и не хочется, да только за меня восемь сотендолларов дают, а перед такой кучей денег ей не устоять. Вдова, та попыталась еетговорить, но я, Гек, дальше слушать не стал, а тут же дал деру.

– Спустился я с горы, думал пройти по реке повыше и стянуть какой-нибудьялик, но у реки еще люди толклись, я и спрятался в старой бондарне на берегу, чтобыподождать, когда все угомонятся. Да так всю ночь там и пролежал. Все время вокругкто-нибудь да шастал. Ну, часов около шести на воде ялики появились, а квосьми-девяти их уже полным-полно было и в каждом только и разговоров насчеттого, как твой папаша в город приплыл и рассказывает всем, что тебя убили. Всеэти леди и джентльмены туда плыли, посмотреть, где дело было. Кое-

кто приставалк берегу, отдохнуть перед тем, как реку пересекать, так что я из их разговоров все про убийство и узнал. И уж так я тебя жалел, Гек, но теперь уже нет, конечно.

– В общем, пролежал я весь день под стружками. Проголодался сильно, но ничего пока не опасался, потому как помнил, что старая хозяйка ивдова собирались прямо после завтрака на молитвенное собрание пойти, значит их целый день дома не будет, да и, опять же, они знали, что я на рассвете скотогоняю на пастбище, стало быть, до темноты меня не хватятся. А другим слугамне до меня будет – они, стоит хозяйкам за порог выйти, разбегаются кто куда, отдыхать да веселиться.

– Ну вот, а как стемнело, я выбрался на дорогу, которая вдоль реки идет, и прошел по ней мили две или больше до мест, где уже нет никакого жилья. К тому времени я успел придумать, что делать буду. Понимаешь, если бы я попытался пехом удрать, так меня бы с собаками нашли, а если бы сперялик и переплыл реку, так хватились бы ялика, поняли, что я на другом берегу истали бы там мой след искать. Я и говорю себе: плот, вот что мне нужно, плот следов не оставляет.

– И тут вижу, огонек на реке появился и ко мне спускается, ну я и бросился в воду, толкаю перед собой бревно, которое река откуда-то принесла, голову стараюсь пониже держать и загребая против течения, жду, когда оно плот поближе подтащит. А после подплыл к корме плота и ухватился за нее. Ночь была облачная, а скоро и вовсе темно стало. Так что я забрался на плот, лег на бревна. Люди, какие на плоту были, они все в середине его собрались, где фонарь стоял. Вода поднималась, течение было сильное, ну, думаю, этак часам к четырем утра я окажусь миль на двадцать пять ниже города, а как светать начнет, спущусь в воду, подплыву к иллинойскому берегу, да там в лесу и спрячусь.

– Но только мне не повезло. Мы уж почти до острова доплыли, как вдруг, вижу, кто-то идет по плоту в мою сторону, да еще и с фонарем, ну нет, думаю, дожидаться я тебя не стану, – соскользнул в воду и поплыл к острову. Хотел выбраться на него, но никак не мог, берег слишком крутой был. Только у самого конца острова и нашлось подходящее место. Забрался я в лес и решил сплотами больше не связываться, уж очень много на них людей с фонарями. Трубка, махоркада немного спичек они у меня в шапке лежали и не промокли, так что все было поутем.

– И все это время ты ни мяса, ни хлеба во рту не держал? Ты бы хоть черепах ловил.

– Поди-ка поймай их. Они ж тут под ногами не вертятся, чтобы их голыми руками хватать, да и камнем черепаху издали не больно-то пришибешь. И потом, как бы я их ночью ловил? А днем мне на берегу маячить не хотелось.

– Ну да, верно. Тебе же приходилось все время в лесу сидеть. А как пушка стреляла, ты слышал?

– Еще бы. Я знал, это они тебя ищут. Я даже видел, как пароход мимо прошел, – из кустов смотрел.

Появились какие-то совсем молоденькие пичуги – пролетят ярд-другой и на землю садятся. Джим сказал, что это к дождю. Сказал, когда цыплята так делают, это точно к дождю, значит и у других птиц то же самое. Я хотел было поймать пару-тройку, но Джим мне не позволил. Говорит, когда отецего здорово заболел, кто-то из детей словил птичку, и бабушка их сказала, что он теперь не жилец, и отец умер.

А еще Джим сказал, что нельзя пересчитывать то, из чего ты обед приготовить надумал, потому что это к несчастью. Это все равно, что столовую скатерть после захода солнца вытряхивать. И что, если у кого есть пчелы, а он вдруг помер, так нужно сказать об этом пчелам до следующего рассвета, иначе они ослабеют, перестанут работать и тоже все перемрут. Джим уверял, что пчелы не жалят только круглых дураков, но я ему как-то не поверил, – я их вон сколько переловил и ни одна меня не ужалила, ни разу.

Про некоторые из этих примет я и раньше слышал, но не про все. А Джим все до единой знал. Или почти все, он сам так сказал. Я говорю – сдается мне, что все они насчет неудач толкуют, а про удачу-то есть хоть одна? Он отвечает:

– Есть-то есть, но очень мало, да и пользы от них никакой. Зачем человеку знать, что ему

скоро удача привалит? Чтобы от нее увернуться?

И еще он сказал:

– Если у тебя руки и грудь волосатые, значит быть тебе богачом. Вот от этой приметы еще есть какая-то польза, потому как она далеко вперед глядит. Понимаешь, может, ты сначала долгое время бедняком проживешь и до того тебя это допечет, что ты бы на себя прямо руки наложил бы, кабы не знал, что по этой примете тебя непременно где-то богатство ждет.

– А у тебя, Джим, руки и грудь разве не волосатые?

– Чего ты спрашиваешь-то? Неужто сам не видишь?

– Так почему же ты не разбогател?

– Ну как же, я разбогател один раз и еще разбогатею. У меня однажды четырнадцать долларов было, да я ввязался в куплю-продажу и всего моего состояния лишился.

– И что же ты покупал-продавал, Джим?

– Ну, сначала говядину.

– Какую говядину?

– Живую, какую же еще – скот, понимаешь? Вложил десять долларов в корову. Но только больше я так рисковать деньгами не стану. Корова взяла да и сдохла прямо у меня на руках.

– Выходит, десять долларов ты потерял.

– Потерял, но не все. Около девяти. Шкуру и сало я продал – доллар и десять центов выручил.

– И у тебя осталось пять долларов и десять центов. И что, ты снова в дело пустил?

– Ну да. У старого мистера Брэндиша есть одноногий негр, знаешь его? Так вот, он открыл банк и говорил всем: кто внесет в банк доллар, тот под конец года получит четыре. Ну, все негры и понесли ему свои деньги, да только какие ж у них деньги? Крупные только у меня и были. Но я захотел побольше четырех долларов получить и сказал, если он мне их не даст, я сам банк открою. А этому негру, понятное дело, пускать меня в бизнес невыгодно было, он говорил, что двум банкам у нас тут делать нечего, ну и сказал, что, если я вложу пять долларов, то он мне под конец года тридцать пять выдает.

– Я и вложил. Думал и тридцать пять потом обратно вложить, пусть деньги работают. А был один такой негр, Боб его звали, он на реке плоскодонку поймал, а хозяину не сказал, ну я ее и купил, пообещав ему отдать в конце года тридцать пять долларов, и в ту же ночь кто-то ее спер, а наследующий день этот одноногий и говорит: банк лопнул. Так что никто из нас ничего не получил.

– А с десятью центами ты что сделал?

– Да сначала потратить хотел, но тут увидел сон, в котором мне велено было отдать их негру по имени Валаам – все его для краткости Валаамовым Ослом называли, потому что он дурак-дураком, понимаешь? Но, говорили, дурак, да везучий, не то что я, про себя-то я все уже понял. И в том сне мне было сказано: пускай Валаам вложит деньги, куда сам захочет, а мне с того прибыль пойдет. Вот, и Валаам деньги взял, а после услышал в церкви от проповедника, что, дескать, кто дает бедному, тот дает Господу, и что к нему в сто раз больше вернется. Так что Валаам раздал мои десять центов бедным и стал ждать, чего из этого выйдет.

– И что из этого вышло, Джим?

– А ничего не вышло. Как я мои денежки выручить не смог, так не смог и Валаам. Нет уж, больше я деньги никому отдавать не стану, разве что под залог. В сто раз больше вернется, это ж надо! Да мне бы мои *десять центов* вернуть, я бы уже до смерти рад был.

– Ладно, Джим, не горюй, ты же все равно когда-нибудь разбогатеешь.

– Это верно – да ведь я, считай, уже разбогател. Я теперь сам себе хозяин и за меня восемь сотен предлагают. Отдали бы эти денежки мне, я большего и не просил бы.

Глава IX. Мертвый дом

Мне хотелось осмотреть одно место в самой середине острова, которое я обнаружил, когда обходил его; мы отправились туда и добрались до него довольно скоро – остров-то был всего три мили в длину и четверть в поперечнике

В том месте возвышался довольно длинный крутой холм или пригорок – футов в сорок высотой. Забрались мы на него не без труда, поскольку крутые бока пригорка были покрыты густыми зарослями. Мы обошли и облазили его сверху донизу и, в конце концов, отыскали большую каменную пещеру – почти под самой верхушкой, на склоне, который смотрел в сторону иллинойского берега. Места в пещере хватало – словно кто-то соединил, разломав стены, две, не то трикомнаты, и Джим мог стоять в ней во весь рост. Да и прохладно там было. Джим сказал, что надо бы перенести сюда, не теряя зря времени, все мои вещи, но я возразил, что так нам придется каждый день лазить то вверх, то вниз.

А Джим ответил, что, если мы хорошо спрячем челнок, а вещи перенесем в пещеру, то сможем прятаться в ней всякий раз, как кто-нибудь заглянет на остров, и никто нас здесь без собак не отыщет. И потом, сказал он, те пичуги предсказывали дождь, не хочу же я, чтобы все мое имущество промокло?

В общем, вернулись мы к челноку, поднялись по реке к месту, находившемуся вровень с пещерой и перетаскали в нее все вещи. Потом отыскали поблизости местечко, в котором можно было прятать за густыми ивовыми ветвями челнок. А после сняли с крючков несколько рыб, снова поставили закидушки и занялись готовкой.

Вход в пещеру был так широк, что хоть бочку закатывай, а содной стороны от него имелось небольшое плоское возвышение – самое место для костра. Там мы его и развели, чтобы обед приготовить.

Ну, расстелили мы по полу одеяла, получилось что-то вроде ковра, да на них и поели. Все наши вещи мы сложили у дальней стены пещеры, чтобы они всегда под рукой были. Скоро снаружи потемнело, загредел гром, засверкали молнии, – выходит, правы оказались пичуги. И почти сразу хлынул дождь, да какой – настоящий ливень, – а ветра такого я отродясь не видывал. Хотя грозы летом и часто случаются. Стемнело настолько, что снаружи все выглядело черно-синим, а лило так, что мы даже ближние деревья различали с трудом, точно какую-то паутину ветвей; порывы ветра сгибали деревья, и они показывали нам бледный испод своей листвы, а за каждым порывом налетал сущий шквал, под которым деревья размахивали, будто обезумевшие, ветвями; ну а следом, когда синяя тьма совсем уж сгушалась, – *фст!* – все заливалось сиянием, и мы различали верхушки деревьев, метавшиеся под грозовым ветром в сотнях ярдов от нас; но через секунду снова становилось темно, как в гробу, и слышался страшный треск, и с неба валились раскаты грома – такие, точно пустые бочонки скатывались по длинной лестнице в преисподнюю и подпрыгивали на каждой ступеньке.

– Вот здорово, Джим, – говорю я. – Век бы здесь просидел и не уходил никуда. Дай-ка мне еще рыбы и кусок горячей лепешки.

– Да, а кабы не Джим, тебя бы здесь не было. Сидел бы сейчас в лесу без обеда, да еще и промокший до костей, вот так-то, голубчик. Цыплята знают, когда дождик пойдет, и птицы лесные, понятное дело, тоже знают.

Река продолжала подниматься дней десять-двенадцать, пока наконец, не накрыла землю. В низинах острова и на иллинойском берегу стояла вода глубиной фута в три, в четыре. С этой стороны острова река разлилась на многие мили, но с другой ширина ее осталась прежней, с полмили, потому что миссурийский берег – это стена высоких утесов.

В дневное время мы плавали на челноке по всему острову. Вгущу леса, под листвой, было холодно и темновато, даже если на небе сверкало солнце. Мы юлили между деревьями, хотя кое-где плети свисавшего с них дико-говинограда оказывались такими густыми, что нам приходилось сдавать назад и искать другой путь. Ну вот, и на каждом иссохшем, сломанном дереве мы видели зайцев, змей и прочую живность; после того, как вода простояла на острове парудней, все они стали почти ручными, потому что есть уж очень хотели – можно было подплыть к ним и по спинке погладить, но, правда, не змей с черепахами, те сразу в воду соскальзывали. На нашем пригорке их тоже было хоть пруд пруди. Мы могли бы, если б захотели, настоящим зверинцем обзавестись.

В один из вечеров мы изловили небольшой плот – из девяти бревен, обшитых сверху досками. Ширины в нем было футов двенадцать, длины пятнадцать-шестнадцать, а настил,

ровный и крепкий, поднимался над водой дюймовна шесть, на семь. Днем мимо нас проплывали иногда хорошие бревна, но мы занима не гнались – не хотели попасться кому-нибудь на глаза.

А как-то ночью, перед самым рассветом, – мы в это время вверхострова были, – смотрим, плывет к западному берегу острова каркасный дом. Двухэтажный, сильно накренившийся. Мы подплыли к нему, заглянули в одно из окон второго этажа – ничего не видать, слишком темно. Ну, мы привязали к дому челноки посидели в нем, ожидая рассвета.

Рассвело быстро, дом еще до окончания острова не доплыл. Мы опять заглянули в окно, разглядели кровать, стол, два старых стула, множественно валявшихся по полу вещей, висевшую на стене одежду. Что-то еще лежало на полу в дальнем углу комнаты, что-то похожее на человека. Джим и крикнул:

– Эй, там!

Оно не пошевелилось. Я тоже покричал, а потом Джим говорит:

– Этот человек не спит, он мертвый. Посиди здесь, я залезу, погляжу.

Ну, залез он, подошел к тому человеку, наклонился, оглядел его и говорит:

– Это покойник. Да, точно так, и голый к тому же. Ему кто-то в спину выстрелил. Я так понимаю, он тут дня два или три лежит. Залезай, Гек, только в лицо ему не смотри, уж больно оно страшное.

Мне не то что в лицо, даже в сторону покойника смотреть не очень-то хотелось. Джим забросал его всяким старым тряпьем, но мог бы и не стараться, я все равно смотреть не стал бы. По полу были раскиданы старые, засаленные карты, валялись бутылки из-под виски, пара масок из черной ткани, а стены были исписаны самими что ни на есть срамными словами да нарисованными углем картинками. Еще на них висели два старых ситцевых платя, летняя шляпка, какое-то женское исподнее, ну и мужская одежда тоже. Мы кучу всего перетащили в челнок – мало личто может пригодиться. На полу лежала старая, пестрая соломенная шляпа – поразмеру судя, ее какой-то мальчик носил, – я и шляпу прихватил. Была еще молочная бутылка, заткнутая тряпочкой, чтобы ее младенец сосал. Мы и бутылку взяли бы, но она оказалась разбитой. А еще там стояли: старый, обшарпанный сундучок и кожаный ларчик с отломанной крышкой. Оба были открыты и в обоих ничего интересного не нашлось. Судя по тому, как все здесь было разбросано, люди покидали дом второпях, и большую часть своего барахла прихватить не успели.

Потому нам и достались: старый жестяной фонарь, мясницкий нож без черенка, новенький «Барлоу», которого ни в одной лавке дешевле, чем за два четвертака не купишь; жестяной подсвечник, и бутылочка из тыквы, и жестяная кружка, и драное стеганое одеяло, и ридикюль с иголками, булавками, комочком пчелиного воска, пуговицами, нитками и прочей ерундой, и топорик с гвоздями, и перемет толщиной в мой мизинец, с жуткого вида крючками на нем, и рулончик лосиной шкуры, и кожаный собачий ошейник, и подкова, и пузырьки с какими-то лекарствами, но без бирок; а когда мы уже собрались уходить, я нашел вполносную скребницу, а Джим старенький скрипичный смычок и деревянную ногу. Ремешки ее все до одного оторвались, а так хорошая была нога, правда, для меня слишком длинная, а для Джима коротковатая, – мы поискали было вторую, да так и не нашли.

В общем, если все вместе сложить, добыча нам досталась богатая. Ко времени, когда мы отчалили от дома, он успел спуститься на четверть мили ниже острова, да и рассвело уже совсем, поэтому я велел Джиму лечь на дно челнока и накрыл его стеганым одеялом, ведь если бы он просто сидел, кто угодно издала понял бы, что это негр. Я стал грести к иллинойскому берегу и челнок при этом еще на полмили вниз снесло. Однако до тихой прибрежной воды я добрался без приключений, никем не замеченным. И мы спокойно вернулись домой.

Глава X. К чему приводит баловство со змеиной кожей

После завтрака мне приспичило поговорить насчет того покойника, прикинуть, что могло довести его до такой смерти, но Джим на это несогласился. Сказал, что так недолго и беду

накликать, да еще и покойник может кнам прицепиться; дескать, от мертвеца, которого не похоронили, как полагается, только и жди, что он начнет шляться где ни попадая, – другое дело тот, у кого есть удобное, обжитое местечко. Мне его слова показались дельными, так что я говорить об этом больше не стал, но не думать не мог, уж больно хотелось узнать, кто его застрелил да зачем.

Разобрали мы одежду, которая нам досталась, и нашли спрятанные в подкладке старого, сшитого из конской попоны плаща восемь долларов серебром. Джим сказал, что плащ, видать, краденный, ведь кабы они знали про эти деньги, так плащ не бросили бы. А я сказал, что, сдается мне, они и хозяина плаща тоже прикончили, однако Джим промолчал. Я и говорю:

– Вот ты все время про плохие приметы толкуешь, а помнишь, что ты сказал, когда я позавчера нашел на нашем пригорке змеиную кожу? Что тронуть змеиную шкуру – самый верный на свете способ накликать злую беду. Ну, и где она твоя беда? Посмотри, сколько мы добра добыли, да еще и восемь долларов впридачу. Я бы не отказался, Джим, каждый день в такую беду попадать.

– Не спеши, голубчик, не спеши. Ты особенно-то не радуйся. Будет тебе и беда. Вот попомни мои слова, будет.

И ведь как в воду глядел. Разговор этот произошел у нас в вторник, а в пятницу разлеглись мы после обеда в траве на краю пригорка, полежали, полежали, и тут у нас табачок закончился. Я пошел за ним в пещеру, а там гремучая змея. Ну, я ее убил, свернул в кольцо и положил на одеяло Джима, в самых ногах, вот, думаю, весело будет, когда Джим ее увидит. Но только к ночи я про нее и думать забыл, а Джим, пока я разводил костер, плюхнулся на свое одеяло, а туда уже друг-приятель этой змеи приполз, так он возьми да и цапни Джима.

Тот вскочил, заорал во все горло, а костер уже разгорелся, и первым, что я увидел, была эта пакость, приготовившаяся броситься на Джима еще раз. Я в тот же миг пришиб ее палкой, а Джим схватил папашину бутылку с виски и спервого же захода выдул чуть не половину.

Джим босой был и змея укусила его в пятку. А все из-за меня – забыл я по дурости, что если бросишь где мертвую змею, ее дружок непременно туда приползет и свернется вокруг нее. Джим попросил меня отрубить змее голову и выбросить ее, а после стянуть со змеи кожу и поджарить кусочек змеиного мяса. Я поджарил, Джим съел его и сказал, что это поможет ему поправиться. А еще он попросил взять змеиные погремки и обвязать ими его запястье. Сказал, и это тоже должно помочь. Покончив с этим, я выскользнул из пещеры и забросил обеих змей подальше в кусты – не хотелось мне, чтобы Джим узнал, что это я кругом виноват.

Джим все прикладывался и прикладывался к бутылке, и время от времени вроде как ума лишился, начинал раскачиваться из стороны в сторону, орать чего-то, но каждый раз приходил в себя и опять брался за бутылку. Ступня его здорово распухла, да и нога тоже, однако мало по малу виски его сморило, и я решил, что он поправится, хотя, по мне, так змеиный яд намного полезнее папашиного виски.

Он пролежал четыре дня и четыре ночи. А после опухоль спала и Джим поднялся на ноги. Я решил, что в жизни больше не притронусь к змеиной коже, знаю теперь, чем это кончается. А Джим сказал, что, небось, в следующий раз я ему поверю. И еще он вот что сказал: коснуться змеиной кожи, значит накликать такую большую беду, что для нас она, может, еще и не вся вышла. Сказал, что он лучше тысячу раз посмотрит через левое плечо на молодую луну, чем змеиную кожу тронет. Ну, я, в общем-то, и сам уже так думал, хоть и считал раньше, что взглянуть через левое плечо на молодую луну – самый опрометчивый и дурацкий поступок, какой только можно вообразить. Старый Хэнк Банкер как-то проделал это, да еще и хвастался потом, какой он молодец, а меньше чем через два года полез с пьяных глаз на дроболитную башню, сверзился с нее и расшибся, что называется, в лепешку. Его и похоронили-то не в гробу, а зажатым между двумя амбарными дверями. Я, правда, своими глазами этого не видел, но так мне рассказывали. Папаша рассказывал. И произошло это из-за того, что он, дурень, вот так вот на луну посмотрел.

Ну и вот, дни шли, река вернулась в берега, и едва ли не первое, что мы сделали, – насадили ободранного кролика на крюк перемета, поставили его и изловили сома величиной

аж в человека – шесть футов два дюйма, а весу в нем было больше двухсот фунтов. Понятное дело, вытащить мы его немогли, он бы нас запросто в штат Иллинойс зашвырнул. Поэтому мы просто сидели на берегу и смотрели, как он дергался и рвался, пока не пошел на дно. В животе у него мы нашли медную пуговицу, круглый шар и множество всякой дряни. Шар мы разрубили топориком, смотрим, а в нем катушка. Джим сказал, что она, видать, долго в животе пролежала, коли успела так обрасти и в шар превратиться. В городе мы бы за этого сома хорошие деньги выручили. Там такую рыбу несут на рынки на вес продают и каждый покупает по куску, – мясо-то у сома белое, как снег, и жарится хорошо.

На следующее утро я сказал, что мне как-то скучно стало, тупею я тут помаленьку, надо бы встряхнуться. Сказал, что, пожалуй, переплыву реку, прокрадусь в город и выведаю, что там творится. Джиму моя мысль пришлась по душе, однако он сказал, что реку мне лучше переплыть в темноте и вообще держать ухо востро. А потом подумал-подумал и говорит: может, тебе стоит подобрать в нашей добыче какую-нибудь подходящую одежду и девочкой переодеться? Это тоже была хорошая мысль. Укоротили мы с ним одно из ситцевых платьев, я подвернул штанины выше колен, влез в него. Джим застегнул сзади крючочки – всамый раз мне это платье пришлось. А еще я напялил летнюю шляпку и завязал еетесемки под подбородком, так что заглянуть в лицо мне стало не проще, чем впечную трубу. Целый день я практиковался, осваивал новый наряд и понемногу привык к нему, – правда, Джим сказал, что походка у меня какая-то не девчачья и что зря я все время задираю подол и руки в карманы штанов сую. Я принял его слова к сведению и скоро совсем освоился с платьем.

А как только стемнело, отплыл в челноке к иллинойскому берегу.

Пересекать реку я начал неподалеку от переправы, и течение несло меня к низовой окраине города. Я привязал челнок и пошел вдоль берега. Вокне домишки, который долгое время оставался нежилым, горел свет. Я подкрался к окну, заглянул в него. Женщина лет сорока вязала при свете стоявшей на голом сосновом столе свечи. Не знакомая мне женщина – выходит, приезжая, ведь в городе не было человека, которого я не знал бы в лицо. Ну, это мне было на руку, потому как я уж начал побаиваться, что кто-нибудь признает мой голос и разоблачит меня. А эта женщина, если она провела в нашем городке хотя бы два дня, сможет рассказать мне все, что я хочу узнать – и я стукнул в дверь, сказав себе: главное, забывай, что ты девчонка.

Глава XI. За нами вот-вот придут!

– Войдите, – сказала женщина, и я вошел. А она говорит: – Возьми стул.

Я присел. Она оглядела меня маленькими, блестящими глазками и спрашивает:

– Ну, и как же тебя зовут?

– Сара Уильямс.

– А где ты живешь? Здесь рядом?

– Нет, мэм. В Хукервилле, в семи милях отсюда вниз по реке. Я оттуда пешком шла и очень устала.

– И проголодалась, я полагаю. Сейчас я что-нибудь найду.

– Нет, мэм, я не голодна. Дорогой на меня такой голод напал, что я зашла на ферму, милях в двух отсюда, так что есть больше не хочу. Я потому так и припозднилась. Матушка моя заболела, а денег у нас нет, да и ничего нет, вот я и иду, чтобы рассказать об этом моему дядюшке, Эбнеру Муру. Матушка говорит, он здесь живет, на верхнем конце города. Вы его знаете?

– Нет, да я пока и никого из здешних не знаю. Я тут еще и двух недель не прожила. До верхнего края города путь не близкий. Ты лучше заночуй у меня. Снимай шляпку.

– Нет, – говорю, – отдохну у вас немного и пойду. Я темноты не боюсь.

Но женщина сказала, что одну меня не отпустит, а вот скоро вернется ее муж, может быть, часа через полтора, и она попросит его проводить меня. А потом принялась рассказывать о своем муже, и о родне, которая живет вверх по реке, и о той, что живет вниз по реке, и о том, что раньше они с мужем были людьми зажиточными, и что не стоило им перебираться в этот

город, от добра добра не ищут, – и так далее, и так далее, я уж решил, что зря к ней зашел, ничего я от нее про городские дела не узнаю; но в конце концов, она добралась до моего папаша и до убийства, и я вмиг наострил уши. Она рассказала, как мы с Томом Соьером нашли шесть тысяч долларов (правда, по ее словам выходило –десять), и про папашу рассказала, какой злосчастный он был человек, и про меня, тоже злосчастного, а там и до места, где меня убили, добралась. Я и говорю:

– А кто же это сделал? У нас в Хукервилле про это много разговоров ходило, но только мы не знали, кто убил Гека Финна.

– Ну, я так понимаю, что и *здесь* многим тоже хотелось бы узнать, кто его убил. Некоторые считают, что сам старый Финн и убил.

– Да что вы... неужели?

– Поначалу почти все так думали. Он и не подозревает, как близок был тогда к виселице. Однако через день все передумали и решили, что это дело рук беглого негра по имени Джим.

– Так ведь *он* ...

Я примолк. Решил, что лучше сидеть тихо и слушать. А она продолжала, даже и не заметив, что я ее перебил:

– Негр сбежал в ту самую ночь, когда убили Гека Финна. Так что за его поимку объявили награду – триста долларов. А заодно и за старика Финна – двести. Понимаешь, утром после убийства он приехал в город, рассказало обо всем, и на пароходе, который труп искал, сплавал, а после вдруг исчез. Его, видишь ли, как раз в тот вечер линчевать собрались, ну, он и дал деру. Вот, ана другой день выяснилось, что и негр тоже сбежал и что в последний раз его видели в десять вечера, совсем незадолго до убийства. Тогда уж, сам понимаешь, все на него думать стали. А на следующий день, когда все только о негре и говорили, возвращается старый Финн, идет к судье Тэтчеру, закатывает скандал, денег требует, чтобы устроить на него облаву по всему Иллинойсу. Судья дал ему немного, так он в тот же вечер напился, и таскался по городу с парочкой очень неприятных на вид чужаков, а потом куда-то запропал вместе с ними. Ну и с тех пор не возвращался, и многие теперь думают, что и не вернется, пока шум не уляжется, что сам же он сына и убил и подстроил все так, чтобы свалить вину на грабителей, а после получить деньги Гека без всякого затяжного суда. Кое-кто говорит, правда, что у него на такое ума не хватило бы, а я себе думаю: ну иловкач же он. Отсидится где-нибудь с годок, а после вернется – и дело в шляпе. Доказательств-то против него никаких, знаешь ли, нет, а к тому времени все стихнет, вот и получит он деньги Гека, как пить дать.

– Да, наверное. Он же в своем праве. Значит, на негра никто больше не думает?

– Ну нет. Многие думают, что это все же его рук дело. Ну да его скоро поймают, а там прижмут как следует, может, он всю правду и выложит.

– А что, его все еще ищут?

– Ну, ты совсем глупенькая. Разве три сотни долларов что ни день на дороге валяются – бери не хочу? Многие считают, что далеко уйти негр не мог. И я среди них, только вслух об этом не говорю. Несколько дней назад я разговаривала со стариками, мужем и женой, которые тут рядышком живут, в бревенчатом домике, и они обмолвились, что на остров, который лежит немного ниже потечению, остров Джексона, так они его назвали, никто никогда не заглядывает. Я спрашиваю: там что же, и не живет никто? Нет, говорят, никто. Я больше ничего говорить не стала, но призадумалась. Я, видишь ли, почти уверена, что задень-другой до того, видела дымок, который поднимался над верхним краем острова, ну и говорю себе: уж не там ли тот негр и прячется – ну, так оно или не так, а обыскать этот остров стоит. Правда, с тех пор я никакого дыма там не видела, так что, может, он оттуда и ушел, если это был он, однако муж собирается сплавить туда и посмотреть, – а с ним и еще один мужчина. Муж уезжал вверх по реке, а сегодня вернулся, часа два назад, так я ему сразу все и рассказала.

К этому времени мне уже было до того не по себе, что я не мог спокойно сидеть на месте. Ну и решил занять чем-нибудь руки – взял со стола иголку и попытался вдеть в нее нитку. Однако ничего у меня не вышло – уж больно сильно руки тряслись. А женщина вдруг умолкла, – я поднял на нее глаза и вижу, она смотрит на меня с большим любопытством и слегка

улыбается. Я положил иголку с ниткой на стол и, сделав вид, что меня сильно заинтересовал ее рассказ – да так оно и было, – сказал:

– Триста долларов это большие деньги. Вот бы у моей матушки такие были. Значит, ваш муж прямо нынче ночью туда и отправится?

– Ну да. Он пошел в город с тем мужчиной, о котором я говорила, чтобы раздобыть лодку и попробовать занять у кого-нибудь ружье. А после полуночи оба поплывут на остров.

– Может, им стоит дожидаться рассвета, днем-то все лучше видно.

– Это верно. Но днем ведь и негру все лучше видно, так? После полуночи он, скорее всего, уже спать будет, и они смогут спокойно обшарить лес, поискать костер, если негр его разжигает, а костер, опять же, в темноте проще найти.

– Об этом я не подумала.

Женщина продолжала с любопытством вглядываться в меня, и мне стало совсем беспокойно. А она вдруг спрашивает:

– Как, ты сказала, тебя зовут, милочка?

– М... Мэри Уильямс.

Я тут же сообразил, что, вроде бы, раньше назвался не так – не Мэри, а Сарой, – и отвел взгляд в сторону; мне стало казаться, что я сам себя в угол загнал, и что она заметит это по моим глазам. Очень мне хотелось, чтобы женщина сказала хоть что-нибудь, – чем дольше она молчала, тем неуютнее себя чувствовал. Ну, она и сказала:

– Милочка, по-моему, в первый раз ты назвалась Сарой.

– Да, мэм, конечно. Сара Мэри Уильямс. Сара это мое первое имя. Одни зовут меня Сарой, другие Мэри.

– Ах вот оно что?

– Да, мэм.

Мне стало малость полегче, но все равно хотелось побыстрее убраться отсюда. А взглянуть ей в лицо я так и не решился.

Ну вот, а женщина заговорила о том, какие трудные нынче времена, как бедно им с мужем живется, какую волю взяли себе здешние крысы, решившие, видать, что этот дом им принадлежит, – и так далее, и так далее, и в конце концов, я успокоился. Насчет крыс это она правду говорила. Одна из них тои дело выставляла нос из дырки в углу. Женщина сказала, что ей приходится держать под рукой всякие штуки, чтобы бросаться ими в крыс, когда она остается дома одна, иначе они бы ее со света сжили. И показала мне завязанный в узел свинцовый прут, сказав, что обычно ей удается попадать в цель, но пару дней назад она потянула руку и теперь не знает, как у нее это получится. Все же, дождавшись, когда крыса показалась опять, женщина метнула в нее эту штуковину, но здорово промахнулась и вскрикнула «ой!» от боли в руке. А потом попросила, чтобы в следующий раз я попробовала. Мне-то больше всего хотелось убраться отсюда, пока не вернулся ее старик, но я, конечно, виду не подавал. Я взял свинчатку и запустил ею в первую же крысу, которая из дыры нос высунула, и если бы она малость задержалась на месте, ей долго пришлось бы здоровье поправлять. Женщина похвалила меня за меткость, сказала, что в следующий раз я уж точно попаду. Она встала, прошла в угол, подняла свинчатку и вернула ее на стол, а потом принесла моток пряжи и попросила меня помочь его размотать. Я поднял перед собой руки, и она принялась обвивать их пряжей, продолжая рассказывать о своих и мужа делах. Но вдруг прервала рассказ и говорит:

– Ты за крысами-то приглядывай. И пусть лучше этот свинец у тебя на коленях полежит, под рукой.

Бросила она свинец мне на колени, я сдвинул ноги, поймал его, а женщина вернулась к своему рассказу. Но всего на минуту. Сняла она со своих рук пряжу, взглянула мне прямо в глаза, ласково так, и говорит:

– Ну, и как же тебя на самом деле зовут?

– Че... что, мэм?

– Настоящее-то твое имя какое? Билл, Том, Боб? Или как?

Я аж затрясся, прямо как лист на ветру, – вконец растерялся что делать, не знаю. Но все же говорю:

– Пожалуйста, мэм, не смейтесь над бедной девочкой. Если явам мешаю, так я лучше...

– Нет, не лучше. Сиди, где сидишь. Я тебе ничего плохого неделаю и доносить на тебя не стану. Ты просто доверься мне, открой твою тайну. Я сохраню ее, больше того, я тебе помогу. И муж мой поможет, если захочешь. Ты же беглый работник, только и всего. А это пустяки. Ничего тут дурного нет. С тобой худо обходились, вот ты и сбежал. И благослови тебя Бог, дитя, я тебя не выдам. А теперь, будь хорошим мальчиком, расскажи мне всю правду.

Ну я и сказал, что больше не хочу притворяться и откроюсь ей, как на духу, но только пусть и она свое слово сдержит. А после стал рассказывать, что родители мои умерли, а меня суд отдал в опеку старому скареде-фермеру, который живет в тридцати милях от реки, и обращался он со мной так паршиво, что я не выдержал и надумал от него сбежать, а тут он уехал на пару дней, и я этим воспользовался – украл старое платье его дочери и смылся, и прошел за три ночи тридцать миль. Я, дескать, шел ночами, а днем прятался где попало и спал, а ещея прихватил с фермы мешочек с хлебом и мясом, ими и кормился, как раз на дороге хватило. И добавил, что надеюсь на помощь моего дядюшки, Эбнера Мура, потому и пришел сюда, в Гошен.

– Гошен, дитя? Но это не Гошен. Это Санкт-Петербург. До Гошена отсюда десять миль вверх по реке. Кто тебе сказал, что это Гошен?

– Да я сегодня на рассвете повстречал одного дяденьку, как раз перед тем как забраться в лес и поспать, он и сказал мне: как дойдешь доразвилки, бери налево и через пять миль будет тебе Гошен.

– Пьян, наверное, был, вот все и перепутал.

– Вообще-то, его и вправду покачивало, ну да что ж теперь. Надо идти. Как раз к утру до Гошена и доберусь.

– Подожди минутку, я соберу тебе немного еды, перекусишь дорогой. Наверняка же есть захочешь.

Ладно, собрала она мне еду, а после и говорит:

– Скажи-ка, если корова на земле лежит, на какие ноги она опирается, чтобы подняться, на передние или на задние? Ну, не задумываясь – на какие? Передние или задние?

– Задние, мэм.

– Хорошо, а лошадь?

– Лошадь на передние, мэм.

– А с какой стороны дерево мхом обрастает?

– С северной.

– Ладно, а вот если пятнадцать коров пасутся на склоне холма, сколько их в одну сторону смотрит?

– Все пятнадцать, мэм.

– Ну хорошо, похоже, ты *и вправду* на ферме работал. А то я думала, что ты меня опять за нос водишь. Так как же тебя зовут-то, по-настоящему?

– Джордж Питерс, мэм.

– Ладно, Джордж, только ты уж постарайся это запомнить. А то назовешься, прощаясь со мной, Александром, а когда я поймаю тебя на вранье, заявишь, что тебя Джорджем Александром зовут. И старайся не показываться женщинами на глаза в этом твоём старом платье. Девочка из тебя никудышная, хотя мужчине тебе одурачить, может быть, и удастся. Благослови тебя Бог, дитя, и если снова будешь нитку в иголку вдевать, то не держи кончик нитки неподвижно, и не пытайся надеть на нее игольное ушко, – женщины обычно держат неподвижно иголку, а нитку в ушко вставляют, а мужчины делают наоборот. И когда бросаешь что-нибудь в крысу или еще в кого, привставай на цыпочки, а руку над головой заноси да промахнись футов на шесть-семь. Рука должна быть прямой от плеча, как будто в нем шарнир какой сидит, это только у мальчиков в броске и запястье, илокоть участвуют и руку они при этом за спину заводят. Да, и еще запомни, если девочке бросают что-

нибудь на колени, она ловит это, раздвигая их, а не хлопая, как ты, одним о другое. То, что ты мальчик, я поняла еще когда ты нитку виголку вдевал, все остальное было проверкой – для верности. А теперь топай к своему дядюшке, Сара-Мэри-Уильямс-Джордж-Александр-Питерс, и если попадешь в какую-нибудь беду, пошли весточку миссис Юдит Лофтус, это я, и я постараюсь тебя выволочь. Держись все время берега реки, да когда отправишься бродяжничать снова, не забудь чулки с башмаками прихватить. Дорога вдоль реки идет каменистая, боюсь, собьешь ты ноги, пока доберешься до Гошена.

Я прошел вверх по реке ярдов пятьдесят, а потом вернулся назад – челнок мой сильно ниже дома стоял. Запрыгнул я в него и давай грести что было мочи. Поднялся вдоль берега вверх по реке, чтобы меня потом на верхний край острова вынесло, а там и пошел поперек течения. Шляпку я выбросил, она мне по сторонам смотреть мешала, точно шоры. Почти добравшись до середины реки, я услышал, как в городе начали бить часы. Я остановился, прислушался, звук был негромкий, но на воде различался ясно – одиннадцать. Высадившись на верхнем краю острова, я, хоть и здорово вымотался к тому времени, но передышки себе не дал, а побежал в чащу, на прежнюю мою стоянку, выбрал там место повыше да посуше и развел на нем большой костер.

Проделав это, я снова запрыгнул в челнок и, всю работу явеслом, спустился на полторы мили вниз, к нашему лагерю. Выскочил на берег, взобрался по лесистому склону на пригорок и влетел в пещеру. Джим спал. Я растолкал его и говорю:

– Вставай, Джим, да поскорее! Нельзя терять ни минуты. Занамы вот-вот придут!

Джим ни о чем спрашивать не стал, даже и слова не произнес, но по тому, как он в следующие полчаса выбивался из сил, видно было, до чего его перепугал. Через полчаса все наше мирское богатство уже лежало на плоту, оставалось только отплыть из закрытой ивами заводи, в которой он стоял. Горевший в пещере костер мы загасили в самом начале, а после этого даже свечу не зажигали.

Я забрался в челнок, отошел немного от берега, огляделся, однако, если к острову и шла какая лодка, я ее не увидел, да в темноте и при звездах многого не разглядишь. Потом мы забрались на плот и поплыли в безмолвных тенях кокончанию острова, – так и не сказав друг другу ни слова.

Глава XII. «От добра добра не ищут»

Было, наверное, около часу, когда мы, наконец, оказались ниже острова, – плот наш полз еле-еле. Если бы лодка нагнала нас, мы перескочили бы в челнок и рванули к иллинойскому берегу, но лодка не появилась, и слава Богу, потому как мы даже не подумали уложить в челнок ружье, донки, еду какую-нибудь. Мы так спешили, что вообще ни о чем не думали. Хотя держать *все* на плоту, было, конечно, глупо.

Я рассчитывал, что те двое, как приплывут на остров, наверняка найдут разведенный мной костер, а после просидят всю ночь невдалеке от него, поджидая Джима. Ну, так или иначе, за нами они не погнались и, если мой костер их все же не одурачил, то я в этом не виноват. Я сделал, чтобы надуть их, все что мог.

Едва начало светать, мы пристали к стрелке у большого изгиба иллинойского берега, нарубили тополевых веток и завалили ими плот, чтобы он казался издали заросшей впадиной в песке. Стрелка – это такая длинная наносная коса, и наша поросла тополями, частыми, как зубья бороны.

Миссурийский берег был в тех местах гористым, иллинойский порос густым лесом, а самая быстрина шла близко к миссурийскому, поэтому мы не боялись, что кто-нибудь проплывет вблизи нас. Мы пролежали на стрелке весь день, наблюдая за плотами и пароходами, шедшими под миссурийским берегом, и за теми, что с натугой поднимались вверх по середине огромной реки. Я уже передал Джиму мой разговор с женщиной, и он сказал, что она очень умная, что если бы *она* нас искать взялась, то не стала бы сидеть в засаде у моего костра, нет, сэр, *она* прихватила бы с собой собаку. Ладно, говорю, а чего ж она тогда мужу насчет собаки не сказала? Джим ответил, что об заклад биться готов, – ко времени, когда

мужчины собрались отплыть на остров, ей это уже пришло в голову и она отправила их обратно в город, за собакой, потому-то они время и потеряли, а иначе мы не сидели бы сейчас на косе милях в шестнадцати-семнадцати ниже города – нет, сэр, нас бы уже свезли в этот самый город. Я ответил на это, что не изловили нас – иладно, а уж по какой такой причине, мне оно без разницы.

Как только начало смеркаться, мы высунули головы из тополевой роши и оглядели реку – ни вверху, ни внизу никого видно не было, поэтому Джим снял несколько досок плотового настила и соорудил из них уютный такой шалашик, в котором мы могли укрываться от ветра и дождя, да и вещи наши хранить, чтобы они не намокали. Он и пол в шалаше настлал, примерно на фут возвышавшийся над плотом, так что волны, которые пароходами поднимаются, не могли захлестывать наши одеяла и прочее имущество. В центре шалаша мы насыпали дюймов на пять-шесть земли и обложили ее, чтобы не рассыпалась, бортиком, – теперь можно было, если наступит мокреть или холод, разводить в шалаше костерчик, и никтoго с реки не заметит. Еще мы сделали запасное рулевое весло, – на случай, если что, что у нас уже были, зацепятся за топляк и сломаются или еще что. А на носу плота закрепили короткую палку с развилкой и повесили на нее старый фонарь, – мы думали зажигать его всякий раз, как увидим идущий с верховьев пароход, чтобы он на нас не налетел; если пароход шел снизу, фонарь зажигать не требовалось, – ну, разве что пароход отмель огибал, – однако вода стояла еще так высоко, что низинные берега оставались под ней, и низовые пароходы старались уйти со стрежня туда, где течение было потише.

Во вторую ночь мы плыли часов семь или восемь, проходя за час больше четырех миль. Ловили рыбу, разговаривали, время от времени окунались, чтобы отогнать сон, в воду. Огромная, спокойная река величаво несла нас на себе, а мы лежали, глядя на звезды и временами нам даже разговаривать не хотелось, да и смеялись мы редко – так, похмыкаем немного и все. Погода стояла замечательная, а происшествий никаких не случилось – ни в ту ночь, ни в следующую, ни в следующую за ней.

Что ни ночь, мимо нас проплывали города, некоторые из них, стоявшие далеко от реки, на склонах черных холмов, выглядели всего лишь скопищами ярких огней – ни одного дома мы с воды разглядеть не могли. На пятую ночь мы миновали Сент-Луис, походивший на огромный, залитый светом мир. В Санкт-Петербурге говорили, что людей в Сент-Луисе живет тысяч двадцать-тридцать, но я в это не верил, пока не увидел в два часа тихой ночи великолепный разлив огней. И ведь ниоткуда не долетало ни звука, все в городе спали.

Каждый вечер мы часов около десяти приставали у какого-нибудь городка, я ходил на берег, покупал центов на десять-пятнадцать муки, или грудинки, или еще какой еды, а порой, если мне попадалась запозднившаяся курица, прихватывал и ее. Папаша всегда говорил: увидишь где курицу – бери; если она не пригодится тебе, пригодится кому-то другому, а доброе дело человеку непременно зачтется. Я, правда, не помню случая, чтобы курица не пригодилась самому папаше, но так уж он говорил.

А по утрам, перед рассветом, мы останавливались у какого-нибудь кукурузного поля либо огорода, и я заимствовал у его хозяина арбуз, или дыню, или тыкву, или несколько початков молодой кукурузы, – в общем, что попадет. Тот же папаша уверял, что заимствование не грех, если ты твердо решил когда-нибудь потом заплатить за взятое; но с другой стороны, вдова говорила, что никакое это не заимствование, а благодное название воровства, и что порядочные люди так не поступают. Джим, когда я рассказал ему об этом, заявил, что он это дело так понимает: и вдова отчасти права, и папаша тоже, а потому самое для нас лучшее – составить список того, что мы могли бы позаимствовать, выбрать в нем два-три названия и сказать: вот это мы больше заимствовать ни по чем не станем, после чего все остальное можно будет тянуть соспокойной совестью. Мы с ним целую ночь проспорили, плывя по реке, все пытались понять, от чего нам лучше отказаться – от арбузов, от канталуп, от прочих дынь, от чего? И к рассвету договорились самым удовлетворительным образом, решив никогда больше не брать яблок-дичков и хурмы. До этого нам совесть, ну никак покая не давала, а тут сразу и угомонила. Да и я тоже нашим решением остался доволен, потому

как дички эти – изрядная гадость, а хурме еще все равно два-тримесяца поспевать надо было.

Время от времени нам удавалось подстрелить утку, которая либо слишком рано просыпалась, либо спать ложилась слишком поздно. Так что, вобщем и целом, жили мы как у Христа за пазухой.

На пятую после Сент-Луиса ночь разразилась буря – гром, молнии, дождь как из ведра. Мы укрылись в шалаше, решив, что плот сможет и сам себе позаботиться. При вспышках молний мы различали впереди прямое русло реки искаленные утесы по обоим ее берегам. А потом я и говорю: «Вот те и на, Джим, посмотри-ка!». Это я увидел разбившийся о скалу пароход. Нас прямо на него и несло. Снова ударила молния и мы увидели все как на ладони. Пароход накренило так, что из воды торчала только часть его верхней палубы, и когда снова сверкнула молния, мы ясно увидели оттяжку трубы, большой колокол и стул под ним, с висевшей на его спинке фетровой шляпой.

Ночь, гроза, все вокруг выглядит так таинственно – да любой мальчишка, оказавшийся здесь и увидевший посреди реки скорбный, потерпевший крушение, всеми брошенный пароход, почувствовал бы то же, что я. Ну я и говорю:

– Давай на него заберемся, Джим.

Он поначалу уперся на мертво. Говорит:

– Ну уж нет, не полезу я на эту развалюху. Нам и без нее хорошо, а от добра добра не ищут, так и в Писании сказано. На нем, небось, и сторожа оставили.

– Ты бы еще к бабушке своей сторожа приставил, – говорю я. – Там же только и осталось над водой, что палубная надстройка да рулевая рубка, по-твоему, станет кто-нибудь в такую ночь рисковать ради них жизнью? Тем более что пароход того и гляди пополам переломится в весь на дно уйдет.

На это Джиму возразить было нечего, ну, он и попробовать нестал.

– И потом, – говорю я, – а вдруг в капитанской каюте что ценное найдется? Сигары, скажу я тебе, по пять центов штука стоят и все наличными. Капитаны пароходов – люди состоятельные, шестьдесят долларов в месяц получают, им, знаешь ли, если какая вещь приглянулась, они на цену не смотрят. Достань-ка лучшую свечу, Джим, мне покоя не будет, если я не обшарю эту посудину. Думаешь, Том Сойер проплыл бы мимо нее? Да ни за какие коврижки. Он назвал бы это приключением, вот что он сделал бы, и залез бы на этот пароход, даже если б ему жить на свете всего один день оставалось. А уж шуму наделал бы! Том Сойер развернулся бы тут, будь здоров. Ты бы решил, что это Христофор Колумб царствие небесное открывает. Эх, жаль, нет с нами Тома Сойера.

Джим поворчал-поворчал и сдался. Сказал только, что на пароходе нам лучше помалкивать, а если и говорить, то шепотом. Тут молния снова осветила его, мы ухватились за грузовую стрелу правого борта и привязали к ней плот.

Крен у палубы был тот еще. Мы кое-как, нащупывая ногами пол, начали перебираться на левый борт, к палубной надстройке, и все шарили перед собой руками, чтобы не налететь на одну из оттяжек, их же в такой темноте никак разглядеть было нельзя. Потом наткнулись на световой люк, перебрались через него, а сделав еще шаг, оказались перед распахнутой дверью капитанской каюты и, черт меня подери! – увидели в дальнем конце палубной надстройки свет и в ту же секунду услышали чьи-то негромкие голоса.

Джим зашептал, что у него живот со страху свело и что нам лучше уйти. Я говорю, ладно, собираюсь повернуть обратно к плоту, и тут вдруг слышу, как один из этих голосов с подвыванием таким произносит:

– Ой, не надо, мужики, пожалуйста, клянусь вам, я не донесу!

А другой отвечает, да громко так:

– Врешь, Джим Тернер. Ты такие штуки и раньше выкидывал. Тебе всегда хотелось заграбастать побольше и всегда удавалось, потому что ты грозился, что иначе на всех донесешь. Ну так на этот раз у тебя перебор вышел. Ты самый гнусный, самый коварный пес, какой только есть в нашей стране.

Джим уже заковылял к плоту. А меня любопытство разобрало, я сказал себе: теперь-то

Том Соьер нипочем не ушел бы, ну и я не уйду, пока не узнаю, что здесь происходит. В общем, встал я на четвереньки и в темноте пополз покоридорчику в сторону кормы – и полз, пока между мной и поперечным коридором надстройки не осталась всего одна каюта. И вижу, лежит на полу мужчина, руки у него связаны, ноги тоже, а над ним стоят двое других – один фонарь держит, тусклый такой, а второй пистолет. И этот второй целит из пистолета в лоб тому, который лежит, и говорит:

– Так и *подмывает* пальнуть! Да оно и следовало бы, подлаяты вонючка.

А тот, который лежит, весь трясется и просит:

– Не надо, Билл; я, ей-богу, не донесу.

И всякий раз, как он повторяет это, мужчина с фонарем усмехается и говорит:

– Это точно, *не донесешь*! Большой правды ты в жизни своей не говорил.

А потом он сказал:

– Ишь, как он нас упрашивает! А не справься мы с ним да несвяжи, обоих убил бы. И за что? А ни за что. Только за то, что мы хотели получить честную долю нашей добычи. Ну ладно, Джим Тернер, я так понимаю, больше тебе никому грозить не доведется. Убери пистолет, Билл.

А Билл отвечает:

– Ну уж нет, Джейк Паккард. Я за то, чтобы прикончить его – разве не убил он вот так же старика Хатфилда, разве не заслужил смерти?

– А вот я *не хочу* его убивать и имею на это причину.

– Благослови тебя Бог за такие слова, Джейк Паккард! Век их не забуду! – говорит лежащий и вроде как всхлипывает.

Паккард на него никакого внимания не обратил, а повесил фонарь на гвоздь и пошел туда, где засел в темноте я, и Билла за собой поманил. Я, как мог быстро, прополз, пятясь, точно рак, ярда два, да ведь при таком наклоне пола приличной скорости не разовьешь и потому я, испугавшись, что кто-то из них наступит на меня в темноте и сцапает, заполз в ближайшую каюту. Паккард шел, придерживаясь в темноте за стену коридора, а как поравнялся с моей каютой, то и говорит:

– Ага – зайдём-ка сюда.

И зашел, и Билл за ним. Я к этому времени уже успел взлететь на верхнюю койку и забиться в угол, сильно раскаиваясь в моей любознательности. А они стояли совсем рядышком, ухватившись за край этой койки, и разговаривали. Видеть я их не мог, но где они стоят, знал, потому что от обоих разило виски. Хорошо хоть, я-то виски не пью, – впрочем, сейчас это было без разницы, они меня все одно не унюхали бы, потому что я не дышал. Слишком был перепуган. Да и опять же, слушая такой разговор, не больно-то подышишь. Беседовали они негромко, серьезно. Биллу хотелось убить Тернера. Он говорит:

– Он клянется, что не донесет, но ведь донесет обязательно. Даже если мы сейчас отдадим ему обе наши доли, это ничего не изменит, мы ж с ним уже поцапались, да и досталось ему от нас прилично. Как только мы окажемся на берегу, он тут же властям настучит, уж ты мне поверь. Поэтому я за то, чтобы избавить его от всех горестей земных.

– Так ведь, и я тоже, – очень тихо произнес Паккард.

– Черт, а я уж решил, что ты против. Ну тогда порядок. Пойдем и прикончим его.

– Погоди минутку, я еще не все сказал. Послушай. Пуля вещь хорошая, но мы можем обойтись и без лишнего шума. Я вот о чем говорю: зачем нам тобой петлю на шею примеривать, если можно обделать все по-другому, ничем нерискуя? Правильно?

– Ну еще бы. А как ты собираешься все устроить?

– Я думаю так: мы с тобой пошарим по кабинам, посмотрим, непроглядели ли чего, а после поплывем на берег и припрячем добро. И подождем. Думаю, и двух часов не пройдет, как эта посудина развалится окончательно и течение утащит ее обломки. Понимаешь? Он просто-напросто утонет и винить за это будет некого – кроме него самого. Я так понимаю, это гораздо лучше, чем убивать его. Я вообще люблю людей без особой нужды убивать – это и неразумно, и безнравственно. Ведь так?

– Да, пожалуй, ты прав. А что если пароход не развалится и его не унесет течением?

– Ну, мы же можем подождать часика два, посмотреть, развенет?

– Ладно, согласен. Пошли.

Они вышли из каюты, я тоже выскочил из нее, весь в холодном поту, и пополз к носу парохода. На палубе темно было, хоть глаз выколи, но хриплым шепотом позвал: «Джим!», и он сразу же застонал совсем рядом со мной. Я говорю:

– Скорее, Джим, не время дурака изображать да стонать. Тут целая шайка убийц собралась, и если мы не найдем их лодку и не пустим ее потечению, чтобы они не могли с парохода убраться, одному из них придется очень туго. А вот если мы ее найдем, так им *всем* туго придется, потому что они к шерифу лапы попадут. Давай, поторапливайся. Я ищу с левого борта, ты с правого. Начнешь от плота и...

– О господи, господи! *От плота*? Нет у нас больше плота, отвязался плот, уплыл, – а мы с тобой тут коковать остались!

Глава XIII. Добыча с «Вальтера Скотта» достается порядочным людям

Знаете, у меня до того дыхание сперло, что я едва чувств не лишился. Застрять на разваливающемся пароходе да еще вместе с такими злодеями! Однак она то, чтобы нюнить, времени у нас не оставалось. Мы просто *должны* былинайти их лодку – и удрать на ней. И мы поползли вдоль правого борта, трясясь от страха, да еще и черепашьим шагом, к тому же – почти неделя прошла, пока мы до кормы добрались. А лодки нет как нет. Джим сказал, что дальше он ни шагу сделать не сможет, что у него от перепуга никаких сил не осталось. Но я сказалему: вперед, если мы застрянем на пароходе, нам точно каюк придет. И мы поползли по другому борту. Кое-как добрались до кормовой стороны палубной надстройки, вскарабкались на световой люк, полезли по нему, цепляясь за его ставенки, потому что край люка под воду ушел. А как подползли совсем близко к двери поперечного коридора, глядим – вот он ялик-то! Еле-еле различается в темноте. Отродясь я такого счастья не испытывал. Еще секунда, и я бы спрыгнул в него, нотут отворилась эта самая дверь. Один из тех двоих высунул из нее голову – всего в паре футов от меня, – я уж решил, что тут-то мне и конец, однако голова скрылась за дверью, а владелец ее и говорит:

– Да, убери ты, к дьяволу, фонарь, Билл, вдруг его кто увидит!

А после сбросил в ялик набитый чем-то мешок и сам следом соскочил. Это был Паккард. За ним и Билл в ялик слез. Ну, Паккард и говорит, негромко:

– Так что – уходим?

Я до того ослаб, что едва за ставню держаться мог. Но Билл ответил:

– Погоди – а ты его обыскал?

– Нет. А ты?

– И я нет. Выходит, его доля денег при нем осталась.

– Ладно, пойдем, посмотрим. Глупо добро брать, а наличные здесь оставлять.

– Слушай, а он не поймет, что мы с тобой задумали?

– Может, и не поймет. Так ведь деньги-то забрать все равно надо. Пошли

Они выбрались из челнока и ушли в надстройку.

Дверь ее за ними из-за крена парохода сама захлопнулась, и ровно через половину секунды я был уже в ялике, а за мной в него и Джим свалился. Я выхватил нож, перерезал веревку – и мы поплыли!

Весел мы не тронули, и не говорили, и не перешептывались, мы дышать-то почти не дышали. Тишина стояла мертвая, течение пронесло нас мимо торчавшей из воды верхушки колесного кожуха, мимо кормы и через секунду-другую мы оказались уже ярдах в ста от парохода, и он без следа скрылся во тьме. Мы спаслись и понимали это.

Отплыв от него ярдов на триста-четырееста, мы увидели, как в двери палубной надстройки вспыхнула на секунду-другую словно бы искорка – фонарь – и поняли: злодеи хватились лодки и сообразили, что теперь им придется так же худо, как Джиму Тернеру.

Джим сел на весла, и мы погнались за нашим плотом. А я начал вдруг тревожиться о том, что будет с бандитами – раньше у меня на это как-то времени не хватало. Стал думать, как это

все-таки неприятно, даже если тыубийца, попасть в такой переплет. Думаю: заранее же ничего не скажешь, а вдруга когда-нибудь и сам убийцей сделаюсь, понравится мне тогда такая штука, а? Нуи говорю Джиму:

– Как только увидим где огонь, давай пристанем ярдов на стониге его или выше, в таком месте, где и тебя, и ялик укрыть можно будет, а япридумаю какое-нибудь вранье и пошлю людей забрать грабителей с парохода,вызволить из беды, чтобы их хотя бы повесили по-человечески, когда срок придет.

Однако осуществить эту идею мне не удалось, потому что опятьначалась гроза, еще и почище прежней. Дождь так и хлыстал, а огней никакихвидно не было – все, я так понимаю, давно уже спать завалились. Мы летели внизпо течению, высматривая огни – ну и наш плот заодно. Дождь, наконец, прекратился,хоть и не скоро, однако тучи остались на небе, и молнии посверкивали, – и однаиз них высветила впереди что-то черное, и мы поплыли туда.

Это был наш плот и до чего ж мы обрадовались, сноваоказавшись на нем. А тут и огонек завиделся – на правом берегу. И я решил плытьна него. Ялик был наполовину заполнен добром, которое грабители собрали наразбившемся пароходе. Мы кучей свалили его на плоту, и я сказал Джиму, чтобы онплыл дальше, а как решит, что отплыл мили на две, пускай зажжет фонарь иследит, чтобы тот не потух, пока я не появлюсь. А после взялся за весла и погребна огонек. Вскоре показались еще три-четыре – на верхушке горы. Стало быть, городок.Я подплыл поближе к тому огоньку, что на берегу светился, и перестал грести,дальше меня течение понесло. А когда проплывал мимо огонька, увидел, что этогорит фонарь, висящий на носовом флагштоке двухкорпусного пароходика, которыйпереправу обслуживает. Я пристал к берегу, залез на пароходик и принялся искатьсторожа – должен же он был где-то спать, – и в конце концов, нашел: сидящим наносовом кнехте, свесив голову между колен. Я раза два-три потряс его за плечо,а сам тем временем слезу пустил.

Он испуганно дернулся, но, увидев, перед собой всего лишьменя, от души зевнул, потянулся и спрашивает:

– Здорово, ну, в чем дело? Да не плачь ты, браток. Что утебя стряслось?

– Папа, мама, сестренка и...

Я заревел. А он говорит:

– Вот черт. Ты не переживай так, неприятности со всеми случаются,а после ничего, обходится. Так что с ними такое?

– Они... они... вы ведь сторож этого парохода?

– Ну да, – говорит он, и довольным таким тоном. – Я икапитан, и владелец, и помощник капитана, и рулевой, и сторож, и палубныйматрос; а иногда и груз, и все до единого пассажиры. Я не такой богатый, какДжим Хорнбэк, деньгами не сорю и не могу платить точно он, всем подряд, но яему сто раз говорил, что местами с ним не поменялся бы, потому как, говорю,быть матросом – это в аккурат по мне, черта лысого стал бы я жить в двух миляхот реки, в вашем городе, где и не случается-то ничего, да ни за какие вашиденьжищи и ни за что угодно в придачу. Нет уж...

Я перебил его и говорю:

– Знаете, с ними такая ужасная неприятность произошла, и...

– С кем это?

– Ну как же, с папой, мамой, сестренкой и мисс Хукер; и, есливы не подниметесь туда на вашем пароходе...

– Поднимусь? А они где?

– На обломках.

– На каких еще обломках?

– Так там только одни и есть.

– Погоди, это ты про «Вальтера Скотта» что ли?

– Ага.

– Бог ты мой! Да как же их туда занесло, господи помилуй?

– Они не нарочно.

– Да уж наверное, не нарочно! Но, коли они оттуда неуберутся сей же миг, им всем крышка, это как бог свят! Как же они попали-то в такую беду?

– А очень просто. Значит, мисс Хукер, она гостила в городке, там вверху...

– Ага, в Бутс-Лендинге – ну и что?

– Гостила она, значит, в Бутс-Лендинге, а под вечер и поплыла со своей негритянкой на конском пароме, хотела заночевать у подружки, мисс Как-ее-там – не помню я имени, – и они потеряли рулевое весло, паром развернуло, пронесло мили две по течению кормой вперед, а после он врезался в тот разбитый пароход и все потонули, и хозяин парома, и негритянка, и лошади, одна только мисс Хукер успела ухватиться за что-то и забраться на пароход. Вот, а через час после того как стемнело, приплыли и мы на нашей барке со всяким товаром, а темно было так, что мы парохода и не заметили, и тоже врезались в него, однако все спаслись, кроме Билли Уиппла, – а он, он такой хороший был! – лучше бы вместо него потонул, честное слово.

– Ну и ну! Отродясь таких ужастей не слышал. А *потом* что вы сделали?

– Ну, мы кричали, кричали, да только река там широкая, никто нас не услышал. Вот папа и говорит, кто-то должен доплыть до берега и привести помощь. А плавать-то никто кроме меня не умеет, ну я и вызвался, а мисс Хукер сказала, чтобы я, если быстро помощь не найду, шел в ваш город и отыскивал едядю, он, дескать, все как есть устроит. На берег я выбрался на милю ниже парохода, ходил там, ходил, уговаривал людей сделать что-нибудь, но все отвечали: «В такую-то ночь да при таком течении? Ничего не выйдет, иди к переправе, там пароход есть». Так что, если вы теперь поплывете туда...

– Видит бог, я и рад бы помочь, да, и придется, видать, никто же мне, пропади оно все пропадом, за это заплатит? Как ты думаешь, браток, твой папа...

– А, насчет этого вы не беспокойтесь. Мисс Хукер, она мне прямо так и сказала, что ее дядюшка Хорнбэк...

– Мать честная! Так он ее дядюшка? Ты вот что, иди вон на тот огонек, а как дойдешь до него, поверни на запад и через четверть мили увидишь постоянный двор, попроси там, чтобы тебя к Джиму Хорнбэку свели, он уж точно за все заплатит. И не мешкай у него, он тебя обо всем расспрашивать начнет, так ты скажи, что я его племянницу доставлю сюда в лучшем виде, раньше, чем он до города добраться успеет. Давай, топай, а я побегу моего механика будить, он тут за углом живет.

Я потопал, конечно, на огонек, но, как только этот дядя свернул за угол, вернулся, сел в ялик, отплыл от переправы ярдов на шестьсот и затесался между дровяными барками: мне хотелось посмотреть, как паромный пароходик вверх пойдет. За все про все, мне было радостно, что я так расхлопотался насчет спасения тех негодяев – ведь мало кто стал бы заботиться о них. Я жалел только, что вдова ничего об этом не прослышит. Я так понимал, что она загордилась бы мной, узнав, как много я сделал, чтобы спасти этих прохвостов, потому что и вдову, и прочих добрых людей хлебом не корми – дай им только о прохвостах да сущих мерзавцах позаботиться.

Ну вот, и прошло совсем немного времени как я увидел разбитый пароход, темный, тусклый, течение несло его! Меня аж холодная дрожь пробрала, я ударил по воде веслами, подплыл к нему. Он сидел в воде очень низко, и я сразу понял, что людей на нем нету. Я обошел его по кругу, покричал – никто не ответил, тишь стояла мертвая. Тяжело у меня стало на сердце, но не так чтобы очень, – ладно, думаю, если эти бандиты никого не жалели, стало быть, и мне их особо жалеть не приходится.

А тут и паромный пароходик от пристани отчалил, и я наискосьшел вниз по реке, поближе к самой быстрине, а сообразив, что с пароходика меня уже навряд ли увидят, поднял весло и стал смотреть, как он обходит «Вальтера Скотта», отыскивая останки мисс Хукер, – капитан же знал, что дядюшка Хорнбэк захочет их заполучить, впрочем, скоро они там махнули на это дело рукой и пошли к берегу, а я снова взялся за весло и полетел вниз.

Мне показалось, что жуть сколько времени прошло, прежде чем я увидел зажженный Джимом фонарь, да и то чуть ли не в тысяче миль от себя. Когда я добрался до плота, небо на востоке уже стало сереть, мы доплыли до первого попавшегося острова, укрыли плот, затопили

бандитский ялик и повалились спать, точно мертвые.

Глава XIV. Так ли уж мудр был царь Соломон?

Поднявшись поутру, мы перебрали добычу, взятую бандой на пароходе, – там были башмаки, одеяла, одежда и уйма других вещей, и множество книг, и подзорная труба, и три коробки сигар. Такого богатства мы отродясь в руках не держали. И прежде всего, сигар. Всю вторую половину дня мы провалялись влосу – то разговаривали, то я книжки читал, в общем, было здорово. Я рассказал Джиму, как все происходило на пароходе, а после на переправе, сказал, что вот это и есть приключение; а Джим ответил, что он этими приключениями по горло сыт. Сказал, что, когда я полез в палубную надстройку, а он дополз до плота и увидел, что тот исчез, так чуть не помер, потому как рассудил: куда ни кинь, ему везде клин выходит; если его не спасут, он утонет, а если спасут, так мигом отправят обратно в город, чтобы награду за него получить, и уж тогда-то мисс Ватсон наверняка продаст его на Юг. Конечно, он был прав, он вообще почти всегда был прав, голова у него ух как варила – для негра, то есть.

Я долго читал Джиму вслух про царей, королей, и герцогов, графов и про то, как фасонисто они одевались, сколько в них было шику, и как они называли друг друга «ваше величество», да «ваша милость», да «вашелордство» и тому подобное, а чтобы просто «мистер» сказать, так это ни-ни. У Джима аж глаза на лоб вылезли, до того ему было интересно. А потом он иговорит:

– Вот не знал, что их так много. Я и не слыхал про них никогда, разве что про старого царя Соллермана, да еще на картах портреты видел, если, конечно, там настоящие короли. А сколько ж они получают?

– Получают? – говорю, – да если им захочется, они могут хоть тысячу долларов в месяц получать. Сколько хотят, столько и получают, тем более все и так ихнее.

– Здорово, верно? А чего им делать приходится, а, Гек?

– *Им-то*? Ничего не приходится. Нашел о чем говорить! Сидят себе на месте и все.

– Да неужели?

– А то. Сидят и сидят, – ну, разве, война где начнется, тогда воевать идут. А так, просто баклуши бьют, или с соколами охотятся, или еще... чш!... ты слышал?

Мы побежали к берегу, оглядели реку – нет, ничего, это колеса парохода, обходившего мыс, по воде шлепали, – и вернулись назад.

– Да, – говорю я, – а иногда, если уж совсем невмоготу отскуки станет, король или там царь начинает к парламенту придирается и чуть что не по нем, сейчас головы рубит. Хотя большую часть времени короли да цари в гареме торчат.

– Где-где?

– В гареме.

– В каком таком гареме?

– Ну, это место такое, где они жен держат. Ты что, про гарем не слышал? Он и у царя Соломона имелся – у него ж миллион жен было, без малого.

– А, ну да, верно – я и забыл совсем. Гарем, это, я так понимаю, навряд ли пансион. А при нем еще, наверное, детская есть, вот где шуму-то! Да и жены, небось, все время собачатся, тоже гвалту не оберешься. А говорят еще, что мудрее Соллермана никого на свете не было. Чего-то мне не верится. Потому как – разве стал бы мудрый человек жить все время в таком тарараме? Нет, не стал бы. Мудрый бы, тогда уж, построил котловую фабрику, да и ходил бы в нее, когда ему отдохнуть приспичит.

– Ну нет, он все равно мудрее всех был, мне так сама вдова говорила.

– Не знаю я, чего там говорила вдова, а только не был он мудрым и все тут. Уж такие глупости вытворял, каких я не видал никогда. Помнишь, как он того младенца собрался пополам разорвать?

– Да, мне вдова и про это рассказывала.

– *Ну так!* Глупее этого можно чего-нибудь придумать? Вот погоди минутку. Допустим, вон тот пень, вон тот, – это одна из женщин, ты – другая, я – Соллерман, а эта долларовая

бумажка – младенец. Каждая женщина уверяет, что младенец ее. И что я делаю? Обхожу ихних соседей, выясняю, чья это бумажка, и отдаю ее хозяйке, все чин чинном, да? – смышленный-то человек ведь так бы и поступил, верно? Ну уж нет, я этот доллар пополам рву и отдаю каждой женщине пополовинке. Вот это Соллерман и с младенцем проделать собирался. А теперь ты мнескажи: нужна тебе половинка доллара? Сможешь ты на нее хоть что-то купить? Аполовинка младенца, она на что годится? Да я бы и за миллион таких половинок ницента не дал.

– Погоди, Джим, ты просто не понял, в чем тут суть, – черт, да ты к ней и на тысячу миль не подошел.

– Кто? Я? Поди ты! Ты мне про суть не рассказывай. Я есливижу что толковое, так и понимаю – оно толковое, а в этом деле толк и рядом нележал. Женщины-то не о половинке младенца спорили, а о целом, и если человекнадумал помирить их, выдав каждой по полмладенца, так значит у него в башкехоть шаром покати. Нет, ты мне про Соллермана не толкуй, Гек, я его какоблупленного знаю.

– Да говорю ж я тебе, ты самой сути не понял.

– Пошла бы она, твоя суть. Я если чего знаю, то уж знаюнакрепко. Я тебе так скажу, *настоящую* суть надо совсем в другом местеискать. Настоящая в том, как этого твоего Соллермана воспитали. Ты возьми человека, у которого ребенок всего один, – да хоть и двое, – станет он младенцаминалево-направо разбрасываться? Не станет, потому как ему это не по карману. Ужон-то *понимает* : детишек ценить надо. А теперь возьми такого, у которогопо дому пять миллионов младенцев ползают, это ж совсем другое дело. Ему чтомладенца пополам разрубить, что кошку, все едино. Так и так их целая кучаостанется. Младенцем больше, младенцем меньше, – велика Соллерману разница, плевать он на них на всех хотел!

Никогда я такого негра не видел. Если вобьет себе что вбашку, – считай, все, обратно не выбьешь. Отрастил на Соломона зуб, какого я ниу одного негра не встречал. Ну я и затеял разговор про других царей с королями, ну его, думаю, совсем, Соломона-то. И рассказал Джиму про ЛюдовикаШестнадцатого, которому во Франции давным-давно голову отрубили, и про егомальчишку, которого все дольфином называли, – как он должен был стать королем, датолько его сцапали и посадили в тюрьму, там он, сказывают, и помер.

– Бедный мальчик.

– Правда, некоторые говорят, что он оттуда выбрался – сбежали в Америку уехал.

– Вот это хорошо. Только ему тут одиноко, наверное, королей-то у нас нет – или есть, а, Гек?

– Нет.

– Тогда он и работы хорошей не найдет. Чего же он делать-то станет, а?

– Ну, не знаю. Может, в полицию устроится, а может, станетлюдей учить как по-французски говорить.

– Погоди, Гек, а разве французы не по-нашему говорят?

– *Нет*, Джим, если бы ты их услышал, то ни одного слова не понял бы – ни единого!

– Ах, чтоб я пропал! Это как же такое случилось-то?

– Не знаю, но только так оно и есть. Я как-то наткнулся водной книжке на ихнюю тарабарщину. Вот представь, подходит к тебе человек иговорит: «Бурли-во-френци» – что бы ты подумал?

– Да я бы и думать ничего не стал. Проломил бы ему башку и все – если, конечно, он не белый. Негру я ни одному так обзывать не позволю.

– Ну и глупо, потому что никак он тебя не обзывал. Он простопоинтересовался: умеешь ты по-французски разговаривать.

– Черт, а чего ж он так и не *спросил* ?

– А он как раз и *спросил* . Французы так об этом спрашивают.

– Ну, это уж просто смешно, я про такое и слушать больше не желаю. Чувшь какая-то.

– Послушай, Джим, кошка по-нашему говорить умеет?

– Нет, не умеет.

– А корова?
 – И корова не умеет.
 – А по-коровьему кошка говорит – или корова по-кошачьему?
 – Обе не говорят.
 – Выходит, это и правильно, и естественно, что говорят они по-разному, так?
 – Конечно.
 – И правильно, и естественно, что говорят они не по-нашему.
 – Правильно, а то как же?
 – Ну вот, разве не выходит тогда, что и для *француза* правильно и естественно не по-нашему говорить? Ответь-ка.
 – Кошка она кто, человек? А Гек?
 – Нет.
 – Тогда какой же ей смысл по-человечьи разговаривать? А корова разве человек? – или она кошка?
 – Ни то, ни другое.
 – Значит, и не ее это дело – по-кошачьи говорить или по-нашему. Ну а француз, он кто – человек?
 – Человек.
 – Вот *видишь* ! Какого же тогда черта *он-то* по-человечьи не говорит? Ответь-ка, Гек!
 Я понял, что только воздух попусту сотрясаю – все равно неграспорить по-людски не научишь. И бросил это дело.

Глава XV. Как я одурачил бедного старого Джима

По нашим прикидкам, мы должны были за три ночи добраться до Кейро, который стоит на южной границе штата Иллинойс, там, где река Огайо впадает в Миссисипи, – туда-то мы и плыли. Там мы продали бы плот, сели на пароход и поднялись по Огайо к свободным штатам, где нам ничто бы уже не грозило.

Ну вот, во вторую ночь на реку стал опускаться туман, и мы повернули к намывному островку, чтобы привязать к чему-нибудь плот, потому что в тумане не больно-то поплаваешь; но, когда я подошел к нему на челноке, держанного веревку, выяснилось, что привязаться там толком не к чему – на островке только и было растительности, что совсем молоденькие деревца. Я все же обмотал веревку вокруг одного из них, стоявшего совсем близко к воде, однако течение в том месте было сильное и плот пронесло мимо до того быстро, что он выдрал деревце с корнем и был таков. А туман все густел, и мне вдруг стало страшно, даяк, что я весь обмяк и с полминуты даже пошевелиться не мог, а плот тем временем скрылся из глаз – ярдов за двадцать ничего уже видно не было. Я заскочил в челнок, бросился к корме, схватил весло и стал грести что было мочи, а челнок ни с места. Это я его в попыхах отвязать забыл. Начал я отвязывать, но разволновался уже настолько, что руки у меня ходили ходуном и мало на что годились.

Отошел я, наконец, от берега, потный, запыхавшийся, и припустился вдоль островка вдогон за плотом. Все было ничего, пока островок не закончился, в нем и длины-то оказалось от силы ярдов шестьдесят, а едва миновав его оконечность, я окунулся в сплошной белый туман, и представлений о том, куда меня несет, сохранил ровно столько же, сколько их обычно бывает у покойника.

Ну я и думаю: грести никакого смысла нет, этак я и ахнуть не успею, как врежусь в берег, или в другой такой же островок, или еще во что; буду сидеть спокойно, пусть меня течение несет, хотя в таком положении сидеть сложа руки дело очень не легкое. Покричал я немного, прислушался. И откуда-то снизу до меня крик, – совсем слабенький, но у меня и от него на душе полегчало. Полетел я на него, а сам все прислушиваюсь. И когда крик раздался снова, я понял, что плыву вовсе и не на него, что слишком сильно взял вправо. Ну а в следующий раз выяснилось, что я влево лишку забрал, в общем, совсем я к нему не приближался, потому что плывал кругами, да метался из стороны в сторону, а крик все время

звучал впереди.

Ну что бы, думаю, Джиму, дураку этакому, не догадаться взятьсковородку да и бить в нее, не переставая, – нет, эта мысль ему в голову непришла, он покричит-покричит и умолкнет, и эти-то паузы меня с панталыку исбивали. Я все шел и шел вперед и вдруг слышу: крик *сзади* доносится. Тутуж я совсем запутался. Либо, думаю, это другой кто кричит, либо я развернулся и вверх плыву

Бросил я, значит, весло, сижу. Слышу, опять кричат, пока ещесзади, но уже в другом месте; крики все повторялись, все смещались, я всеотвечал на них, пока они опять спереди доноситься не стали, и я не понял, чтотечение развернуло челнок и теперь все будет в порядке, если, конечно, этоДжим, а не какой-нибудь плотогон надрывается. В тумане же голос не разберешь, внем все и выглядит, и звучит по-другому.

Крики продолжались, и примерно через минуту я увидел, чтоменя несет на крутой берег с дымчатыми призраками больших деревьев на нем, нотут течение бросило челнок влево и потащило среди каких-то коряг, вокругкоторых вода аж бурлила, такая здесь быстрина была.

А еще через секунду-другую я снова оказался в сплошнойбелизне. Сидел неподвижно и слушал, как у меня сердце колотится – думаю, наодин мой вдох-выдох ударов сто приходилось.

Я сдался. Потому как понял что к чему. Этот крутой берег былостровом, а Джима затащило на другую его сторону. И был он не намывнымостровом, мимо которого можно минут за десять проплыть, а настоящим, большим,лесистым, миль, может, в пять-шесть длиной и в полмили шириной.

Думаю, минут пятнадцать я просидел, не шевелясь, наостривуши. Течение тащило меня со скоростью четыре или пять миль в час, но это былосовсем не заметно. Нет, мне казалось, будто челнок неподвижно стоит на воде и,если мимо проскальзывала какая-нибудь коряга, я вовсе не думал, что это меня так быстро несет, а, затаив дыхание, говорил себе: надо ж! эх она разогналась.Если вы думаете, что человека, попавшего ночью в туман, не заедает уныние иодиночество, попробуйте сами в нем посидеть и посмотрите, что с вами будет.

Потом я около получаса покрикивал время от времени и,наконец, расслышал ответ, очень далекий, и попытался поплыть на него, да несмог, потому что попал, как я вскоре понял, в целый лабиринт намывныхостровков, они смутно выступали из тумана с обеих сторон от меня, иногда яразличал и узкую протоку, которая отделяла один от другого, а иногда ни одного островкане видел, но знал, что они где-то рядом, потому что слышал, как течение ворошитсвисающие с их берегов старые сохлые кусты и прибившийся к ним сор. Ну, средиэтих островков я скоро и внимание-то на далекие крики обращать перестал,погонялся было за ними немного и понял – это все равно что за блуждающимогоньком гоняться. Вот уж не думал, что звук может так шустро перескакивать сместа на место и доноситься всякий раз с другой стороны.

Раза четыре-пять я вынужден был, чтобы не врезаться вовнезапно выскочивший из воды островок, с силой отталкиваться веслом от его берега;и мне пришло в голову, что и плот, наверное, прибывает время от времени к такимостровкам, иначе его унесло бы совсем далеко, и я давно уж ничего бы не слышал– он ведь шел немного быстрее моего челнока.

Ну вот, в конце концов, течение снова вытащило меня наоткрытую воду, однако криков я никаких больше не слышал. И решил, что Джим, скореевсего, налетел на какой-нибудь топляк, тут ему и конец пришел. Я здорово устал,и потому лег на дно челнока и сказал себе, что с меня хватит. Засыпать мне,конечно, не хотелось, однако меня до того клонило в сон, что я решил все жеподремать, совсем недолго.

Но, видать, получилось не так уж и недолго, потому что,когда я проснулся, в небе ярко сияли звезды, от тумана и следа не осталось, ачелнок мой несло кормой вперед по большой излучке. Я не сразу сообразил, гденахожусь, подумал, что мне все это снится, а когда воспоминания стали возвращатьсяко мне, то оказались они какими-то смутными, точно все на прошлой неделе произошло.

Река в этом месте была страх какая широкая, оба ее берега заросливысоченным,

густейшим лесом, казавшимся при свете звезд сплошной стеной. Явзглянул вниз по течению и различил на воде какую-то черную крапину. Поплыл кней, но когда, наконец, нагнал, она оказалась просто-напросто двумя связаннымибревнами от плота. Тут я увидел другую такую же и погнался за ней, потом третьейи вот уж эта была тем, что я искал. Нашим плотом.

Забрался я на него и сразу увидел Джима – он сидел и спал, свесив голову между колен и держа правую руку на рулевом весле. Второе весло былоразбито в щепу, плот покрывали листья, ветки, грязь. Похоже, досталось ему – вышеушей.

Я привязал челнок, улегся на плот под самым носом Джима, зевнул, потянулся, так что кулаком по Джиму заехал, и говорю:

– Привет, Джим, я что, заснул? Чего ж ты меня не растолкал?

– Милость божья, это ты, Гек? Не помер – не потонул – воротился? Глазам своим не верю, голубчик, просто глазам не верю. Дай мне посмотреть натебя, дитя, дай пощупать. Нет, точно не помер! Вернулся назад, живой-здоровый, всетот же старина Гек, хвала небесам!

– Да что с тобой, Джим? Ты виски напился?

– Напился? Я напился? Да когда мне пить-то было?

– Так чего ж ты такую околесицу несешь?

– Какую околесицу?

– *Какую* ? Бормочешь, что я вернулся и прочее, будто я уходил куда.

– Гек... Гек Финн, посмотри мне в глаза, посмотри в глаза. Ты разве *не уходил* ?

– Уходил? Господи-боже, о чем ты? Никуда я не уходил. Да икуда мне уходить-то было?

– Нет, постой, погоди, тут что-то не так. Это я – илиеще кто? Я в *своем* уме или как?

Вот что я хочу знать.

– Ну, думаю, это ты, даже и не сомневаюсь нисколько, но, по-моему, у тебя, старого обормота, ум за разум зашел.

– Значит, я это я? Ладно, тогда ты мне вот чего скажи: разветы не уплывал в челноке, чтобы плот на островке привязать?

– Нет, не уплывал. И на каком еще островке? Я и островка-тоникакого не видел.

– Не видел? Послушай, Гек, разве плот не сорвался, и неуплыл по реке, а ты не остался сзади и не потерялся в тумане?

– В каком тумане?

– Да в тумане же! – в тумане, который тут всю ночь провисел. И разве ты не кричал, и я не кричал, и мы не заблудились среди островов – один потерялся, а другой все равно что потерялся, потому как не знал, где он есть? И разве меня не било об эти чертовы острова, разве я не перепугался до смерти, даи вообще чуть не потоп? Разве не так все было, сэр? Ответьте.

– Ну это уж ты заговариваться начал, Джим. Не видел яникакого тумана, и островов тоже, все было тихо-мирно. Я целую ночь просидел вот на этом месте, с тобой разговаривал, а минут десять назад ты заснул и я, видать, тоже. Насосаться ты за это время никак не мог, стало быть, тебе все это приснилось

– Да черт побери, как же мне столько всего за десять минут присниться могло?

– Выходит, как-то приснилось, потому что ничего этого небыло.

– Слушай, Гек, я же все так ясно видел, как...

– Какая разница, ясно-неясно, не было же ничего. Уж я-тознаю, я все время здесь сидел. Джим минут с пять промолчал, обдумывая все. А потом говорит:

– Ну тогда ладно, Гек, похоже, и вправду приснилось, но, черт меня задери, если я когда-нибудь видел такой яркий сон. Да и не уставал яни от одного так, как от этого.

– О, это, как раз, штука нередкая, бывает, что и во сне устанешь, как наяву. А этот сон тебя, похоже, совсем измотал. Расскажи-ка мне его поподробнее, Джим.

Джим принялся за дело, рассказал мне все, что с ним случилось, от начала и до конца, но, конечно, с прикрасами. А потом сказал, чтонадо этот сон «тренировать», потому как он был послан нам в остережение. Сказал, что первый намывной островок обозначает хорошего человека, который захочет сделать нам добро, а течение – другого человека, который оттащит нас отпервого. Крики – это предупреждения, которые мы время от времени получаем, иесли

мы не будем стараться понять их, то они нас не только не спасут от беды, но как раз до нее и доведут. Множество островков – это неприятности, которые мы можем нажить, встречаясь со всякими забияками и вообще с дурными людьми, но, если мы не станем лезть в чужие дела, и отвечать этим людям бранью на брань, излить их, то избавимся от них и выйдем из тумана на широкую, чистую воду, которая есть свободные штаты, а там уж все будет хорошо.

Когда я только забирался на плот, небо затянуло тучами и стало совсем темно, но теперь оно опять прояснилось.

– Да, Джим, – говорю я, – отлично ты все растолковал, но только скажи мне, вот *это-то* что такое значит?

И я указал ему на покрывшие плот листья и мусор, на разбитое весло. Их уже совсем хорошо видно было.

Джим посмотрел на сор, потом на меня, потом снова на сор. Мысль о сновидении так крепко засела в его голове, что он, похоже, не мог вытряхнуть ее оттуда и расставить все по местам. Ну а когда все понял и расставил, взглянул мне без всякой улыбки прямо в глаза и говорит:

– Что это значит? Могу тебе рассказать, что это значит. Когда вконец устал от возни с плотом и от криков, которыми звал тебя, то заснул и сердце мое разрывалось, потому что ты пропал, а что будет со мной и с плотом, об этом я и думать забыл. А когда проснулся и увидел, что ты снова здесь, целый и невредимый, так чуть не расплакался, готов был от счастья на колени встать и ноги тебе целовать. А ты об одном только и думал – как бы половочей одурачить старого Джима враньем. Вот *это вот* мусор, да, и люди, которые сыплют друзьям грязь на голову и на посмешище их выставляют, они тоже мусор.

Тут он медленно встал, ушел в шалаш и ничего больше не сказал. Да мне и так уж за глаза хватило. Я себя таким подлецом почувствовал, что готов был *его* ноги целовать, лишь бы он обратно вернулся.

Минут пятнадцать я твердил себе, что не пойду за ним, не стану унижаться перед каким-то там негром, и все же пошел и никогда с тех пор не пожалел об этом, ни разу. Больше я с ним таких грязных шуток не разыгрывал, да и ты не сыграл бы, кабы знал наперед, что он так расстроится.

Глава XVI. Змеиная кожа продолжает делать свое черное дело

Почти весь следующий день мы проспали и в путь тронулись уже ночью, – держась позади чудовищной длины плота, который перед тем тянулся и тянулся мимо нас, точно какой-нибудь крестный ход. Спереди и сзади у него было по четыре огромных весла, и мы решили, что работает на нем не меньше тридцати человек. На плоту стояло пять больших шалашей, далеко один от другого, в середине его горел открытый костер, а на каждом конце торчало по высокой сигнальной мачте. Роскошный был плот. На таком всякий поплавать не отказался бы.

Так мы и добрались до большой излучины, и тут небо затянуло тучами и стало душно. Река в том месте разливалась очень широко, а по берегам ее стоял сплошной лес – ни просвета в нем видно не было, ни огонька какого. Мы разговаривали про Кейро, гадали, заметим ли его, когда подплывем поближе. Я сказал, что можем и не заметить, потому как я слышал, что в нем всего-то около дюжины домов и, если ни в одном свете не зажгут, как мы узнаем, что плывем мимо города? Джим сказал, там же две больших реки сливаются, так мы это место и узнаем. А я ответил, что мы можем принять устье Огайо за начало большого острова и решить, что его и оплывать не стоит, все равно в той же реке останешься. Джима это сильно растревожило, да я тоже забеспокоился. В общем, вопрос был такой: что делать? Я сказал, что, как увидим где первый огонек, я сплываю к нему в челноке и накру там, что папаша мой сейчас малость выше идет на своей торговой барке, однако торговать он начал недавно, вот и послал меня узнать, далеко ли еще до Кейро. Джим согласился, что это мысль хорошая, и мы раскурили трубочки и стали ждать.

Делать нам было нечего – только город выглядывать, чтобы мимо не проскочить. Джим уверял, что уж он-то этот город не прозевает, потому что, едва увидев его, в тот же миг станет

свободным человеком, а если прозевает, то попадет в рабские штаты, и о свободе ему придется забыть. Он то и деловскакивал на ноги и спрашивал:

– Это не он вон там?

Но это был не он, а блуждающий огонек или светляк, и Джимснова присаживался и принимался вглядываться в темноту. И говорил, что от такой близости свободы он просто весь дрожит, точно в горячке. Ну, должен вам сказать, я от этих его слов тоже начал дрожать, точно в горячке, потому как мне вдруг пришло в голову, что он ведь и вправду вот-вот свободу получит, а кто в этом виноват? Я, кто же еще. Никак мне не удавалось этот груз с совести сбросить, ну никак. И до того меня мои мысли заели, что я ни сидеть, ни стоять на одном месте не мог. Раньше я об этом как-то и не думал – о том, что натворил. А теперь задумался и ничего поделать не мог, мысли лезли и лезли ко мне и жгли меня все сильнее. Я пытался отговориться тем, что я же Джима узаконной его хозяйки не уводил, а значит и не виноват ни в чем, да куда там, совесть мигом вставала на дыбы и говорила мне: «Но ты же знал, что он беглый и к свободе рвется, мог бы сплавить на берег да кому-нибудь про него рассказать.» И это была чистая правда, от которой ну куда не денешься. А совесть, знай, свое гнет: «Чем уж так насолила тебе бедная мисс Ватсон, что негр ее сбежал натвоих, почитай, глазах, а ты никому об этом и слова не сказал? Что сделала тебе бедная старая женщина, за что ты с ней так обошелся, а? Так я тебе скажу, что она сделала, – она тебя читать учила, и вести себя прилично, она из сил выбивалась, как умела, ради твоего блага. *Вот что* она тебе сделала.»

И я почувствовал себя таким подлецом, да так загоревал, что мне просто помереть захотелось. Я сновал взад-вперед по плоту, ругая себя на все корки, и Джим тоже сновал, мне навстречу. Обоим нам не сиделось на месте. И каждый раз, как он вскрикивал: «Это Кейро!» да приплясывать начинал, меня точно пуля пробивала, и я говорил себе: ну, если *это* Кейро, так я там точно подохну, потому что в глаза никому смотреть не смогу.

Я-то все это про себя говорил, а Джим вдруг заговорил вовесь голос. И принялся разглагольствовать о том, как он, едва попадет в свободный штат, сразу начнет деньги откладывать, ни единого цента тратить не станет, а когда накопит побольше, то выкупит жену, которая принадлежит фермеру, живущему в тех местах, где раньше мисс Ватсон жила, а после они с женой станут работать вместе и выкупят своих детишек, их у него двое было, и если хозяин откажется их продать, так они обратятся за помощью к «аблицинистам» и украдут обоих.

Меня от этих разговоров аж мороз по коже продрал. В жизни своей он ни слова подобного вымолвить не смел. И смотрите, как переменялся от одной только мысли, что свобода близка. Верно пословица говорит: «протяни негруппалец, он тебе всю руку отхватит». Вот думаю, до чего дело дошло, а все из-за того, что тебе умом пораскинуть лень было. Ну и пожалуйста, стоит перед тобой негр, которому ты все равно что помог сбежать, расставил ноги и рассказывает, как он своих детей украдет – детей, принадлежащих человеку, которого ты и не видел никогда, который тебе ничего плохого не сделал.

До того меня огорчили его слова, такие они были подлые, что совесть моя взъярилась пуще прежнего, и наконец, я сказал ей: «Отцепись, не все же потеряно, – как увижу первый огонек, поплыву на берег и все там расскажу». Имне в тот же миг полегчало, и душа стала, как перышко, ну, счастье, да и только. Точно все беды мои миновали. Я начал усердно высматривать огонек, авнутри у меня все пело. И скоро огонек показался. И Джим тоже как запоем:

– Мы спасены, Гек, спасены! Пляши от радости, Гек! Вот он, наконец, добрый старый Кейро, нутром чую!

Я говорю:

– Сейчас сплаваю на лодке и посмотрю, Джим. Может, это и неон.

Он вскочил, подтянул к плоту челнок, постелил на дно свою старую куртку, чтобы мне сидеть помягче было, протянул мне весло, и как только отошел от плота, говорит:

– Скоро-скоро я буду кричать от радости и тогда скажу – все это благодаря Геку; теперь

я свободный человек, но, кабы не Гек, не видать бы мне никакой свободы, все это Гек сделал. Джим тебя никогда не забудет, Гек, тылучший друг, какой когда-нибудь был у старого Джима, а теперь так и вовсе *единственный* .

В челнок я залез только с одним желанием – донести на Джима, однако от этих слов желание мое будто ветром сдуло. Я и греб уже через пень-колоду и вообще не уверен был хочется ли мне куда-нибудь плыть. А отойдя от плота ярдов на пятьдесят, снова услышал Джима:

– Вот он плывет, честный старина Гек, единственный белый джентльмен, который сдержал данное старику Джиму слово.

Знаете, меня даже подташнивать начало. Однако я сказал себе: ты *должен* это сделать – ничего не напишешь. И тут же увидел шедший мненавстречу ялик с двумя вооруженными мужчинами. Он остановился, и я остановился. Один из мужчин и говорит:

– Это что там такое виднеется?

– Плот, – отвечаю.

– Твой?

– Да, сэр.

– Мужчины на нем есть?

– Только один, сэр.

– У нас тут пятеро негров ночью сбежали, мы вон там, выше излучины живем. Мужчина на твоём плоту он какой, белый или черный?

Ответил я не сразу. То есть, я и хотел ответить, но слова как-то не шли. Секунду-другую я пытался собраться с духом, а все равно мне мужества не хватило – перетрусил почище зайца. Ну, а как понял, какой я слабак, так и пытаться перестал, и говорю:

– Белый.

– Пожалуй, мы все-таки сами на него взглянем.

– Ой, взгляните, пожалуйста, – говорю я, – там мой папалезит, может, вы поможете мне отбуксировать плот вон туда, где огонь горит. Ато он совсем разболелся – и мамочка с Мэри-Энн тоже.

– А черт, со временем у нас туговато, сынок. Ну да уж что ужтут, поможем. Давай-ка, разворачивай челнок, поплыли.

Я развернул, они тоже взялись за весла. А когда все мы сделали по паре гребков, я и говорю:

– Знаете, папочка уж так вам благодарен будет. Я ведь многих просил помочь подвести плот к берегу, да все отказывали, а одному мне не справиться.

– Вот негодяи. Хотя, вообще-то, странно. А что с твоим отцом такое, сынок?

– У него... э-э... ну, в общем... он прихворнул малость.

Оба тут же грести и перестали. До плота уже всего ничего осталось. Один говорит:

– А ведь ты врешь, сынок. Так что с твоим папой? Отвечай по правде, тебе же лучше будет.

– Я отвечу, сэр, всю правду скажу – но вы не бросайте нас, пожалуйста. У него... у него... джентльмены, вам ведь только впереди плота идти и придется, а конец я вам с него сам привезу, вам к плоту и подходить не нужно будет... пожалуйста.

– Задний ход, Джон, задний ход! – говорит один. И они отплыли немного назад. – А ты не подходи к нам, сынок, и держись с подветренной стороны. Проклятье, не хватало еще, чтобы на нас ветер заразу нанес. У твоего папыоспа и ты это отлично знаешь. Чего ж ты сразу не сказал? Перезаразить тут все хочешь?

– Раньше я всем говорил, – отвечаю я дрожащим голосом, – а они сразу уплывали, бросали нас.

– Эх, бедолага, я тебя хорошо понимаю. Нам обоим жаль тебя, да только... а, черт, ну не хотим мы заразу подцепить, о чем тут говорить? Знаешь, я тебе вот что скажу. Сам к берегу приставать не пытайся, только плот зазря разобьешь. Спустись по реке миль на двадцать, увидишь на левом берегу город. К тому времени уже день будет, попроси о помощи, но,

смотри, скажи, что вся твоя семья простудилась и в жару лежит. Не свалай еще раз дурака, пусть тамошний народ сам разбирается что к чему. Видишь, мы тебе добра желаем, так что уж будумницей, отплыви от нас миль на двадцать. А к тому огоньку не плавай, там одинок только лесной склад, больше нет ничего. Слушай, я так понимаю, отец твой человек не богатый, да и не повезло ему здорово, чего уж тут. Вот смотри, я кладу на эту доску монету – двадцать долларов золотом, – как она станет мимо тебя проплывать, возьми ее. Подло, конечно, бросать тебя вот так, но, господи! Соспой шуточки плохи, сам знаешь.

– На-ка, Паркер, – говорит второй мужчина, – положи и отменя двадцать долларов. Прощай, сынок, сделай, как сказал мистер Паркер, и все обойдется.

– Он верно говорит, мой мальчик, – прощай, всего тебе доброго. А если увидишь где беглых негров, попроси кого-нибудь помочь изловить их – еще денег заработаешь.

– Прощайте, сэр, – говорю я, – если увижу беглых негров, отменя они не уйдут.

Они уплыли, а я вернулся на плот, чувствуя себя человеком совсем никудышным, пропащим, потому как понимал, что поступил дурно, и что научиться поступать правильно у меня теперь ничем не получится; ведь если кто не привык поступать так *с самых первых лет*, все, пиши пропало, – когда подопрет нужда в хорошем поступке, у него никакого опыта не будет и потерпит он полный провал. В общем, поразмыслил я немного, а потом и говорю себе: погоди-ка, ну, положим, поступил бы ты хорошо и выдал бы Джима, – что, лучше тебе было бы, чем сейчас? Нет, отвечаю, не лучше – точно так же и было бы. А тогда много ли проку, говорю я себе, учиться поступать правильно, если от хороших поступков хлопот не оберешься, плохие совершаются сами собой, а результат все равно один и тот же? На этот вопрос ответа у меня не нашлось. И я решил больше с ним не возиться, и после этого всегда поступал так, как бог на душу положит.

Заглянул я в шалаш, а там никакого Джима и нет. Поозирался по сторонам – нигде его не видно. Я и говорю:

– Джим!

– Здесь я, Гек. Они далеко отошли? Не кричи так.

Он, оказывается, в воде сидел, под кормовым веслом, один только нос наружу торчал. Я заверил его, что те двое уплыли, и он забрался на плот. И говорит:

– Я как услышал ваш разговор, прыгнул в воду, думал, если они к плоту подойдут, на берег уплыть. А потом, когда они уйдут, приплыву обратно. Но, господи, то чего же лихо ты их вокруг пальца обвел, Гек! Какой ты все-таки умный! Я тебе так скажу, сдастся мне, ты снова спас старого Джима – истарый Джим этого вовек не забудет, голубчик.

Потом мы с ним насчет денег поговорили. Улов был совсем неплохой – по двадцать долларов на нос. Джим сказал, что теперь мы сможем палубные билеты на пароход купить и что с такими деньгами можно в самую глубь свободных штатов забраться. А двадцать миль, говорит, наш плот быстро пройдет, жаль только, что уже не прошел.

На рассвете мы подошли к берегу, и Джим долго выбирал место, в котором можно было укрыть плот получше. А после он весь день вещи в узлы вязывал, чтобы мы могли сразу с плота сойти.

И следующей ночью, часов около десяти, мы увидели на левом берегу городские огни.

Я поплыл туда на челноке, выяснить, что это за город. Искоро увидел другой челнок, а в нем человека, ставившего перемет. Я подплыл к нему и спрашиваю:

– Мистер, это там не Кейро?

– Кейро? Нет. Спятил ты, что ли?

– А какой это город, мистер?

– Хочешь узнать какой, сплавай туда и спроси. А будешь приставать ко мне еще с полминуты, так схлопочешь то, что тебе не шибко понравится.

Я вернулся на плот. Джим ужасно расстроился, но я сказал, беда, наверняка Кейро следующим городом будет.

Перед рассветом мы увидели еще один городок; я уж собрался плыть в него, да сообразил, что он стоит на высоком берегу. А Джим говорил, что вокруг Кейро берега низкие. Я просто

забыл об этом. День мы провели на намывномострове, неподалеку от левого берега. Я уже заподозрил неладное. И Джим тоже. Яговорю:

– Может, мы мимо Кейро той ночью проплыли, в тумане.

А он говорит:

– Давай, не будем об этом, Гек. Бедным неграм ни в чем счастья нет. Это проделки той змеиной кожи, никак не иначе.

– Глаза бы мои ее не видели, Джим, пропади она пропадом!

– Твоей вины тут никакой нет, Гек, ты же не знал, что сделаешь. Так и не кори себя.

А когда рассвело, мы увидели ближе к берегу чистую воду, принесенную Огайо, тут и сомневаться не в чем было, а дальше, к середине реки начиналась обычная для Миссисипи муть. Стало быть, о Кейро можно было забыть.

Обсудили мы, что нам дальше делать. Путь по берегу для нас был закрыт, идти на плоту против течения мы тоже не могли. Оставалось дожидаться темноты, и начать подниматься вверх в челноке, а там будь что будет. Ну мы и проспали целый день в тополевых зарослях, чтобы сил набраться, потому что работа нас ожидала нелегкая, а как стало смеркаться, подошли к плоту, смотрим – челнока и след простыл.

Долгое время мы просто молчали. Да и о чем было говорить? Мы оба хорошо знали – это опять змеиная кожа поработала; так что от разговоров наших проку все равно никакого не будет. Только придирайтесь друг к другу начнем, виноватого искать – ну и накликаем новую беду, да так оно и будет продолжаться, пока мы не научимся языки за зубами держать.

Впрочем, поговорить все же пришлось – о том, как нам теперь быть, и мы решили: самое для нас лучшее это продолжать плыть на плоту, пока не подвернется случай челнок купить, а после идти на нем вверх. Папаша-то, конечно, позаимствовал бы первый попавшийся, но мы этого делать не хотели, погони боялись.

Ну и, как только стемнело, поплыли мы дальше.

Если кто из вас так и не поверил, что со змеиной кожей лучше не связываться, – и это после всего, что она с нами натворила, – читайте дальше и поверите, потому как она еще и не то удумала.

Челноки продают обычно со стоящих на приколе у берега плотов. Однако мы за три с чем-то часа ни одного из них не увидели. Ну вот, а тем временем ночь как-то посерела, воздух словно сгустился, а это еще и похуже хужетумана. Куда река поворачивает, не видать, расстояние от себя до чего-то другого оценить невозможно. Время было уже позднее, тихое и вдруг слышим мы: пароход по реке поднимается. Мы зажгли фонарь, думали – заметят его с парохода. Обычно пароходы, шедшие снизу, близко к нам не подходили, уклонялись в сторону, шли вдоль отмелей или под берегом, где течение послабее, но в ночи вроде этой перли прямо по коренной, против самого сильного течения.

Мы слышали, как колеса парохода бухают по воде, однако видеть его не видели, пока он совсем близко не оказался. И шел он прямо на нас. Они так часто делают, стараются пройти как можно ближе к плоту, не зацепив его, а бывает, что и кусок весла отхватывают, и тогда рулевой выставляет из рубки башку и гогочет от радости, как будто что умное сделал. Ну вот, шпарит он прямо на нас, и мы говорим друг другу, что это рулевому охота на волосок от плота пройти, но пароход все не меняет курса и не меняет. Большой такой, идет быстро, и смахивает на черную тучу, к которой с боков жуки-светляки прилепились; и вдруг он вырастает прямо на глазах, и страшный, длинный ряд открытых топочных дверец сверкает, точно докрасна раскаленные зубы, а носище его и леера нависают уже прямо над нашими головами. На пароходе поднимается крик, звонки в машинное отделение, стоп-машина, значит, нас хором обкладывают всякими словами, пар шипит, и едва мы успеваем прыгнуть в воду – Джим в одну сторону, я в другую, – как пароход проходит прямо по плоту.

Я нырнул и очень постарался до самого дна достать, потому как тридцатифутовое колесо должно было пройти прямо надо мной и мне хотелось оставить ему побольше свободного места. Под водой я обычно могу оставаться с минуту, но на этот раз минуты полторы провел, так я полагаю. А потом торопливо пошел вверх, испугавшись, что мне того и гляди крышка

придет. Вылетел я из воды аж доподмышек, отфыркиваюсь, выдуваю из носа воду. Течение тут было, конечно, ухакакое сильное и, понятное дело, на пароходе подождали секунд десять и снова машиныраскочегарили, потому что на плотовщиков им всегда было наплевать; и он ужеушел вверх, так что его и видно в темноте не было, только слышно.

Я позвал Джима, раз десять, но ответа не получил, ну иухватился за доску, которая наплыла на меня, пока я торчал в воде «стойком», ипоплыл, толкая ее перед собой. Я быстро заметил, что течение уклоняется клевому берегу, значит где-то впереди поперечная мель должна быть, ну и повернулк ней.

Мель оказалась длинная, мили в две, полого уходявшая отберега вниз. Я подошел к берегу, взобрался на него. Не видно было ни зги и япобрел по неровной местности и прошел с четверть мили, а может и больше, покане наткнулся, только тогда и заметив его, на старый, бревенчатый дом. Я решилпроскочить мимо и идти дальше, но меня мигом окружила целая свора рычавших игавкавших собак, и я понял, что умнее всего будет стоять и даже пальцем нешевелить.

Глава XVII. Я попадаю кГранджерфордам

Примерно через минуту кто-то подошел к окну и, не выглядываяиз него, говорит:

– Ну хватит, песики! Кто там?

Я говорю:

– Это я.

– Кто таков?

– Джордж Джексон, сэр.

– Что тебе нужно?

– Ничего, сэр. Я хотел мимо пройти, а собаки не пускают.

– И что ты вынюхиваешь тут ночью, а?

– Я не вынюхиваю, сэр, я с парохода за борт упал.

– Ишь ты! Эй, кто-нибудь, зажгите свет. Так как, говоришь,тебя зовут?

– Джордж Джексон, сэр. Я всего только мальчик.

– Слушай внимательно, если ты говоришь правду, бояться тебенечего, никто тебя и пальцем не тронет. Но не шевелись, стой где стоишь. Кто-нибудь, разбудите Боба с Томом, да ружья принесите. Там с тобой ещекто-нибудь есть, Джордж Джексон?

– Нет, сэр, никого.

Я услышал, как в доме зашебурились люди, увидел свет. Потомтот же мужской голос закричал:

– Да убери ты свечу, Бетси, дурында старая, – совсем из умавыжила? Поставь ее на пол перед входной дверью. Боб, если вы с Томом готовы,встаньте по местам.

– Уже стоим.

– А теперь скажи, Джордж Джексон, ты Шепердсонов знаешь?

– Нет, сэр, никогда о таких не слышал.

– Ну, может, не слышал, а может, и слышал. Так, всевнимание. Иди сюда, Джордж Джексон. Но помни, без спешки – медленно иди. Если стобой кто есть, пусть держится подальше от дома – увидим его, застрелим. Давай,подходи. Да медленно, и дверь сам откроешь, но не нараспашку, а только чтобытебе протиснуться можно было.

Спешить я не стал – и захотел бы, так не смог. Шел, медленнопереставляя ноги, а вокруг ни звука, я только и слышал как мое сердце колотится.Собаки тоже притихли, как люди, однако плелись за мной в небольшом отдалении.Поднимаясь, по трем бревенчатым ступенькам, я слышал как скрежещет замок, каксдвигается засов и поднимается щеколда. Я положил ладонь на дверь, нажалнемного, она приоткрылась, нажал еще и еще, и тот же голос сказал:

– Ладно, хватит, просунь-ка внутрь голову.

Я просунул, думая, что сейчас-то мне ее и снесут.

На полу стояла свеча, за ней люди, и с четверть минуты онисмотрели на меня, а я на них:

на трех взрослых мужчин, наставивших на дверь ружья, от которых у меня, честно сказать, мурашки по коже поползли; один был старый, седоватый, лет шестидесяти, двое других лет тридцати с чем-то – все трое красивые, статные. А еще там была добрейшего вида старушка, совсем седая, а за ней стояли две молодые женщины, которых я толком не разглядел. Наконец, старый джентльмен сказал:

– Ладно, вроде все в порядке. Входи.

Едва я вошел, старый джентльмен повернул в замке ключ, задвинул засов и опустил щеколду, и велел молодым перейти в другую комнату, и все прошли в большую гостиную с новеньким лоскутным ковром на полу, и встали в том же углу, которого не было видно из передних окон, – а боковых там и вовсе не было. Оглядели они меня при свете свечи и говорят: «Да, он не из Шепердсонов – ничего шепердсоновского в нем нет». А потом старик сказал, что, надеется, я не буду против, если он проверит, нет ли при мне оружия, он, мол, не в обиду мне это сделает, а так, для порядка. По карманам моим старик рыться не стал, просто провел руками по телу и сказал, что все нормально. И попросил, чтобы я чувствовал себя как дома и рассказал о себе побольше, но тут старая леди говорит:

– Ах, Сол, да благословят тебя небеса, бедняжка промок до костей, а ты даже спросить забыл – может, он голоден.

– Правда твоя, Рэчел, – забыл.

А старая леди говорит:

– Бетси (так их негрятянку звали), сбегай, принеси ему, бедненькому, поесть, да поскорее. И пошли одну из твоих девочек разбудить Бака и сказать ему... а, вот и он. Отведи этого маленького незнакомца к себе, Бак, пусть он снимет с себя мокрую одежду, а ты дай ему что-нибудь из своей, сухой.

С виду Бак был одних со мной лет – тринадцати или четырнадцати, около того – хотя ростом повыше. Вышел он к нам весь встрепанный, в одной ночной рубашке, зевая и протирая кулаком одной руки глаза, – другой Бак волочил за собой ружье. И говорит:

– Что, нет Шепердсонов?

Ему ответили, что тревога оказалась ложной.

– Ладно, – говорит он, – появись они здесь, я, думаю, хоть одного да уложил бы.

Все засмеялись, а Боб и говорит:

– Знаешь, Бак, пока ты там копался, они бы всех нас скальпировать успели.

– Так меня ж никто не разбудил, вечно вы меня от дела оттираете, а это неправильно, потому что так я себя и показать не смогу.

– Ничего, Бак, мальчик мой, – говорит старик, – придет время, покажешь, на этот счет не волнуйся. А теперь иди с нашим гостем и сделай, как мама сказала.

Поднялись мы в его комнату, Бак выдал мне холщовую рубашку, куртку, штаны, я все это надел. Пока я одевался, Бак спросил, как меня зовут, но ответа дожидаться не стал, а сразу начал рассказывать про сойку и крольчонка, которых позавчера в лесу поймал, а потом вдруг спросил, где был Моисей, когда погасла свеча. Я сказал, что не знаю, где, я про это никогда не слышал.

– Ну догадайся, – говорит он.

– Как же я догадаюсь, – говорю, – если не слышал про это ни разу?

– Да ты хоть попробуй, это ж просто.

– А что это была за свеча? – спрашиваю я.

– Свеча как свеча, обыкновенная, – отвечает он.

– Не знаю я, где он был, – говорю я. – Так где?

– Да в *темноте* он был, вот где!

– Ну, коли ты и так знал, где он был, чего ж у меня спрашивал?

– Черт, так это ж загадка такая, ты что, не понял? Слушай, ты к нам надолго? Оставайся навсегда. Мы с тобой отлично время проведем – тем более, школа сейчас закрыта. У тебя собака есть? У меня пес – прыгает в реку и палки приносит, которые я бросаю. Тебе нравится причесываться по воскресеньям, ну и вся эта ерунда? Поспорить готов, не нравится, а меня вот

ма заставляет. Эх, штаны эти дурацкие! надо бы их надеть, конечно, да не хочется, и без них жарко. Ну что, готов? И прекрасно, пошли, старина.

Холодная кукурузная лепешка, холодная говядина, масло, пахта – все это уже ждало меня внизу и ничего вкуснее я с тех пор не едал. Бак, и егома, и все прочие курили трубки, сделанные из кукурузных початков, – то есть все, кроме негритянки, которой с нами не было, и двух молодых женщин. Они курили и разговаривали, а я уплетал еду и тоже разговаривал. Молодые женщины укутались в лоскутные одеяла, на спины их спускались распущенные волосы. Все осыпала меня вопросами, а я рассказывал, как папа, и я, и все наше семейство жили на ферме, стоявшей в арканзасской глуши, и как моя сестра Мэри-Энн сбежала из дома, и вышла замуж, и больше мы о ней не слыхали, и как Билл отправился искать их и о нем мы тоже с тех пор ничего больше не слышали, а Том с Мортон померли, так что остались только мы с папой, но он из-за всех этих бед совсем сдал, а когда он помер, я собрал оставшиеся у нас пожитки – ферма-то не наша была – и поплыл вверх по реке, палубным пассажиром, да свалился за борт, вот так сюда и попал. Ну, они сказали мне, что я могу жить у них, сколько душа попросит. А тут уже и светать начало и все разошлись по кроватям, я лег спать с Бакком, а как проснулся утром – вот те и на! – имя-то мое я и забыл. Целый час пролежал, пытаюсь вспомнить его и, когда Бак тоже проснулся, я говорю:

– Ты писать умеешь, Бак?

– Умею, – говорит он.

– Спорим, мое имя ты не напишешь, – говорю я.

– Спорим на что хочешь, напишу, – говорит он.

– Ладно, – говорю, – валяй.

– Д-ж-о-р-ж Д-ж-е-к-с-а-н – вот! – говорит он.

– Ладно, – говорю, – твоя взяла, а я думал, ты не сможешь. Какой-нибудь невежда такое имя нипочем не осилил бы – этому ж сколько учиться надо.

После я тайком записал его на бумажку, ведь кто-нибудь мог и у меня спросить, как оно пишется, значит, надо было его так освоить, чтобы оно меня мухой из-под пера вылетало.

Очень хорошая это была семья и дом тоже очень хороший. Я прежде и не видел таких замечательных, просто-напросто роскошных сельских домов. Парадная дверь у него не на железный засов запиралась и не на деревянный с прикрепленным к нему ремешком из лосиной кожи, а совсем как в городе, на замок – поворотом такой круглой медной ручечки. В гостиной ни одной кровати не было, а ведь в куче городских домов по гостиним кровати стоят. Зато в ней имелся большой камин с кирпичным подом, и кирпичи его всегда были чистые, красные, потому что их поливали водой и оттирали другим кирпичом, а иногда еще и красной краской мазали, она у них «испанской коричневой» называлась, – ну, все, как в городе. В камине стояла медная подставка для дров, такая большая, что на ней половинка бревна помещалась. Посередине каминной полки возвышались часы под стекляннм колпаком, на нижней половине которого был нарисован город, а над ним была проделана круглая дырка, вроде как солнце, и сквозь нее можно было посмотреть на маятник, как он там мотается. Тикали эти часы – заслушаешься, а иногда, если в дом забредал бродячий жестянщик, который чистил их и вообще в порядок приводил, они даже бить начинали и били, пока не выдохнутся, раз сто пятьдесят подряд, никак не меньше. Хозяйева дома их ни за какие деньги не отдали бы.

Вот, а по сторонам от часов помещались два заморских попугая, сделанных из мела, что ли, и ярко-ярко раскрашенных. Сбоку от одного попугая стояла фаянсовая кошка, а сбоку от другого фаянсовый пес и, если на них нажимали, они принимались пищать, но, правда, рта не разевали и смотрели по-прежнему, без большого интереса. Это у них снизу пищалки приделаны были. А за всем этим располагались два раскрытых веера из перьев дикой индейки. На столе в середине комнаты стояла миленькая такая фаянсовая корзина с горкой яблок, апельсинов, персиков и винограда, все они были краснее, желтее и вообще красивее настоящих, вот только настоящими не были, потому что краска на них кое-где пооблупилась и в этих местах виднелся белый мел – или уж не знаю, из чего их сделали.

Застлан стол был замечательной клеенкой с красно-синим изображением парящего орла

и красивой каемочкой. Хозяева говорили, что ее изсамой Филадельфии привезли. А на каждом из углов стола лежали аккуратные стопки книг. Одна – большая семейная Библия с картинками. Другая называлась «Путешествие пилигрима» – про человека, который взял да и сбежал из своей семьи, а почему, в ней сказано не было. Я ее часто почитывал. Изложено там все очень интересно, только понять ничего нельзя. Другая книга называлась «Подношения дружбы», в ней были напечатаны всякие изысканные историйки и стишки, но, правда, стихов я читать не стал. Были еще «Речи Генри Клея» и «Семейный лечебник доктора Ганна», в котором много чего говорилось о том, что полагается делать с человеком, который заболел или уже помер. Еще был сборник гимнов и много всяких других книг. Вокруг стола стояли плетеные кресла, да крепкие такие – не продавленные и не драные навряде старой корзины.

А по стенам висели картины – все больше Вашингтоны, Лафайеты, и сражения, и Шотландки-Мэри, а одна называлась «Подписание Декларации». Висели и те, которые называют пастелями, их одна из дочерей, теперь уже покойная, сама нарисовала, когда ей было всего пятнадцать лет. Я таких картин и не видел прежде – уж больно они были мрачные. Одна изображала женщину в тесном, стянутом под мышками ремешком платье, – рукава у него вздувались посередке наподобие капустных кочанов, – и в черной смахивавшей на совок шляпке с вуалью; тонкие белые лодыжки ее пересекались крест-накрест черными лентами, а на ступнях сидели совсем махонькие черные туфельки с носками вроде стамесок. Правым локтем она грустно опиралась на надгробие, стоявшее под плакучей ивой, алевая, державшая белый платочек и ридикюль, свисала вдоль тела; под картинкой было написано: «Неужели я никогда уже не увижу тебя, увы». Другая картинка изображала юную леди с зачесанными кверху волосами, в которых сидел большой, похожий на спинку стула гребень, – леди плакала в платочек, а на ладони ее лежала лапками кверху дохлая птичка, а внизу было написано: «Неужели я никогда уже не услышу твоего сладкого щелбета, увы». На третьей еще одна юная леди стояла, глядя на луну, у окна, а по щекам ее струились слезы; в одной руке она держала раскрытое письмо, на котором с краешку виднелась печать из черногососка, а другой прижимала к губам медальон на цепочке, подписано: «Неужели ты погиб, да, ты погиб, увы». Хорошие, я так понимаю, были картинки, но мне они как-то по душе пришлись, потому что, если случалось вдруг загрустить, так я, от одного взгляда на них совсем дерганый становился. Все очень жалели о смерти этой девушки, потому что у нее таких картинок еще много задумано было, а потом, какие она успела нарисовать, каждому видно было, как много мы все потеряли. Однако, я так понимаю, что, при ее настроениях, кладбище должно было показаться ей самым что ни на есть прекрасным местом. Говорили, что перед тем, как заболеть, она трудилась над величайшей своей картиной, а после день и ночь молилась о том, чтобы ей позволено было дожить до ее завершения, но все жене дожила. Картина изображала молодую женщину, залезшую на перила моста, чтобы прыгнуть в реку, волосы у нее распущены и спадают на спину, она глядит на луну, по лицу слезы текут, руки она скрестила на груди, другие протянула перед собой, а еще две к луне тянутся – художница хотела посмотреть, какие из рук покрасивее получатся, а все остальные замазать, но, как я уже говорил, умерла, так ничего и не решив, и теперь картина висела в ее комнате, над изголовьем кровати, и в каждый день рождения бедняжки, семья украшала раму картины цветами. А в прочиeднiи ее под занавесочкой прятали. У изображенной на ней женщины лицо было очень милое, но из-за стольких рук она, по-моему, малость на паука смахивала.

А еще эта девушка вела, пока жива была, альбом, в который наклеивала вырезанные из газеты «Пресвитерианский наблюдатель» некрологи, статейки о несчастных случаях и сообщения о безвременных кончинах от продолжительной болезни, и записывала стишки, которые сама из головы сочиняла. Очень хорошие были стишки. Вот посмотрите, что она написала про мальчика по имени Стивен Даулинг Боуп, который свалился в колодец и утонул:

Ода на кончину Стивена Даулинга Боупа
Хворал ли юный Стивен,
И хворь ли его унесла?
И в могилу его проводили ль

Рыдания безчисла?
Нет, не такую участь узнал
Юный Стивен Даулинг Боуп,
И хоть, кто над ним только ни возрыдал,
Не хворь свела его в гроб.
Увы, не горяча его колотила,
Не корь покрыла коростою лоб,
Не они довели тебя до могилы,
О юный Стивен Даулинг Боуп.
Не мука любви, повергнутой в прах,
Вогнала тебя всмертный озноб,
И не пошлые колики в кишках,
О юный Стивен Даулинг Боуп.
О нет. Тебя нетерзала боль,
И кто бы горестно не застенал,
Узнав, что покинул ты нашу юдоль,
Когда в колодец упал?
Достали его и опорожнили,
Но было уже поздно вато
И ныне тело его в могиле,
А душа воспарила отсель куда-то.

Если Эммелина Гранджерфорд сочиняла такие стихи, не доживеши и до четырнадцати лет, трудно даже вообразить, что она могла бы сотворить, прожив подольше. Бак говорил, что ей стишок написать было, что кому другому плюнуть. Даже задумываться не приходилось. Говорил, напишет она, бывало, строчку, а если не сможет подыскать к ней рифму, так зачеркнет ее и тут же другую пишет. О чем писать, ей было без разницы, о чем просили, о том и писала – главное, чтобы тема погрустнее была. Когда кто-нибудь умирал – мужчина, женщина, ребенок, – так покойник еще остынуть не успеет, а она уже тут как тут со своей «данью памяти». Она называла это данью памяти. Соседи говорили, что первым приходит доктор, второй Эммелина, а уж за ней гробовщик – опередить ее гробовщику удалось всего один раз, да и то лишь потому, что она никак не могла подобрать рифму к фамилии покойного, Уистлер. После этого случая она стала сама не своя – жаловаться ни на что не жаловалась, но начала вроде как чахнуть и вскоре померла. Бедняжка, я не раз, когда ее картинки совсем уж меня дожимали, начинал малость злиться на нее, но сразу же поднимался в ее комнату, доставал старый альбом с вырезками и читал все, что в нем находил. Мне все в этом семействе нравились, и живые, и мертвые, я и не хотел, чтобы между ними и мной черная кошка пробежала. Несчастная Эммелина, пока жива была, о каждом покойнике постишку сочинила, и мне казалось неправильным, что, когда она умерла, для нее никто того же не сделал, – ну, я попытался придумать хоть пару строк, тужился-тужился, но так ничего у меня и не вышло. Семья поддерживала в комнате Эммелины порядок, все вещи стояли в ней по тем местам, какие она отвела им, пока живая была, а спать в этой комнате никто никогда не спал. Старая леди сама в ней прибиралась, даром что негров в доме было полно, и часто приходила сюда сшитьем и Библию свою по большей части здесь читала.

Да, так вот, насчет гостиной, на окнах ее висели очень красивые занавески – белые, с картинками: замки с увитыми виноградом стенами, скот, спускающийся к водопою. А еще там было старенькое пианино, только, по-моему, в нем вместо струн жестяные сковородки были, и молодые леди очень мило пели под него «Разорвалась былая связь» или исполняли «Битву под Прагой». Во всех прочих комнатах стены были оштукатурены и в большинстве их лежали пополам ковры, а снаружи дом покрывала побелка.

Сам он состоял из двух флигелей, соединенных кровлей и настилом, и иногда в середине дня здесь накрывали стол – место-то было уютное да прохладное. Лучше не придумаешь. А уж как вкусно в этом доме готовили, да и еда была хоть завались!

Глава XVIII. Почему Гарни пришлось скакать за шляпой

Видите ли, в чем дело, полковник Гранджерфорд был джентльменом. Джентльменом с головы до пят, и вся его семья такая была. В нем присутствовало то, что называют породой, а это ценится в мужчине не меньше, чем в лошади, – так говорила сама вдова Дуглас, а никто не поспорил бы с тем, что она – первая аристократка нашего города; да и папаша всегда твердил то же самое, даром что аристократства в нем было примерно столько же, сколько в кошачьем соме. Полковник Гранджерфорд был очень высок и строен, кожу имел смугловато-бледную, нигде ни красноты; лицо он каждое утро выбривал дочиста, губы у него были тонкие-претонкие и ноздри тоже, а нос длинный; брови густые, глаза – темнее небывает – сидели в глазницах до того уж глубоких, что казалось, будто они натебя из пещер смотрят. Лоб у него был широкий, волосы черные и прямые и свисали до самых плеч. Руки длинные, худые, и каждый Божий день он надевал чистую рубашку и полотняный костюм, такой белый, что глазам больно было смотреть; а по воскресеньям облачался в синий фрак с медными пуговицами. Он всегда ходил стростью из красного дерева с серебряным набалдашником. До шуток-прибауток полковником-охотником не был, голоса никогда не повышал. Человеком он был добрым до невероятия – и каждый как-то сразу чувствовал это и понимал, что ему во всем довериться можно. Иногда полковник улыбался и на это приятно было смотреть; но если он выпрямлялся во весь рост, что твой флагшток, а под бровями его начинали посверкивать молнии, то всякому хотелось первым делом залезть на дерево, а уж оттуда выяснять причину грозы. Ставить кого-либо на место ему не приходилось – в присутствии полковника место свое знали все. Общество его каждому было по душе, потому что он словно солнечный свет источал, – я хочу сказать, что рядом с ним погода всегда казалась хорошей. Бывало, конечно, что и тучи собирались, и тогда становилось совсем темно, но всего на полминуты, этого хватало, а после опять целую неделю – тишь да благодать.

Когда он и старая леди спускались утром вниз, все прочие члены семьи вставали и желали им доброго утра и не садились, пока не усядутся старики. Затем Том или Боб подходил к буфету, в котором стоял графин, брал стаканчик, смешивал в нем с водой настоящее на горьких травах вино и подавал стаканчик отцу, и тот держал его в руке, ожидая, когда Том или Боб и себе то же самое намешают, а после сыновья с поклоном произносили: «Наше почтение, сэр, мадам», и старики чуть-чуть склоняли голову и благодарили их, и они выпивали, все трое, а Боб и Том клали в свои стаканчики немного сахара, заливали его большой ложкой воды, капали туда же виски или яблочной водки и отдавали стаканчикимне и Баку, и мы тоже выпивали за здоровье стариков.

Боб был старшим сыном, Том средним – рослые, красивые, широкоплечие мужчины, смуглолицые, с длинными черными волосами и черными глазами. Одевались они, как и старик, в белую холстину и носили широкие панамы.

Еще была мисс Шарлотта, двадцатипятилетняя, высокая, гордая статная – и очень добрая, когда не сердилась, а уж если рассердится, то взглянет так, что у человека колени слабеют, этим она в отца удалась. Очень она была красивая.

Да и сестра ее, мисс София, тоже, но та была совсем другой – мягкой, ласковой, ну просто голубка. Ей только-только исполнилось двадцать.

У каждого члена семьи имелся в услужении свой негр – даже у Бака. Мой-то все больше баклуши бил, потому как я не привык, чтобы за меня что-нибудь делали, а вот негру Бака приходилось-таки повертеться.

Вот такой стала к тому времени эта семья, а прежде она была побольше – еще трое сыновей, их всех поубивали, да покойница Эммелина.

Старому джентльмену принадлежало много ферм и больше сотни негров. Временами к нам съезжалась за десять-пятнадцать миль целая толпа народу, все верхом, и гостила по пять, по шесть дней, и тогда рядом с домом, ина реке, и в лесу устраивали пикники с танцами, это днем, а ночами в доме давались балы. По большей части, гости были родичами семьи. Мужчины всегда приезжали с ружьями. Люди они все сплошь были видные собой,

благородные, уж вымне поверьте.

В тех краях жил еще один аристократический род – пять или шесть семейств, носивших, по большей части, фамилию Шепердсоны. Люди они были такие же именитые, высокородные, богатые и благородные, как Гранджерфорды. Шепердсоны и Гранджерфорды пользовались одной и той же паровой пристанью, стоявшей милях в двух выше нашего дома, так что иногда я, отправившись туда с кучей нашего народа, видел и кучу Шепердсонов, приезжавших к пристани на превосходных лошадях.

Однажды мы с Баком отправились в лес, поохотиться, и вдруг услышали стук копыт. А мы как раз дорогу переходили. Бак говорит:

– Быстро! Бежим в лес!

Мы так и сделали – укрылись в лесу и смотрим сквозь листву. И довольно скоро на дороге показался красивый молодой человек на шедшей рысью лошади – поводя он бросил и сидел прямо, как солдат. Поперек его седельной луки лежало ружье. Я этого человека уже видел раньше. Это был молодой Гарни Шепердсон. И вдруг ружье Бака как бабахнет у меня прямо над ухом и с головы Гарни снесло шляпу. Он подхватил ружье и понесся прямо туда, где мы прятались. Ну, мы его дожидаться не стали, а дали деру. Лес был негустой, поэтому я всеоглядывался назад – смотрел, не пора ли мне от пули уворачиваться, – и два раза видел, как Гарни целит в Бака из ружья; а потом он развернулся и поскакал назад, – я полагаю, шляпу искать, но точно сказать не могу, своими глазами не видел. А мы так и неслись во все лопатки до самого дома. Глаза у старого джентльмена, когда он выслушал рассказ Бака, вспыхнули – думаю, больше от радости, – но потом лицо его словно застыло, и он говорит, мягко так:

– Не нравится мне, когда из кустов стреляют. Почему ты не вышел на дорогу, мой мальчик?

– Шепердсоны же не выходят, отец. Они за любое преимущество хватаются.

Мисс Шарлотта, слушая Бака, держала голову высоко, по-королевски, ноздри ее раздувались, глаза сверкали. Старшие братья хмурились, но молчали. А мисс София побледнела, но, правда, когда услышала, что молодой человек не пострадал, румянец на ее щеки вернулся.

Как только мне удалось заманить Бака к кукурузной риге под деревьями, я спросил:

– Ты его и вправду убить хотел, Бак?

– Еще как!

– А что он тебе сделал?

– Он? Ничего он мне не сделал.

– Ну а тогда, почему же тебе его убить охота?

– Да ни почему – это все из-за кровной вражды.

– Какой еще вражды?

– Слушай, ты в каких краях вырос? Неужто не знаешь, что такое кровная вражда?

– Сроду о ней не слыхал – расскажи.

– Ну, – говорит Бак, – кровная вражда это вот что такое: поспорит один человек с другим и убьет его; а следом брат того другого убивает *его*; а после другие братья – их обоих – начинают охотиться друг за другом; ну а потом и *двоюродные братья* в это дело вступают – так оно и тянется, пока все всех не перебьют и враждовать будет уже некому. Но это, знаешь, история длинная, времени много отнимает.

– А ваша вражда давно продолжается, Бак?

– Да уж, *будь спокоен*, давно! Тридцать лет назад началась, около этого. Был там у них какой-то спор, стали они судиться, суд признал одного из спорщиков не правым, ну тот взял да и застрелил другого, который в суде выиграл, – больше-то ему, понятное дело, ничего не оставалось. На его месте любой поступил бы точно так же.

– А из-за чего у них спор вышел – из-за земли?

– Да может быть – не знаю.

– Ладно, а стрелял первым кто? Гранджерфорд или Шепердсон?

– Господи, откуда ж мне знать-то? Это все вон когда было.

– И что же, никто этого не знает?

– Да нет, па знает, по-моему, и еще кое-кто из стариков, но, правда, из-за чего у них сырбор начался, и старикам не известно.

– Сколько же всего народу погибло, а, Бак?

– Много; похоронные конторы на этом здорово заработали. Другое дело, что убить так сразу не всякого удастся. В па однажды пальнуликрупной дробью, ну да он не в обиде, потому что сам подставился, не уберегся. Боба как-то ножом пырнули и Тома тоже пару раз ранили.

– Скажи, Бак, а в этом году кого-нибудь уже убили?

– А как же, у нас одного и у них одного. Месяца три назадмой кузен Бад, ему четырнадцать было, поехал прокатиться верхом по лесу, который на другом берегу, а оружия с собой сдуру не прихватил, ну, заехал всамую глушь и вдруг слышит, за ним кто-то скачет, а после видит, это старыйЛысый Шепердсон – в руке ружье, волосенки белые по ветру развеваются; и Баднет, чтобы спрыгнуть с лошади да в кусты удрать, решил, что сможет ускакать отстарика; ну и промчали они миль пять, если не больше, а старик не то, что неотстает, а понемногу нагоняет, и наконец, Бад понял, что ему не уйти, остановилконя, повернулся к старику, чтобы пулю не в спину получить, понимаешь? А старикподъехал поближе и застрелил его. Ну, правда, долго ему этой удаче радоватьсяне пришлось, потому что через неделю наши ребята и *его* уложили.

– Сдается мне, этот старик был трусом, Бак.

– Ну уж *нет*, ни вот столечко. Среди Шепердсонов трусовнет – ни одного. И среди Гранджерфордов тоже. Да этот старик как-то раз противтроих Гранджерфордов аж полчаса продержался – и победил. Они все были верхом, аон спешился, укрылся за поленницей, поставил перед собой лошадь, чтобы она егоот пуль прикрывала, а Гранджерфорды спешиваться не стали, скакали вокругстарика, палили в него, а он в них палил. Ясное дело, и лошадь его, и сам онвернулись домой продырявленными, все в крови, да ведь Гранджерфордов-то оттуда дом *нести* пришлось – один был убит, второй умер на следующий день. Нет, сэр, если вам требуются трусы, среди Шепердсонов их лучше не искать, только время зря потратите, – их там и *в заводе* нет.

На следующее воскресенье все мы отправились, и все верхом, вцерковь, она милях в трех от дома стояла. Мужчины взяли с собой ружья и Бактоже, и во время службы держали их зажатыми между колен или прислоненными кстеночке, чтобы под рукой были. И Шепердсоны точно так же поступили. Проповедьбыла хуже некуда – насчет братской любви и прочей скукотищи в этом роде; однаковсе ее очень хвалили, и обсуждали на обратном пути, и много всякого наговорилинасчет веры, и добрых дел, и свободной благодати, и допередопределения, и я непонял чего еще, так что это воскресенье далось мне труднее, чем все прежние.

Примерно через час после обеда все уже спали – кто в кресле,кто по своим комнатам, – и стало мне совсем скучно. Бак и его пес растянулись втраве на углеве и тоже дрыхли. Я поднялся к нашей комнате, думал, может, и мнесоснуть удастся. И вижу, милая мисс София стоит у своей двери, которая как разрядом с нашей. Завела она меня к себе, дверь притворила тихо-тихо и спросила, хорошо ли я к ней отношусь, а я говорю – хорошо; тогда она спрашивает, не могули я оказать ей услугу, но только никому об этом не рассказывая, и я говорю –могу. Тут она сказала, что забыла в церкви свое Писание – на скамье, между двумя другими книгами, – так не могу ли я потихонечку выбраться из дому,сбегать туда и принести ей это Писание, но чтобы никто о том не проведал. Яговорю – конечно. Выскользнул я из дома на дорогу, добежал до церкви, а в нейникого – ну, разве пара свиней: двери же не запираются, а свиньи любятповалиться летом на дощатом полу, потому что он прохладный. Вы, может, и сами замечали, что большинство людей приходит в церковь, только когда от этого отвертеться неудается; а вот свиньи – совсем другой коленкор.

Ну я и говорю себе, что-то тут неправильно; с чего бы этодевушке так волноваться из-за Писания? Тряхнул я его, и из книги выпал клочокбумаги, а на нем карандашом написано: «*в половине третьего*». Перерыл явсе Писание, но ничего больше не нашел. Что все это значит, я не понял и потомузасунул клочок бумаги обратно в книгу, а когда возвратился в дом и

поднялсянаверх, мисс София опять стояла у двери. Затащила она меня в комнату, закрыладверь, и стала рыться в Писании, нашла ту бумажку, а едва прочитала написанноена ней, сразу так обрадовалась: я и ахнуть не успел, как она обхватила меняруками, стиснула что было мочи и сказала, что я лучший мальчик на свете, но тольконикому ничего говорить не должен. На минуту она здорово покраснелась, глазагорят, хорошенькая стала, просто жуть. Очень меня это удивило и я, отдышавшись,спросил, что было написано на той бумажке, а она спрашивает, прочитал ли я ее,я отвечаю – нет, а она опять спрашивает, умею ли я читать по писанному, яговорю: «Нет, только если буквы печатные», – и тогда она сказала, что этойбумажкой просто-напросто было заложено в книге нужное ей место, а мне лучшепойти поиграть.

Я направился к реке, обдумывая это происшествие, и довольноскоро заметил, что за мной увязался мой негр. И когда дом скрылся из виду, негрпару секунд поозирался по сторонам, а после бегом нагнал меня и говорит:

– Марса Джош, пойдёмте со мной на болото, я вам целую кучуводяных гадюк покажу.

Странное, думаю, дело – он и вчера то же самое предлагал. Аведь должен же понимать, что мало на свете людей, готовых тащиться бог знает куда, чтобы на гадюк полюбоваться. Что же тогда у него на уме? Я и говорю:

– Ладно, пойдём.

Прошел я за ним примерно половину мили, потом он поворотилпрямо в болото, и мы пробрели по лодыжки в воде еще с полмили. И выбрались намаленький, плоский сухой островок, весь заросший деревьями, кустами и дикимвиноградом, и тут негр говорит:

– Ступайте направо, марса Джош, несколько шагов пройдете,там они и есть. А я их уже вот сколько навиделся, глаза б мои на них несмотрели.

И сразу пошел назад и скоро скрылся за деревьями. Янаправился в ту сторону, вышел на отгороженную отовсюду плетьюми дикоговинограда полянку размером со спальню, а на ней человек лежит и спит – игосподи-боже, это был мой старина Джим!

Я разбудил его, думал, он здорово удивится, увидев меня, аннет. Он чуть не расплакался от радости, но не удивился. Сказал, что в ту ночьплыл за мной, слышал, как я его звал, но не отвечал, потому как боялся, чтокто-нибудь вытащит его из воды и снова в рабство продаст. А потом говорит:

– Я тогда зашибся малость, быстро плыть не мог, ну и подконец сильно отстал от тебя, а когда ты на берег вылез, решил, что по земле-тоя тебя и без крику нагоню, но, как увидел тот дом, притормозил. Чего они тебеговорили, я не слышал, слишком далеко стоял, да и собак боялся, ну а когда всестихло, понял, что тебя в дом впустили, и ушел в лес, дня дожидаться. А ранопоутру, натыкаются на меня несколько негров, которые в поле идут, берут ссобой и показывают вот это место, в котором человека никакая собака не сыщет, –вода же кругом, – а после каждую ночь притаскивают мне чего-нибудь поесть да рассказывают,как ты там управляешься.

– Чего ж ты раньше-то не попросил моего Джека, чтобы он менясюда привел, а, Джим?

– Да что толку было беспокоить тебя, Гек, пока у нас и небыло ничего, и сделать мы ничего не могли? Теперь-то другое дело. Я тут прикупал,когда случай подворачивался, кастрюльки да сковородки, а ночами плот починял...

– *Какой* еще плот, Джим?

– А наш старый плот.

– Ты что, хочешь сказать, что его не разбило вдребезги?

– Нет, Гек, не разбило. Потрепало, конечно, сильно – конецодин оторвало, но, в общем, остался он цел, только пожитки наши все как есть потонули.Кабы мы не унырнули так глубоко, да ночь не была такая темная, да мы с тобойтак сильно не перепугались, да не были такими олухами, мы бы наш плот сразу заметили.Но, может, оно и к лучшему, потому что теперь он снова целехонек, лучше новогостал, и вещичек у нас новых прибавилось, взамен потерянных.

– Но послушай, Джим, если это не ты плот выловил, то откудаж он опять взялся?

– Да как бы я его выловил, на болоте-то сидя? Нет, плот другие негры нашли – его на излучине к коряге прибило, ну и спрятали его на ручье, под ивами, а после такой гвалт подняли, никак решить не могли, чей он, что я очень скоро о нем прослышал и угомонил их, сказав, что принадлежит он вовсе не им, а нам с тобой – вы что, говорю, хотите присвоить собственность молодого белого джентльмена, чтобы с вас потом шкуру за это спустили? А после раздал им по десять центов, ну, они страх какие довольные остались, жалели только, что плоты не часто приплывают, а то бы они, глядишь, совсем разбогатели. Они хорошие люди, голубчик, негры-то эти, если мне чего требуется, так дважды их об этом просить не приходится. И Джек тоже негр хороший – и умный.

– Что верно, то верно. Он ведь даже не сказал мне, что ты здесь, просто привел сюда, чтобы гадюк показать. А если чего случится, так его дело сторона. Скажет, что никогда не видел нас вместе, – и не соврет.

Про следующий день мне особо распространяться не хочется. Так что я, пожалуй, коротко все расскажу. Проснулся я на рассвете, собрался перевернуться на другой бок и дальше спать, но вдруг заметил, до чего в доме тихо – точно в нем и нет ни души. Прежде такого не бывало. Потом смотрю – а Бака-то и вправду нет. Ну, тут уж я встал, спустился вниз – никого, дом стоит тихий как мышь. И во дворе то же самое. Я и думаю – что бы это такое значило? Дошла до поленницы, вижу, у нее Джек сидит, и спрашиваю:

– Что происходит?

А он отвечает:

– Вы разве не знаете, марса Джош?

– Нет, – говорю, – не знаю.

– Ну, так у нас же мисс София сбежала! Честное слово. Ночью, а в котором часу, никому не известно, и сбежала она, чтобы выйти за молодого Гарни Шепердсона, – так, по крайности, говорят. Семья обнаружила это с полчаса назад – может, малость раньше, – и ей же ей, времени наши хозяева терять не стали. Такой суматохи с ружьями и лошадьми мы *отродясь* не видали! Женщины поскакали родню на ноги поднимать, а старый марса Сол с сыновьями схватили ружья и понеслись к реке, чтобы изловить молодого джентльмена, да и убить, покуда он с мисс Софией реку не переплыл. Я так понимаю, туго им обоим придется.

– И Бак меня даже не разбудил!

– Понятное дело, не разбудил! Не хотели они вас в это путывать. Марса Бак, когда ружье заряжал, кричал, что теперь-то уж он непременно какого-нибудь Шепердсона ухлопает, не сойти ему с этого места! Ну, их там, наверное, много соберется, значит, хоть одного да ухлопает, если случай подвернется.

Я что было сил побежал по дороге, которая вела к реке. Искоро услышал далеко в стороне от нее стрельбу. А как завидел впереди дровяной склад и поленницу, стоявшие рядом с паровой пристанью, то свернул под деревья, в заросли, нашел там подходящее место, в которое пули не залетали, залез на развилку тополя, и стал смотреть. Перед тополем, немного вбок от него, стоял штабель дров фута в четыре вышиной, я сначала думал за ним спрятаться, да, слава те господи, передумал.

По открытому полю перед складом носились четверо, не топятеро верховых, – они вопили, ругались и пытались подстрелить двух ребят, укрывшихся за поленницей, да ничего у них не получалось. Каждый раз, как один из них подлетал поближе к реке, чтобы подобраться к поленнице сбоку, из-за не тут же стреляли. Мальчики сидели за ней спиной к спине, прикрывая друг друга со всех сторон.

В конце концов, мужчины гарцевать и орать перестали, а поскакали напрямик к складу, и тогда один из мальчиков встал, оперся, чтобы прицелиться, локтем о полено и вышиб одного нападавшего из седла. Все остальные спешили, подхватили раненного и потащили его к складу, а мальчики в тот же миг припустились бежать. Они пробежали половину пути до моего дерева, только тогда те мужчины их и заметили. А как заметили, попрыгали в седла и погнались за беглецами. Нагонять-то они их нагоняли, да без толку, слишком большая умальчиков фора была. Добежали они до штабеля перед моим тополем и нырнули заного – и

опять у них перед всадниками преимущество появилось. Одним из мальчиков оказался Бак, другой был и не мальчик вовсе, а тощий юноша лет девятнадцати.

Мужчины погалопировали немного вокруг, а после ускакали куда-то. Как только они скрылись из глаз, я окликнул Бака, назвался. Он сначала не понял, что мой голос с дерева доносится. Ужас как удивился. И попросил меня посмотреть во все глаза и, если мужчины опять появятся, крикнуть ему; сказал, что они наверняка какую-то пакость задумали и долго их ждать не придется. Очень мне захотелось убраться подальше от этого места, но слезать с дерева я не стал. А Бак заплакал, начал сыпать проклятиями, кричал, что он и его кузен Джо (так звали юношу) еще посчитаются с Шепердсонами за этот день. Сказал, что его отец и братья убиты и двое-трое врагов тоже. Сказал, что Шепердсоны устроили засаду, что отцу и братьям следовало дожидаться родичей, – Шепердсонов оказалось слишком много. Я спросил, что стало с молодым Гарни и мисс Софией. Бак ответил, что они переправились через реку и скрылись. Меня это обрадовало, а его, похоже, радовало не очень, уж больно он ругал себя за то, что не убил тогда Гарни, что промахнулся, – я таких слов и не слышал прежде.

И вдруг – бах! ба-бах! – из трех или четырех ружей, – те мужчины прокрались лесом и вышли на нас сзади, оставив где-то лошадей! Ребята помчались к реке – оба уже ранены были – бросились в воду, поплыли, а мужчины бегали по берегу, стреляли в них и кричали: «Смерть им! Смерть!». Меня затошнило, да так, что я чуть с дерева не слетел. В общем, *про все*, что тогда произошло, я рассказывать не хочу, потому что меня опять тошнить начнет. Лучше бы я не выходил на берег и не видел ничего. А теперь от увиденного не избавишься, теперь оно мне ночами снится.

На дереве я просидел, пока смеркаться не начало, все боялся слезть. Временами из леса доносились выстрелы, а два раза я видел, как мимо леса проскакивали вооруженные всадники, стало быть, напасть эта еще продолжалась. На душе у меня было худо, я решил, что к дому Гранджерфордов и близко больше не подойду, потому как виноват-то во всем я. Я уж понял теперь – в том клочке бумаги сказано было, что мисс София должна встретиться где-то с Гарни в половине третьего и сбежать с ним, и если бы я рассказал ее отцу и об этом клочке, и о том, как она странно себя вела, так ее бы, наверное, посадили под замок, и никакого этого кошмара не было бы.

Ну, а когда я спустился с дерева, то прокрался к реке, и увидел в воде рядом с берегом два тела, и вытянул оба на берег, а после прикрылих лица и поскорее убрался оттуда. Прикрывая лицо Бака, я даже заплакал, он жетаким был добрым со мной.

Почти уж стемнело. Дом я обошел стороной, двинулся лесом к болоту. На островке Джима не оказалось, и я торопливо побрел к ручью, протолкался сквозь ивы, думая, что вот сейчас запрыгну на плот и уберусь от этих жутких мест как можно дальше. А плота-то и нету! Господи-боже, до чего ж я перепугался! Целую минуту дышать вообще не мог. А потом как заору. И футах в двадцати пяти от меня раздался голос:

– Боже милостивый! Это ты, голубчик? Не шуми так.

Это сказал Джим – и слаще голоса я отроду не слышал. Я побежал по берегу, забрался на плот, Джим обхватил меня, прижал к себе – ужтак-то он мне обрадовался. И говорит:

– Благослови тебя Бог, сынок, а я решил, что ты опять помер. Сюда Джек приходил, говорит, он так понимает, что тебя застрелили, потому как домой ты не вернулся, вот я и вывел плот к устью ручья, чтобы уплыть, как только Джек еще раз придет и скажет, что тебя точно убили. Господи, до чего ж я рад, что ты вернулся, голубчик.

А я говорю:

– Ну и ладно, и хорошо, меня они не отыщут, решат, что я убит, а труп мой по реке уплыл, – там на берегу найдется кое-что способное навести их на эту мысль, – поэтому давай не будем время терять, Джим, поплыли отсюда, да поскорее.

Мне полегчало, только когда наш плот выбрался на середину Миссисипи и спустился миль на две. Мы зажгли сигнальный фонарь и решили, что снова свободны и ничего нам не грозит. У меня со вчерашнего дня крошки во рту было, поэтому Джим накормил меня кукурузными хлебцами, пахтой, да еще свининой с капустой и зелеными овощами, – а если

ее правильно приготовить, так вкуснее ничего на свете не сыщешь, – и пока я уплетал ужин, мы разговаривали, итак нам хорошо было. Я был страшно доволен, что убрался подальше от кровной вражды, а Джим, – что ему на болоте больше куковать не придется. И мы пришли к выводу, что, в конце концов, лучше плота дома не сыскать. В других-то местах люди все время толкуются, и воздуху не хватает – то ли дело плот. На плоту ты всегда свободен, на нем в любое время и легко, и уютно.

Глава XIX. На плот вступают герцог и дофин

Прошли два не то три дня и столько же ночей; наверное, правильнее было бы сказать «проплыли», до того приятно, спокойно и мирно миновали они. А время мы проводили вот как. Река в тех местах разлилась уже до ширины неохватной, доходившей местами до полутора миль; мы плыли ночами, а с наступлением дня останавливались и укрывались: как только ночь подходила к концу, мы прерывали плавание и привязывали плот – почти всегда на тихой воде, у нижнего края намывного острова, – нарезали тополевых и ивовых веток и заваливали ими плот. А после ставили закидушки. Сами же лезли в воду, купались, чтобы освежиться и охладиться; потом садились на мелководье, где вода нам примерно по колено была и смотрели, как приходит день. Нигде ни звука – полная тишь, как будто весь мир спит, ну, может, бычья лягушка поревет иногда. Первым, что мы начинали различать, глядя на реку, была тусклая такая линия – лес на другом берегу; и ничего больше разглядеть было нельзя; затем в небе появлялось бледное пятно, оно понемногу разрасталось, и река становилась видной все дальше, уже не черная, а серая, с далеко-далеко плывущими по ней черными пятнышками – торговыми барками и тому подобным, и с длинными черными прочерками, это уж были плоты; иногда до нас доносился скрип весел или неразборчивые голоса – так все было тихо и так далеко разлетались звуки; и понемногу мы начинали видеть на воде струистые полосы и понимали, что там быстрое течение оmyвает корягу, оттого эти полосы и возникают; а вскоре становились видными и завитки поднимавшегося над водой тумана, небо на востоке краснело, река тоже, и уже вырисовался на опушке дальнего леса дощатый сарай – лесной склад и, скорее всего, построенный тяп-ляп: с такими щелями в стенах, что сквозь них кое-где и собака проскочит; потом задувал легкий ветерок, он прилетал с того берега и овеивал нас, прохладный, свежий и так сладко пахнувший лесом и цветами; хотя иногда и не ими, потому что тамошние люди выбрасывали на берег дохлую рыбу, щук или ещекого, а от нее такой тухлятиной разило – жуть кромешная; ну и наконец, наступал день, и все улыбалось под солнцем, и принимались разливать певичие птицы!

Теперь тонкий дымок никто бы уже не заметил, поэтому мы снимали с донок улов и готовили себе горячий завтрак. А после снова смотрели на пустынную реку, и так нам было покойно да лениво, что понемногу нас одолевало сон. Время от времени, мы просыпались, оглядывали реку, пытаясь понять, что нас разбудило, и может быть, видели пароход, который поднимался, пыхтя, вверх по течению, так близко к другому берегу, что ничего о нем сказать было нельзя, ну, разве что, где у него колеса прилажены – на корме или по бортам; а после него целый час ничего не было ни слышно, ни видно, кроме гладкой пустой воды – пустыня даи только. Потом появлялся скользкий по ней плот, тоже далекий-далекий, и порой какой-нибудь юнга колот на нем дрова, на плотах этим почти всегда юнгизанимаются; мы видели проблеск летевшего вниз топора, но ни звука не слышали, потом топор поднимался снова, и только когда он уже оказывался над самой головой дровосека, до нас долетало «чинк!» – вот сколько времени уходило у звука на то, чтобы пересечь реку. Так мы и проводили день, бездельничая, слушая тишину. Однажды опустился густой туман и на проходивших мимо плотах и прочем стали бить, чтобы не залететь под пароход, в жестяные сковородки. Теперь, в тумане, барки и плоты шли так близко к нам, что мы слышали, как на них разговаривают, сквернословят и смеются – совсем ясно слышали, но никого не видели, и у нас от этого даже мурашки по коже бежали; можно было подумать, что это духи летят мимо нас по воздуху. Джим сказал, что это наверняка духи и есть, но я ответил:

– Ну уж нет, дух не стал бы говорить: «Чтоб его черти забодали, этот туман!».

При наступлении ночи мы отплывали, а выйдя на середину реки, предоставляли плот самому себе, пусть плывет по течению, раскуривали трубки, сидели, болтая ногами в воде, толковали о разных разностях, и всегда оставались голыми, днем и ночью, если, конечно, комары позволяли, – новая одежда, которую получил от родителей Бака, была слишком добротной, чтобы оказаться еще неудобной, да я и вообще до одежды не великий охотник, ну ее совсем.

Иногда мы на долгий срок оставались на реке совсем одни. Далеко за водой различались берега и острова, ну, может искорка какая мелькнет – свеча в окне домишки; а временами и на воде огоньки появлялись – это уж, сами понимаете, был плот либо барка; и с какого-нибудь из этих судов вдруг долетало пение или звуки скрипки. Жизнь на плоту – лучше не бывает. Небо висело над нами, все в звездах, а мы лежали на спинах, смотрели на них и пытались решить, были ли они сотворены или сами собой народились, – я рассудил так: уж больно долгое время ушло бы на то, чтобы *сотворить* их в таких количествах. А Джим сказал, что, может, их Луна несет, как курица яйца – ну, мне это показалось резонным, и я не стал с ним спорить, потому как знал, сколько икринок может отложить самая обыкновенная лягушка, стало быть, и Луне оно посылать. А еще мы следили за падающими звездами, за тем, как они расчерчивают небеса. Джим полагал, что это выкидывают из гнезд те звезды, которые малость потухли.

Раз или два за ночь мы видели проходившие мимо нас в темноте пароходы, и время от времени из их труб вырывалась целая вселенная искр, дождем сыпавших воду, очень это было красиво; а после пароход уходил за изгиб реки, огни его мерцали и гасли, пыхтенье стихало и на реку снова опускался покой, и в конце концов, немалое время спустя, поднятые пароходом волны добирались до нас покачивали плот, а после даже и не знаю, как долго, ничего слышно не было – разве что лягушки иногда квакали.

После полуночи жившие у реки люди укладывались спать, и берега на два, на три часа становились совсем черными – никаких больше огоньков в окнах. Эти огоньки были у нас заместо часов – появление первого из них означало, что близится утро, и мы сразу начинали искать место, в котором можно остановиться и плот привязать.

Как-то поутру, перед самой зарей, мне подвернулся ничейный челнок, и я переплыл на нем быструю, – там до берега и было-то всего ярдов двести, – и поднялся примерно на милю по речушке, окруженной кипарисовым лесом, думал, может, ягод удастся набрать. А когда проходил место, в котором ее пересекал коровий брод, смотрю, по ведущей к нему тропе бегут во всю прыть двое мужчин. Я уж подумал, что мне каюк, потому что, увидев, как кто-то за кем-то гонится, первым делом решал: за *мною* – ну, может, за Джимом. Собрался я развернуть челнок и поскорее убраться оттуда, да только они подбежали совсем уже близко и закричали, умоляя меня спасти их жизни – они, дескать, ничего плохого не сделали, так на них как раз за это целую охоту устроили, да еще и собаками. Хотели они сразу в челнок попрыгать, но я говорю:

– Нет, погодите. Собак и лошадей покамест не слышать; вы успеете пройти по кустам немного вверх, а после входите в воду, спускайтесь сюда, тогда в челнок и сядете – так вы хотя бы собак со следа собьете.

Они так и сделали, и как только уселись в челнок, я понесся к нашему островку, а минут через пять-десять мы услышали вдалеке лай собак и людской крик. Мы слышали, как погоня приближается к речке, но видеть ее не видели; потом она, вроде как, остановилась, и некоторое время топталась наместе; мы уплывали все дальше и дальше и вскоре слышать ее перестали, а ко времени, когда за нашей спиной осталась целая миля леса и мы вышли на большую реку, все уже стихло, и мы подплыли к нашему с Джимом острову и спрятались среди тополей. В общем, спаслись.

Одному из этих двоих было лет семьдесят, если не больше, – лысый, с совсем седыми бакенбардами. Лысину его прикрывала поношенная фетровая шляпа с широкими полями, грудь – синяя, засаленная шерстяная рубашка, а ноги – драные, тоже синие холщовые штаны, заправленные в сапоги и державшиеся надомашней вязки подтяжках – хотя нет, подтяжка была одна. Через руку его был перекинут старый синего холста фрак с потертыми медными

пуговицами, и каждый измужчин тащил по большому, туго набитому ковровому саквоюжу самого жалкого вида.

Второй, тридцатилетний примерно, тоже одет был не ахти как. После завтрака мы прилегли на травку, разговорились, и первым делом выяснилось, что друг друга эти двое не знают

– Как вы нажили неприятности? – спрашивает лысый у тридцатилетнего.

– Да, видите ли, я продавал тут средство от винного камня – камень-то оно с зубов сводит, но, как правило, вместе с эмалью, – и задержался на день дольше, чем следовало, а когда все-таки улизнул, столкнулся на тропе за городом с вами, и вы сказали, что за вами гонятся и попросили помочь вам выпутаться из передраги. Я ответил, что и сам жду беды и готов удирать вместе с вами. Воти вся моя история, – а какова ваша?

– А я с неделю проповедовал в этом городишке трезвость, издешние женщины, молодые и старые, полюбили меня, как родного, потому что я ухакакого жару пьяницам задавал; поверите ли, по пять-шесть долларов за вечер заколачивал – десять центов с головы, детям и неграм вход бесплатный – и должен вам сказать, бизнес мой процветал, однако вчера вечером кто-то пустил слухок, будто я и самне дурак нализаться втихаря. Утром меня разбудил один негр и сказал, что здешний народ понемногу собирается с лошадьми и собаками и скоро уж весь соберется, и у меня осталось примерно полчаса, потому что, если они меня изловят, то вывалят в смоле и перьях и прокатят на шесте, это как пить дать. Ну, завтрака я дожидаться не стал – аппетита не было.

– А знаете, старина, – говорит молодой, – я так понимаю, мы могли бы объединить наши усилия, как вы на этот счет?

– Ничего не имею против. Вы, собственно, чем на хлеб зарабатываете – по преимуществу?

– Вообще-то я вольный печатник; кое-что смыслю в патентованных лекарствах; играю на театре – трагик, знаете ли; демонстрирую, если подворачивается случай, чудеса месмеризма и френологии; преподаю – для разнообразия – пение и географию; иногда лекции читаю; короче говоря, берусь за все, что в руки идет, – лишь бы это не работа была. А вы чем промышляете?

– В свое время, отдал много сил медицине. Лучше всего у меня получалось целительство посредством наложения рук, оно от всего помогало – и от рака, и от паралича, и от прочего; ну, еще я отлично предсказываю будущее, то есть, при наличии помощника, который собирает для меня необходимые сведения. А кроме того, читаю проповеди, провожу молитвенные собрания и обращаю желающих в христианство.

Некоторое время все молчали, а потом молодой человек тяжко вздохнул и говорит:

– Увы!

– Чего это вы увякать надумали? – спрашивает лысый.

– Подумать только, какую жизнь мне приходится вести, в каком низком обществе вращаться.

И он вытер тряпицей уголок глаза.

– Ишь ты, поди ж ты, – чем это не угодило вам наше общество? – спрашивает лысый, да обиженно так, свысока.

– Да, для меня довольно и *такого*, иного я незаслуживаю, ибо кто принудил меня пасть столь низко, когда я парил столь высоко? Я сам. *Вас* я ни в чем не виню, джентльмены, отнюдь, – я никого не виню. Я получил по заслугам. Пусть холодный мир поступит со мной еще и похуже, одно я знаю наверняка – где-то впереди меня ожидает могила. Мир может жить всегдашней его жизнью, он может отнять у меня все – моих близких, мои владения, все, но *ее* он не отнимет. Настанет день и я лягу в нее и обо всем позабуду, и мое бедно разбитое сердце изведает, наконец-то, покой.

– Да плевать я хотел на ваше разбитое сердце, – говорит лысый, – что вы нам тычете в нос ваше бедное разбитое сердце? *Мы-то* ничего вам плохого не сделали.

– О нет, не сделали, я знаю. И не виню вас, джентльмены. Я сам низвел себя на дно – низвел своими руками. И страдаю я по заслугам – о да, по заслугам, – а потому и не жалуясь.

– Откуда это вы себя низвели, хотелось бы знать? Откуда?
– Ах, вы все равно не поверите, никто мне не верит... оставим это... оно не стоит внимания. Тайна моего рождения...

– Тайна вашего рождения! Вы что, хотите сказать...

– Джентльмены, – торжественно говорит молодой, – я открываю эту тайну, ибо вижу, что вам ее можно доверить. По праву рождения я герцог!

Джим так глаза и вытаращил, да и я, наверное, тоже. А лысый говорит:

– Да ну вас! Вы что, серьезно?

– Серьезно. Мой прадед, старший сын герцога Бриджуотерского, в конце прошлого столетия сбежал в эту страну, чтобы подышать неразбавленным воздухом свободы. Здесь он женился и умер, оставив сына, а примерно в то же время умер и его отец. Второй сын покойного герцога присвоил себе и титулы, и владения – настоящий же герцог, тогда еще младенец, остался в пренебрежении. Я – прямой потомок этого младенца, истинный герцог Бриджуотерский, и вот я, всеми покинутый, лишенный высокого сана, гонимый людьми, презираемый холодным миром, оборванный, изнуренный, с разбитым сердцем, пал настолько, что вынужден странствовать наплоту в компании уголовных преступников!

Очень нам с Джимом жалко его стало. Мы попытались утешить его, однако он сказал, что утешать его без толку, потому как он безутешен; впрочем, если мы почтим в нем герцога, то это будет для него благом, которое превыше всех прочих; а мы сказали, что почтим, конечно, пусть только он объяснит нам как. Он и объяснил: разговаривая с ним, мы должны кланяться и говорить «ваша милость», или «сударь мой», или «ваше лордство» – а впрочем, он не возражает и против того, чтобы его именовали попросту: «Бриджуотер», поскольку это, сказал он, титул, а не фамилия; а еще, один из нас должен прислуживать ему за столом, ну и всякие его распоряжения исполнять.

Ладно, ничего тут трудного не было, так мы делать и стали. Во время обеда Джим стоял за его спиной, прислуживал, и говорил: «Желает ливаша милость вон того или вот этого?» – ну и так далее, и сразу видно было, что герцогу это сильно нравится.

Зато старик приуныл – не говорил ни слова, только смотрел с недовольством, как мы вокруг герцога увиваемся. Походило на то, что у него какая-то мысль вызревает. И точно – ближе к вечеру он вдруг говорит:

– Послушайте, Билжуотер, – говорит, – мне вас страх как жаль, но вы не единственный, с кем приключились такие неприятности.

– Вот как?

– Нет, не единственный. Не одного вас низвергли с самых высот нехорошие люди.

– Увы!

– Нет, не одного, и тайна рождения тоже имеется не только у вас.

И, вы не поверите, он заплакал.

– Погодите! О чем это вы?

– Могу ли я верить вам, Билжуотер? – говорит, продолжая рыдать, старик.

– До горестной кончины! – герцог сжал руку старика и спрашивает: – Так какая у вас там тайна: говорите!

– Знайте же, Билжуотер, что я – покойный дофин!

На сей раз, глаза у нас с Джимом аж на лоб повылезали, может и не сомневаться. А герцог и говорит:

– Кто-кто?

– Да, друг мой, это святая правда – в сей миг ваш взор устремлен на несчастного, запропавшего дофина – Луя Семнадцатого, сына Луя Шестнадцатого и Мэри Антонетты.

– Вы? В вашем-то возрасте? Ну уж нет! Назвались бы, если вамохота, покойным Карлом Великим, вам же лет шестьсот, если не семьсот, да и то еще самое малое.

– Это все горести, Билжуотер, горести состарили меня, горести наградили меня этими сединами и преждевременной плешью. Да, джентльмены, перед вами – облаченный в синюю дерюгу, обнищавший, скитающийся, изгнанный, растоптанный и страдающий истинный

король Франции!

Тут он опять заплакал-зарыдал, – мы с Джимом прямо не знали, что делать, так нам его жалко было, – ну и гордились, конечно, и радовались, что попали в такую компанию. Так что, мы принялись обхаживать его, – как перед тем герцога, – постарались утешить. Однако король сказал, что утешить его невозможно, вот когда он помрет и распростится с этим миром, тогда и утешится, хотя, говорит, иногда ему становится лучше и вообще как-то по себе, если люди относятся к нему так, как он того заслуживает, – ну, там, встают перед ним, прежде, чем слово сказать, на колени и называют его не иначе как «ваше величество», и за столом ждут, пока он все блюда не перепробует, а там уж и сами лопать начинают, и не садятся в его присутствии, покамест он им того недозволит. Ну, мы с Джимом стали его величать, делать для него то, другое и третье, и не садились, пока он не скажет, что можно. Ему от этого шибко лучше стало – он повеселел, размяк. Зато герцог на него, похоже, разобиделся, герцогутакой поворот событий совсем не по вкусу приехал, однако король обошелся с ним по-дружески, сказал, что *его* отец держался весьма хорошего мнения опрадедушке герцога, да и обо всех прочих герцогах Билжуотерских и позволял им завсегда гостить в его дворце, однако герцог все равно долго просидел, надувшись, пока король не сказал:

– Послушайте, Билжуотер, нам на этом плоту еще эвона сколько плыть, так чего ж мы друг на друга зубы точить будем? Кому от этого лучше-тостанет? Я же не виноват, что родился не герцогом, и вы не виноваты, что некоролем родились – ну так и нечего нам об этом печалиться. Лови удачу, где ловится – такой у меня девиз. Разве плохо, что мы с вами сюда попали? – еды навалом, живем без забот, – так дайте мне вашу руку, герцог, и пускай все мы будем друзьями.

Герцог так и сделал, и мы с Джимом обрадовались. Понимаете, от этого все вроде как уладилось, ну и слава богу, потому что всякие распри на плоту это же последнее дело, на плоту ведь что прежде всего требуется? – чтобы все были довольны, чувствовали себя в своей тарелке и ни на кого не злобились.

Я-то довольно быстро понял, что никакие эти вруны не короли и не герцоги, а просто пустозвоны и мошенники последнего разбора. Но ничего им про это не сказал, ни разу – так оно лучше всего, тогда и свар никаких не будет, и неприятностей. Хотят они, чтобы мы называли их королем да герцогом, ну и наздоровье, я не против, главное, чтобы в доме тихо было, – я и Джиму ничего говорить не стал – зачем? Если я и получил от папаши какую науку, так сводилась она к тому, что с людьми вроде него самое правильное не спорить – пусть себе вытворяют, что хотят.

Глава XX. Что учинили наши аристократы в Парквилле

Наконец, взялись они и за нас, вопросы начали задавать: очень им хотелось узнать, почему это мы и плот укрываем, и сами днем прячемся вместо того, чтобы плыть – уж не беглый ли Джим? А я говорю:

– Господи-боже! Да разве беглый негр побежал бы *на юг* ?

Они согласились: нет, на юг не побежал бы. Нужно было придумать для них какое-то объяснение, ну я и начал:

– Наша семья в Миссури жила, в Пайке, там я и родился, а родные мои почти все перемерли, только и остались что я, да папа, да братик Айк. И папа решил бросить те места, спуститься вниз и поселиться у дяди Бена, у которого свой домик около реки, милях в четырех ниже Орлеана. Однако папа был бедный, еще и долгов понаделал, и когда он по ним расплатился, у нас осталось всего-навсего шестнадцать долларов да наш негр, Джим. На такие деньги четырнадцать сотен миль не проплывешь, ни на палубе, ни еще как. Но только, когда паводок начался, папе удача улыбнулась – он вот этот плот в реке выловил, и мы сообразили, что сможем на нем до Орлеана спуститься. Правда, удача ему улыбалась недолго, потому как однажды ночью столкнулись мы с пароходом, и тототломал у нашего плота нос, а мы все попрыгали за борт и нырнули, чтобы подколесо не попасть. Я и Джим, мы-то вынырнули, ну а папа пьяненький был, а брату моему, Айку, только-только четыре года стукнуло, ну оба они

на дне и остались. Вот, а в следующую пару дней нам просто проходу не давали, то и дело подплывали в лодках люди и пытались отнять у меня Джима, говорили, что он, наверное, беглый. Ну мы и перестали днем на реке показываться, ночью-то к нам цепляться некому.

Герцог говорит:

– Ладно, дайте мне время, а уж я соображу, как нам устроиться, чтобы можно было и днем плыть, если охота придет. Обдумаю это дело как следует и разработаю план, который все уладит. А сегодня на острове посидим, потому что проплывать мимо здешнего городишки при свете дня – это, знаете ли, здоровью вредить.

Ближе к ночи небеса затянуло тучами и стал собираться дождь: по краю неба то и дело полыхали зарницы, листья на деревьях затрепетали, – ясно было, что гроза надвигается не шуточная. Так что герцог с королем залезли на плот, чтобы осмотреть наш шалаш, выяснить, какие там постели. Я-то спал на соломенном тюфяке, а вот у Джима постель была похуже – тюфяк, набитый обвертками кукурузных початков, а в таком непременно кукурузные кочерыжки попадают, и они впиваются человеку в бока, а стоит ему повернуться, обвертки шуршат, точно он по грядке сухой листвы катается, – шум стоит такой, что человеку заснуть никак не возможно. Ну и вот, герцог решил, что он на моем тюфяке спать будет, однако король с ним не согласился. Говорит:

– По моим понятиям, различие наших санов предполагает, что спать на кукурузном тюфяке мне не к лицу. Его надлежит занять вашей милости.

Мы с Джимом испугались, думаем, сейчас они переругаются, и потому сильно обрадовались, когда герцог сказал:

– Такова моя участь – быть втоптаным в грязь железной пятой тирании. Несчастья сломили мой высокий некогда дух. Я уступаю вам, я покоряюсь – такова, повторяю, участь моя. Я одинок в этом мире, страдание мой удел, и я готов сносить его.

Как только стемнело, мы отплыли. Король велел нам держаться середины реки и не зажигать огня, пока мы не уйдем от городка подальше вниз. Скоро показалась горстка огней – городок, понятное дело, – мы прошли примерно вполовину от него. Спустившись на три четверти мили, мы вывесили сигнальный фонарь, а около десяти началась гроза – ветер, гром, молнии, все, как полагается, – и король приказал нам нести вахту, пока погода не наладится, а сам заполз вместе с герцогом в шалаш и спать завалился. Моя вахта начиналась после двенадцати, однако я не стал бы спать, даже если бы моя постель осталась свободной, потому как такие бури не каждый день случаются и даже не раз в неделю, что нет, то нет. Господи, как же был тогда ветер! И через каждую секунду-другую ослепительный свет обливал беляки на полмили вокруг, и мы различали посеревший от дождя остров и деревья, мотавшиеся на ветру; а после – *хрясь!* и – бум! бум! бум-бурум-бу-бум-бум-бум – гром, рокоча, раскатывался по небу и затихал и тут же – *рррраз!* – новая молния и новый громовый удар. Время от времени, через плот перекачивалась, едва не смывая меня, волна, но я же все равно голый был и потому ничего против не имел. А топляков да коряг мы не боялись – молния сверкала, пролетая по небу, так часто, что мы замечали их достаточно рано для того, чтобы отвернуть плот в ту или в эту сторону и проскочить мимо.

Я уже говорил, моя вахта приходилась на середину ночи, но меня к тому времени до того в сон клонить стало, что Джим вызвался отстоять первую ее половину, – на Джима в таких делах всегда положиться можно было. Я заполз в шалаш, однако король с герцогом до того там раскорячились, что мне пристроиться было негде, ну я и лег снаружи – дождь меня не пугал, он же теплый был, а волны шли уже не такие высокие. Правда, около двух они опять разгулялись, и Джим даже хотел разбудить меня, но передумал, решив, что они все-таки ничего мне не сделают. Вот тут он ошибся, – очень скоро накатил самый настоящий вал исмыл меня за борт. Джим чуть не помер со смеху. Я, кстати сказать, другого такого смешливого негра отродясь не встречал.

Я встал на вахту, а Джим улегся да тут же и захрапел, а там гроза понемногу стихла и, как только показался первый домишко, в котором уже зажгли свет, я разбудил Джима, и мы

завели плот в укромное место, чтобы переждать там день.

После завтрака король вытащил колоду старых, дрянненьких карт и они с герцогом уселись играть в «семь очков», по пять центов за кон. Однако вскоре карты им надоели, и они решили «разработать план кампании», как это у них называлось. Герцог порылся в своем саквояже, вытащил стопку печатных афишек и начал зачитывать их вслух. В одной говорилось, что «Прославленный доктор Арман де Монтаблан из Парижа» прочтет в таком-то месте «лекцию о френологической науке», такого-то (пробел) числа, такого-то (пробел) месяца, вход десять центов; а также «за двадцать пять центов начертит каждому желающему схему его натуры». Герцог сказал, что это он и есть, прославленный доктор. Еще одна афишка обращала его во «всемирно известного шекспировского трагика, Гаррика Младшего, из театра Друри-Лейн, Лондон». В других он носил другие имена и совершал всякие другие чудеса, например, отыскивал воду и золото с помощью «волшебной лозы», «снял заклятия ведьм» и прочее. В конце концов, он и говорит:

– Однако ближе всего мне муза театра. Вы когда-нибудь выходили на сцену, а, величество?

– Нет, – отвечает король.

– Ну, ничего, скоро выйдете, ваше павшее величество, и трехднев не пройдет, – говорит герцог. – В первом же городке, какой нам подвернется, мы снимем зал и покажем поединок на мечах из «Ричарда Третьего» и сцену убалкона из «Ромео и Джульетты». Как вам такая мысль?

– Я, Билджуотер, всегда готов на любое дело, лишь бы оно денежки приносило, но, понимаете, я ж ни аза в комедиантстве не смыслю, да и в театре почти не бывал. Когда мой папа устраивал представления в нашем дворце, я еще слишком мал был. Как полагаете, сможете вы меня обучить?

– С легкостью!

– Ладно. Меня давно уж подмывает освоить что-нибудь новенькое. Давайте сейчас и начнем.

Ну, герцог объяснил ему, кто такой Ромео, а кто Джульетта, искажал, что он привык к роли Ромео и потому Джульетту придется изображать королю.

– Но ведь, если Джульетта такая молоденькая девица, герцог, моя лысина и баки могут показаться людям странными.

– А, не волнуйтесь, здешние деревенские олухи об этом и не задумаются. И потом, знаете, вы же будете в костюме, а он все меняет. Джульетта стоит на балконе, наслаждается, перед тем, как в кроватку улечься, лунным светом, на ней ночная рубашка и ночной чепчик с оборочками. Вот они, костюмы-то.

И он вытащил из саквояжа три костюма из занавесочного ситчика – два, по его словам, изображали средневековые доспехи Ричарда III и того малого, с которым он подрался, а третий – длинную белую ночную сорочку из коленкора, к которой прилагался белый же чепчик соборочками. Королю костюмчик понравился. Герцог достал книжку и прочитал всю сцену – роскошным таким голосом, и при этом расхаживал гоголем по плоту, играя обе роли сразу, чтобы король понял, как оно делается, а после отдал ему книжку и велел вызубрить его роль наизусть.

За излучкой, милях в трех от нее, обнаружился захудалый городишко, и после обеда герцог сказал, что придумал, как нам плыть при светедня, не подвергая Джима опасности, и нужно только заглянуть в городок, чтобы все это обделать. Король решил ехать с ним, посмотреть, не подвернется ли какое прибыльное дельце. А поскольку у нас вышел запас кофе, Джим сказал, что хорошо бы и мне сплавать с ними в челноке и разжиться новым.

Приплыв в городок, мы не обнаружили никакого дыхания жизни; улицы его словно вымерли – пустые, тихие, как по воскресеньям. Наконец, отыскали мы на задворках большого негра, гревшегося на солнышке, и тот сказал, что все, кто не слишком мал, болен или стар, отправились на молитвенное собрание, происходившее милях в двух оттуда, в лесу. Король выспросил у негра, как туда добраться, и сказал, что, пожалуй, сходит, посмотрит, что там у них за собрание, и мне с ним пойти разрешил.

А герцог заявил, что ему нужна печатня. И он ее нашел идовольно скоро – над столярной мастерской: столяры, наборщики и прочие, всеушли на собрание, а двери в городишке, похоже, никогда не запирались. Печатня была грязная, замусоренная, на стенах, покрытых пятнами типографской краски, висели объявления с портретами лошадей и беглых негров. Герцог стянул с себя сюртук и сказал, что теперь он в своей стихии. Ну, а мы с королем отправились на молитвенное собрание.

Добрались мы туда примерно за полчаса – мокрыми от пота, потому что день был жуть какой жаркий. И увидели около тысячи человек, съехавшихся со всей округи, некоторые аж за двадцать миль притащились. В лесу куда ни глянь – повозки, фургоны, лошади, кормящиеся из корыт и перебирающие ногами, чтобы отогнать мух. Кое-где стояли навесы – четыре кола и кровля из веток, – под ними шла торговля лимонадом и пряниками, лежали груды арбузов, молодых кукурузных початков и прочего добра в этом роде.

Проповеди произносились под такими же навесами, только эти были побольше и вмещали много народа. Здесь стояли скамьи, сколоченные из горбыля, – по краям в нем просверлили дыры, а в них вбили палки, вот и получились ножки. Спинок у скамей не имелось. Проповедникам отводились высокие помосты, сооруженные на одном из концов каждого навеса. Женщины были в соломенных шляпках, некоторые в сермяжных платьях, некоторые в бумазейных, а некоторые, совсем молоденькие, в коленкорových. Среди молодых мужчин попадались такие, что пришли сюда босиком, кое-кто из детишек был в одних только холщовых рубахах. Из старух многие вязали, а из молодых многие украдкой строили друг дружке глазки.

Под первым навесом, к которому мы подошли, проповедник читал гимн. Выкрикнет две строчки и все их тут же споют; получалось у них здорово, приятно было слушать, – так много людей и поют с таким воодушевлением; а проповедник тут же выкрикивал следующие две, и их тоже выпевали, ну и так далее. Люди расходились все пуще, пели все громче, так что под конец гимна кто-то уже стонал и плакал, а кто-то просто вскрикивал. Тогда проповедник приступил к проповеди приступил не на шутку; он подскакивал то к одному боку помоста, то к другому, а после к самому краю, и склонялся над толпой, руки и тело его постоянно пребывали в движении, слова он выкрикивал во все горло, а иногда поднимал перед собой Библию, раскрывал ее и поворачивал туда-сюда, вроде как всем напоказ, крича: «Вот он, медный змий в пустыне! Взгляни на него и останешься жив [ИСБ1]!». И люди кричали в ответ: «Слава! Аминь!». А проповедник все продолжал, и многие уже стонали, и плакали, и повторяли «аминь»:

– О, придите на скамью скорбящих! придите, черные от греха! (Аминь!) придите, недужные и обиженные! (Аминь!) придите, увечные, хромые и слепые [ИСБ2]! (Аминь!) придите, бедные и нищие, погрязшие в грехе! (Аминь!) придите, изнуренные, и нечистые, и страждущие! – придите, унылые духом [ИСБ3]! придите, сокрушенные сердцем [ИСБ4]! придите в рубище, грехе и грязи! воды очищения ждут вас, дверь отверста на небе [ИСБ5] – о! вступите в нее и узнайте покой! (Аминь! Слава, слава, аллилуйя!).

Ну и так далее. Разобрать слова проповедника было уже невозможно из-за воплей и рыданий. Повсюду в толпе люди вскакивали на ноги и изо всех сил, с текущими по щекам слезами, пробивались к скамье скорбящих; а когда все передние скамьи заполнились скорбящими, они запели, зарыдали, стали по соломе кататься – бедлам да и только.

Ну вот, я и глазом моргнуть не успел, как и король вопить принялся, да еще и громче всех, а после пробился к помосту и стал упрашивать проповедника, чтобы тот позволил ему обратиться к народу, – тот и позволил. И король стал рассказывать, как он был пиратом – тридцать лет пиратствовал повсему Индийскому океану, – и как прошлой весной его команда почти вся полегла в сражении, и он вернулся на родину, чтобы набрать новых людей, а нынешней ночью его, слава Всевышнему, обобрали и посадили с парохода на берег без цента в кармане, но он этому только рад; это, дескать, самая большая радость из тех, какие когда-либо выпадали ему на долю, потому что теперь он стал другим человеком и счастлив впервые в жизни, и хоть он наг и нищ, но прямо сию минуту отправится назад, на Индийский океан, и

посвятит остаток жизни стараниям наставить пиратов на путь истинный; ибо он может делать это лучше любого другого, потому как знаком со всеми пиратскими шайками океана; и хоть без денег добираться туда ему придется долго, но он все равно отправится в путь и каждый раз, обратив пиратов в истинную веру, будет говорить ему: «Не благодари меня, я этого не заслужил, все заслуги принадлежат славным жителям Поквилля [ИСББ], устроившим молебное собрание, – побочным братьям и благодетелям рода человеческого, – и вот этому славному проповеднику, лучшему другу пиратов!»

Тут он залился слезами и все остальные тоже. Потом кто-то закричал: «Давайте устроим для него сбор, давайте сбор устроим!». С полдюжиной людей повскакало на ноги, чтобы начать собирать деньги, но тут кто-то еще крикнул: «Пусть лучше *он* обойдет нас с шляпой!». Все согласилось с этими проповедник тоже.

Ну, король и обошел всю толпу, промокая шляпой глаза и благословляя, и превознося, и благодаря людей за их доброту к далеким, бедным пиратам; и время от времени самые хорошенькие девушки, по щекам которых катили слезы, подходили к нему и просили дозволения поцеловать его на память, и он каждый раз дозволял, а некоторых даже сам обнимал и целовал раз по пять, по шесть, – а потом ему предложили остаться в городке на неделю, и все наперебой стали просить его пожить в их домах, говоря, что сочтут это за честь, однако король отвечал, что, поскольку сегодня последний день молитвенного собрания, он уже никакой пользы принести здесь не сможет, а кроме того, ему не терпится поскорее отправиться на Индийский океан и приступить к трудам своим среди пиратов.

Когда мы вернулись на плот и король сосчитал выручку, оказалось, что он огреб аж восемьдесят семь долларов и семьдесят пять центов. Да он еще и увел из-под какого-то фургона – пока мы лесом назад шли – трехгаллонную бутылку виски. Король сказал, что, с какой стороны ни взгляни, а это был лучший из дней его миссионерской деятельности. Сказал, что, когда подворачивается случай облапошить молитвенное собрание, туземцы по сравнению с пиратами – это просто как нет ничего.

Герцог-то полагал, что это *он* заработал хорошие деньги, но после возвращения короля мнение свое изменил. Он набрал и отпечатал для фермеров два маленьких объявления о продаже лошадей и содрал с них четыре доллара. А кроме того, набрал на десять долларов объявлений для газеты и сказал, что возьмет за них те же четыре доллара, если ему заплатят вперед – и ничего, заплатили. Подписка на газету стоила два доллара в год, однако герцог принял три подписки, взяв по полдоллара, и все на тех же условиях – деньги вперед; сним хотели расплатиться, как оно заведено, дровами и луком, но он сказал, что пару дней назад приобрел концерт и теперь нуждается в наличности, потому и снизил стоимость подписки до последних пределов. А еще он набрал маленький стишок, который сам сочинил, из головы – три строфы, красивые такие и грустные, – назвался стишок «Топчи же, хладный мир, страдающее сердце», – и оставил весь набор в типографии, хоть сейчас в газете печатай, совсем ничего за это не взяв.

Следом он показал нам еще одно объявление, которое отпечатал опять-таки задаром, потому что оно предназначалось для нас. Это была картинка, изображавшая беглого негра, который нес на плече палку с привязанным к ней узелком, под негром значилось: «Награда 200 долларов». А все приметы беглеца относились к Джиму и описывали его точка в точку. В объявлении было сказано, что он прошлой зимой сбежал с плантации Сент-Жак, находящейся на сорок миль ниже Нового Орлеана, и, скорее всего, направляется на север, а всякий, кто изловит его и привезет назад, получит вознаграждение, плюс оплату всех расходов.

– С завтрашнего дня, – говорит герцог, – мы сможем плыть иднем, коли нам захочется. А если увидим, что к нам кто-то направляется, так всегда успеем связать Джима веревкой по рукам и ногам, засунуть его в шалаш, показать это объявление и сказать, что поймали его в верховьях реки, а сами мы люди бедные, денег на пароход у нас нет, вот мы и заняли плот у друзей и теперь плывем за наградой. Конечно, цепи и кандалы смотрелись бы на Джима куда лучше, однако они не вязались бы с нашими уверениями в бедности. Примерно как драгоценные украшения. А веревки сойдут в самый раз, – следует выдерживать единство

стиля, как говорим мы, артисты.

Все мы сказали, что герцог это очень умно придумал – и вправду ведь, теперь можно будет и днем плыть. И решили, что лучше уйти этой ночью на столько миль, на сколько удастся, от городка – от шума, который наверняка наделает в нем работа герцога в печатне, – а потом можно будет плыть, когда нам захочется.

Затаились мы в зарослях и до десяти вечера носу из них невысовывали, а после поплыли, держась подальше от городка, и, пока он не скрылся из виду, даже фонарь не вывешивали.

Когда Джим в четыре утра позвал меня на вахту, то спросил:

– Как по-твоему, Гек, много нам еще королей по пути подвернется?

– Нет, – отвечаю, – это навряд ли.

– Ну и хорошо, – говорит он, – и правильно. Два-три короля оно еще куда ни шло, но больше – нет уж, спасибо. Этот-то наш уж больно надираться горазд, да и герцог не многим лучше.

Оказывается, Джим попросил короля поговорить с ним по-французски, хотел послушать, на что это похоже, а тот сказал, что уже очень давно живет в нашей стране и столько изведаль бед, что весь французский язык забыл насовсем.

Глава XXI. Как улаживались разногласия в штате Арканзас

Солнце уже поднялось, но мы так и плыли, не привязывая плот. Король с герцогом вылезли из шалаша, вид у них был сильно помятый, однако они прыгнули в воду, поплавали – и ничего, очухались. После завтрака король стянул себя сапоги, закатал бриджи, уселся на угол плота, с удобством свесив ноги в воду, раскурил трубочку и принялся заучивать наизусть сцену из «Ромео и Джульетты». А когда вызубрил ее, они с герцогом стали упражняться. Герцог пришлось снова и снова показывать королю, как положено произносить каждое слово, как вздыхать, как прикладывать руку к сердцу – и, в конце концов, герцог сказал, что у короля получается ничего себе; «только, – говорит, – не мычите вы, как бык, “Ромео!” – это нужно произносить мягко, томно, будто вы заболели чем, вот так – “Роме-е-е!” – понятно? Потому что Джульетта еще дитя, милейшая девочка, и реветь на ослиный манер ей совсем не к лицу».

Ну вот, а следом они взялись за два длинных меча, которые герцог из дубовых реек выстругал, и принялись разыгрывать поединок, герцог сказал, что он будет Ричардом III; и так уж они скакали по всему плоту и лупцевали друг друга – любо-дорого было глядеть. В конце концов, король споткнулся и сверзился за борт, и после этого они отдыхали, рассказывая друг другу о приключениях, которые пережили в прежние времена на реке.

Герцог, как отобедал, говорит:

– Ну что, Капет, нам нужно дать представление первостатейное, соображаете? А для этого, как я понимаю, придется еще кой-чего добавить. Что-нибудь эффектное, для бисов.

– Для каких таких бесов, Билджуотер?

Герцог объяснил, для каких, а потом говорит:

– Я могу исполнить танец шотландского горца или матросский перепляс, а вы – так, дайте подумать, – вы можете выдать им монолог Гамлета.

– Чего Гамлета?

– Монолог, неужто не знаете? Самая прославленная у Шекспира вещь. Ах, какая возвышенность, какая возвышенность! Любого за душу берет. Книжки, в которой он напечатан, у меня при себе нет – я только один том из собрания прихватил, – но, думаю, я смогу его припомнить. Вот сейчас похожу минутку по палубе, посмотрю, удастся ли мне извлечь его из могильных склепов моей памяти.

И он начал расхаживать взад-вперед, размышляя, и время от времени мрачней самым страшным образом, а то еще стискивал ладонью лоб, иотшатывался и выпускал стон, а после вздыхал и даже слезу ронял. Наблюдать заним было одно удовольствие. В конце концов, он все вспомнил и потребовал от нас внимания. А затем встал в самую что ни на есть благородную позу – выставил вперед ногу, руки перед собой вытянул, голову назад откинул, чтобы видеть небеса; да как заревет, с надрывом, как зубами заскрежест, – и давай

витийствовать, подвывая и выпячивая грудь; короче говоря, всех актеров, каких я до того видал, герцог просто-напросто за пояс заткнул. Вот она, его речь – я довольно быстро заучил ее, пока герцог натаскивал короля [ИСБ7] :

Быть или не быть; вот он, удар
Простого шила, [ИСБ8] вот что удлиняет
Несчастьям нашим жизнь на столько лет; [ИСБ9]
Иначе, кто бы стал тащить сей груз, [ИСБ10]
Пока не двинулся Бирнамский лес на Дунсинан? [ИСБ11]
Нет, ужас перед чем-то после смерти [ИСБ12]
Наш режет сон, невинный сон, на пире жизни –
Второе испытание из блюд [ИСБ13] ,
Внушая нам скорее [ИСБ14] мысль метать
Пращи и стрелы ростной судьбы [ИСБ15] ,
Чем бегством к незнакомому стремиться [ИСБ16] .
И довод сей удерживает нас [ИСБ17] :
Дункана будит стук! Пусть разбудил бы [ИСБ18] !
Ведь кто бы снес бичи и глум времен,
Презренье гордых, притеснение сильных,
Закона леность и большой покой [ИСБ19] ,
Который нам страдания причиняют
Среди мертвой беспардонности ночной [ИСБ20] ,
Когда кладбище открывает зев [ИСБ21] ,
Все в черноту печального наряда [ИСБ22] ?
Но это – неоткрытая страна, из чьих пределов
Доныне путник ни один не возвращался [ИСБ23] .
Она заразой дышит в этот мир [ИСБ24] ,
Могучая решимость остывает [ИСБ25] ,
Вот как у бедной кошки в поговорке. [ИСБ26]
Когда мы начинаем хлопотать [ИСБ27] ,
Нависшие над нашей крышей тучи [ИСБ28] ,
Сворачивая в сторону свой ход,
Теряют имя действия [ИСБ29] . И это ль
Не цель желанная [ИСБ30] ? О да. Но тише, Офелия [ИСБ31] !
Сомкни свой тяжкий мраморный оскал [ИСБ32]
И топай в монастырь – да поскорее!

Ну что же, старику речь понравилась и очень скоро она у него от зубов отскакивала. Он словно для нее и родился; когда король начинал декламировать и раззадоривался всерьез, на него налюбоваться было нельзя, – так лихо он рвал и метал, так рычал и ревел.

Герцог при первой же подвернувшейся возможности напечатала афиши, и в следующие два-три дня мы просто плыли, а на плоту дым стоял коромыслом – сплошные поединки на мечах да репетиции, как называл их герцог. Как-то поутру, когда мы совсем уж углубились в штат Арканзас, впереди завиделся стоявший на большой излучке городок, ну, мы и причалили, не дойдя до него три четверти мили, в устье ручья, походившего на туннель, пробитый среди кипарисов, и все, кроме Джима, погрузились в челнок и пошли вниз – посмотреть, неподвернется ли случай показать наш спектакль.

Выяснилось, что нам здорово повезло, – после полудня в городке должен был дать представление цирк, и окрестные жители уже начали съезжаться сюда в разномастных обшмыганных фургонах, а то и просто верхом. К ночи цирк уезжал, так что у нашего спектакля имелись хорошие шансы на успех. Герцог снял здание суда, и мы прошлись по городку, расклеивая афиши. Выглядели они так:

Возрождение Шекспира!!!
Дивно притягательное зрелище!

Толькоодно представление!
Всемирноизвестные трагики Дэвид Гаррик Младший [1],
из театра Друри-Лейн, Лондон,

и

Эдмунд Кин старший [2]

из королевского театра «Хеймаркет»,

Уайтчепел, Пуддинг-лейн, Пиккадилли,[3]Лондон,

и Королевских континентальных театров

в их возвышенном Шекспировском Спектакле под названием

Сцена у Балкона

из

«Ромео и Джульетты»!!!

Ромео.....мистер Гарик.

Джульетта..... мистер Кин.

Впредставлении принимает участие вся труппа!

Новыекостюмы, новые декорации, новое распределение ролей!

Атакже:

Захватывающий,мастерски исполненный и леденящий кровь

Поединок на мечах

из «Ричарда III»!!!

РичардIIIмистер Гарик.

Ричмонд.....мистер Кин.

А также:

(по просьбезрителей)

Бессмертный монолог Гамлета!!

в исполнении блистательного Кина!

300раз подряд зачитанный им в Париже!

Попречине срочного отъезда на европейскую гастроль
спектакльдается всего один раз!

Входнойбилет – 25 центов; дети и прислуга – 10 центов.

А после мы просто послонялись по городку. Почти все его домаи лавки его были старыми, замызганными, разохшимися и испокон века некрашенными; они стояли на сваях

высотой фута в три, в четыре, – это чтобы река, когда она разливается, не затопляла их. При домах имелись огородики, однако всем, что они производили на свет, были, похоже, дурман с подсолнухом, кучи золы, скукожившиеся от старости сапоги с башмаками, осколки бутылок, тряпье да всякие пришедшие в негодность жестянки. Заборы были сколочены из разнокалиберных досок, прибитых в разное время; каждый клонился куда мог, а калитки, если такие вообще имелись, висели на одной петле – кожаной. Некоторые из заборов когда-то белили, но очень давно – герцог сказал, что, скорее всего, при Колумбе. Почтиво всех огородиках рылись свиньи, а владельцы домов старались их оттуда вытурить.

Все лавки городка стояли вдоль одной улицы. Перед дверьми их были сооружены полотняные навесы, к подпоркам которых приезжие сельские жители привязывали лошадей. Под навесами валялись ящики из-под гвоздей, и на этих ящиках просиживали день-деньской тутошные лоботрясы, кромсая их ножичками «Барлоу», жуя табак, глаза по сторонам, зевая и потягиваясь – народ препустейший. Почти все были в соломенных шляпах шириною в зонт, но обходились без сюртуков и жилеток; называли они друг друга: Билл, Бак, Хэнк, Джо, Энди, а говорили этак лениво, в растяжку, то и дело вставляя в свои речи скверные слова. Почти у каждого навесного столба торчал, прислонясь к нему, самое малое один лоботряс – руки он непременно держал в карманах штанов, вытаскивая их лишь для того, чтобы почесаться или ссудить другому лоботрясу жвачку табаку. Затесавшись среди них, ты только и слышал, что:

– Дай табачку пожевать, Хэнк.

– Не могу, у меня только на раз и осталось. Попроси у Билла.

Ну а Билл мог дать попрошайке табачку, а мог соврать, сказав, что ничего у него нету. Кое-кто из лоботрясов сроду ни цента в руках не держал, ни собственного табака не имел. И жевал только то, что удавалось выклянчить у таких же, как сам он, обормотов: «Ссудил бы ты мне одну жвачку, Джек, я вот сейминут отдал Бену Томпсону мою последнюю» – и это было, как правило, чистой воды враньем, способным одурачить лишь случайно забредшего сюда чужака, а Джек чужаком не был и потому отвечал:

– Так прям и отдал, это *ты-то* ? Еще, небось, сестра кошкиной бабушки прибежала и тоже ему дала. Ты лучше верни мне, Лейф Бакнер, все жвачки, какие у меня одалживал, тогда я тебе тонну табака ссужу, а то и две, и даже расписки с тебя никакой не возьму.

– Так я ж вернул один раз.

– Ага, вернул, – жвачек этак шесть. Занимал-то, небось, табачок покупной, а вернул черт знает что, тютюн.

Покупной – это такая плоская черная плитка, однако здешняя шатия жевала все больше свернутые в жгуты табачные листья. А если у кого из них заводилась плитка, то заимствуя порцию, они обычно не отрезали ее ножом, как это обычно делается, а впивались в плитку зубами и тянули руками изо рта, пока она надвое не переломится, и тогда хозяин плитки принимал скорбный вид и, получая ее назад, саркастически произносил:

– Ну кончено, «дай мне жвачку – а себе оставь *подначку*» .

Все улицы и проулки городка были затоплены грязью; ничего, *кроме* черной, как деготь, грязи на них не наблюдалось – кое-где она была в футглубиной, а во *всех* прочих местах в два-три дюйма. И почти повсюду в ней валялись, лениво похрюкивая, свиньи. Смотришь, бредет по улице чумазая свинья-мамаша с выводком поросят, бредет-бредет, да как плюхнет в аккураттам, где люди ходят, так что ее огибать приходится, да еще растянется во всю длину, глаза закроет и ушами прядает, а поросята ее сосут, и рыло у нее при этом такое довольное, точно ей сию минуту жалование выплатили. И скоро ты слышишь, как кто-то из лоботрясов орет: «Эй, Тигра! Ату ее, ату!»), а затем свинья удирает, визжа как резаная, и на каждом ее ухе по собаке висит, если непо две, да еще три-четыре десятка уже на подходе, а лоботрясы все как один вскакивают на ноги и смотрят ей вслед, пока она из глаз не скроется, и хохочут, страх как довольные, что шума наделали. А потом снова усаживаются и сидят, пока собаки не передерутся. Ничто на свете не оживляет их и не приводит в такой восторг, как собачья драка – кроме, конечно, возможности облить бродячего пса скипидаром и поджечь или привязать к его хвосту жестяную банку и любоваться нато, как он носится по улицам, пока не издохнет.

Некоторые из приречных домов выступали за край берегового обрыва – покосившиеся, кривые, готовые рухнуть вниз. Эти уже пустовали. У других река подмыла только один из углов, тоже торчавший наружу. В таких людях еще жили, но в постоянной опасности, потому что иногда целый пласт земли вдом шириной сползал вниз. Порою река подмывала берег на протяжении четверти мили – подмывала и подмывала, и в какое-нибудь лето случался оползень. Городишкам вроде этого приходится все время отступать назад, назад и назад от реки, потому что она без устали грызется в землю, на которой они стоят.

С приближением полудня на улицах стало совсем тесно от фургонов и лошадей, а они все продолжали прибывать. Семьи привезли с собой с ферм еду и угощались ею прямо в фургонах. Ну и виски тоже лилось рекой, и я уже увидел три драки. А потом вдруг кто-то закричал:

– Старикан Боггс прискакал! Сегодня ж день его ежемесячной пьянки – вон он едет, парни!

Лоботрясы обрадовались; я так понял, что они привыкли потешаться над Боггсом. Один говорит:

– Интересно, кого он на этот раз укокошить собирается. Кабы он поубивал всех, кого грозился прикончить в последние двадцать лет, у него нынче рупетация была бы – ого-го!

А другой:

– Вот бы старина Боггс *мне* пригрозил, тогда б я точно еще тыщу лет прожил.

И тут появляется скачущий на лошади, ухающий и вопящий, точно индеец, Боггс – появляется и орет:

– Все с дороги! Я вышел на тропу войны, вот-вот гробы подорожают!

Лет ему было за пятьдесят – пьяный, багроволицый, нетвердосидевший в седле. Все кричали на него, смеялись, поносили по-всякому, ну и он вдолгу не оставался, говорил, что займется ими и всех уложит, до одного, когда придет их черед, а сейчас ему некогда, потому как он приехал в город, чтобы прикончить старого полковника Шерберна, а его девиз: «Делу время, потехе час».

Увидел он меня, подъехал и говорит:

– Зря ты забрел сюда, мальчик. Теперь готовься к смерти.

И поскакал дальше. Я испугался, однако какой-то мужчина сказал мне:

– Не обращай внимания, он как напьется, всегда такую чушь несет. Самый что ни на есть добрый старый дурак во всем Арканзасе – комара не обидит, что трезвый, что пьяный.

А Боггс подскакал к самой большой в городке лавке, склонился к лошади, чтобы под навес заглянуть, и заорал:

– Выходи, Шерберн! Посмотри в глаза человеку, которого ты надул. Я по твою душу приехал, больше тебе не жить!

И пошел, и пошел, обзывая Шерберна всеми словами, какие ему на язык подворачивались, а люди, уже заполнившие улицу, слушали его, хохотали да подзуживали. Наконец, из лавки вышел горделивый такой мужчина лет пятидесятипяти, одетый, надо вам сказать, лучше всех в этом городишке, толпа расступалась перед ним. И говорит он Боггсу – спокойно и неторопливо:

– Мне это надоело, однако до часа дня я потерплю. Помните, до часа, не дольше. И если вы после этого времени скажете на мой счет хоть слово, я вас и под землей найду.

Он повернулся и ушел в лавку. Толпа вроде как даже протрезвела – все замерли, нигде ни смешка. Боггс ускакал по улице, во все горло браня Шерберна, но очень скоро вернулся и опять остановился перед лавкой, продолжая сквернословить. Вокруг него собралась небольшая толпа мужчин, уговаривавших его замолчать, однако Боггс их не слушал; ему говорили, что до часа дня осталось минут пятнадцать, что он *должен* уехать домой – сейчас же. Без толку. Он лишь ругался во все горло, и бросил свою шляпу в грязь, и проскакал по ней, и скоро опять понесся, неистовствуя, по улице, и седые волосы его летели по ветру. Кто только ни пытался убедить Боггса слезть с лошади, – эти люди надеялись, что им удастся посадить его под замок и продержать там, пока он не протрезвеет; однако и у них ничего не вышло, он снова прискакал к лавке Шерберна, чтобы еще раз обложить его последними словами. Наконец, один

человек и говорит:

– Сбегайте за его дочерью! – да побыстрее. Приведите сюда его дочь, ее он иногда слушается. Если кому и удастся его урезонить, так только ей.

Ну, кто-то побежал за дочерью. А я отошел немного по улице и остановился. Минут через пять снова появился Боггс, но уже на своих двоих. Он шел, пошатываясь, в мою сторону, с непокрытой головой, а по бокам от него шагали двое мужчин, держа его под руки и поторапливая. Он был тих, выглядел смущенным, не упирался и даже сам шагу прибавить не мог. И тут послышался окрик:

– Боггс!

Я обернулся, смотрю, – это полковник Шерберн. Он совершенно неподвижно стоял посреди улицы, подняв правую руку с пистолетом – не целясь, дуло в небо смотрело. И в ту же секунду я увидел бегущую девушку, и с ней двоих мужчин. Боггс оглянулся на окрик и его спутники тоже, однако они, увидев пистолет, сразу в стороны прыгнули, а пистолет начал опускаться – медленно, неуклонно, и оба курка его были уже взведены. Боггс выставил перед собой руки и говорит: «О Господи, не стреляйте!» И тут – бах! – первый выстрел, и Боггс отшатнулся назад, – бах! – второй, и он навзничь рухнул на землю, ударился об нее и раскинул руки. Девушка взвизгнула, подлетела к нему, упала на колени, плача и причитая: «Он убил его, он убил его!» Их сразу обступили люди, плотно так, плечом к плечу, шеи вытягивают, посмотреть им охота, а кто-то внутри этого круга отталкивает их и вопит: «Назад, назад! Дайте ему воздуха, воздуха дайте!».

А полковник Шерберн бросил пистолет на землю, развернулся на каблуках и ушел.

Боггса оттащили в маленькую аптеку, толпа так и волоклась за ним, теснясь, тут были едва ли не все жители городишки, ну и я тоже поспешил занять хорошее местечко у окна, совсем близкого к Боггсу, так что мне все было видно. Его опустили на пол, подсунули под голову толстую Библию, а другую, раскрытую, положили на грудь, но, правда, сначала на нем разорвали рубашку, и я увидел, куда вошла одна из пуль. Он раз десять тяжело вздохнул, поднимая и опуская Библию на груди, а после затих – умер. Дочь, кричавшую и плакавшую, оторвали от него и увели. Ей было лет шестнадцать – милая такая, нежная, но ужас до чего бледная и испуганная.

Ну вот, в самом скором времени у аптеки собрался весь город, люди пихались, давились, протискивались к окну, чтобы заглянуть вовнутрь, однако те, кто уже сгрудился у него, их не подпускали, и поднялся ропот: «Слушайте, вы уж посмотрелись, а торчите тут, точно к месту приросли, это ж неправильно и нечестно, дайте и другим поглядеть, у них тоже права есть не хуже ваших».

В общем, поднялась рюготня, и я убрался оттуда, ну их, думаю, еще передерутся. На улицах тоже людей было битком, и все такие взбудораженные. Каждый, кто видел, как все случилось, рассказывал об этом, и вокруг каждого народ толпился, вытягивая шеи и вслушиваясь. Один долговязый, тощий мужик с длинными волосами, в белой, сидевшей на его макушке, похожей на печную трубумеховой шапке, державший в руке трость с гнутой ручкой, указывал ею на местечко, где стояли Боггс и Шерберн, а люди гуськом таскались за ним, смотрели и кивали – поняли, дескать, – и наклонялись, упершись ладонями в бедра, глядя, как он землю тростью ковыряет; а после он встал на место Шерберна, вытянулся в струнку, насупил, шапку на глаза надвинул и как крикнет: «Боггс!» и, подняв трость в воздух, стал медленно опускать ее, и говорит: «Бах!», да этак отпрядывает назад и опять говорит: «Бах!» и валится наземь, навзничь. Те, кто видел, как дело было, сказали, что он все точка в точку изобразил. И с десяток мужчин вытащили свои бутылки и стали его угощать.

Ну вот, а после кто-то сказал, что хорошо бы Шерберна линчевать. И примерно через минуту все только об этом и говорили, и скоросбились в толпу и пошли, вопя, как ошалелые, и срывая все бельевые веревки, какие попадались им на пути, – чтобы, значит, было на чем его вздернуть.

Глава XXII. Почему сорвалось линчевание

Толпа повалила к дому Шерберна, улюлюкая и беснуясь, что твои индейцы, и каждый, кто оказывался на ее пути, спешил удрать, пока его не растоптали в лепешку, страшное было зрелище. Впереди бежали дети, визжаи тоже норовя убраться в сторонку; из всех выходивших на улицу оконывывались женщины, на каждом дереве сидело по негритенку, а то и не по одному, из-за каждого забора смотрели на улицу девицы и их ухажеры – впрочем, эти при приближении толпы от заборов отскакивали и тоже старались улизнуть от греха подальше. А замешкавшиеся на улице женщины и девушки разбежались кто куда, подвывая от ужаса.

Наконец, толпа добралась до палисада Шерберна, сбилась поплотнее – и орала при этом так, что вы бы и собственных мыслей не расслышали. От дома забор отделяли всего-то футов двадцать. Кто-то крикнул: «Ломай забор! Ломай его!». Люди начали отдирать и отламывать доски и забор рухнул, и толпа влилась во двор, точно волна.

Вот тогда Шерберн и вышел, держа в руке двустволку, на крышу своей маленькой передней веранды, и встал там, не произнося ни слова, совершенно спокойный, бесстрастный. Шум стих, волна слегка отхлынула назад.

Какое-то время Шерберн молчал, просто смотрел вниз. Тишина стояла такая, что жуть брала, очень неуютная была тишина. Шерберн неторопливо обводил толпу взглядом, кое-кто пытался переглядеть его, да ничего у них не получалось, они опускали глаза, и вид приобретали какой-то жуликоватый. Наконец, Шерберн издал смешок, не так чтобы приятный, ощущение от него осталось такое, точно ты откусил от краяхи кусок, а в нем песку полно.

И Шерберн заговорил, медленно и презрительно:

«Это ж надо, вы решили, что можете линчевать кого-то! Смешно. Решили, что вам хватит духу линчевать *мужчину* ! Вы полагаете, что, если вам достает храбрости вымазать смолой и вывалить в перьях несчастную падшую женщину, которую заносит сюда и за которую некому заступиться, то в вас довольно пороха, чтобы справиться и с *мужчиной* ? Да *мужчине* ничто не грозит и в руках тысячи таких, как вы, – если, конечно, на дворе день, а выне подобралась к нему со спины.

«Думаете, я вас не знаю? Отлично знаю, потому что я родился и вырос на Юге и жил на Севере; я знаю среднего человека, и тамошнего, и здешнего. Средний человек труслив. На Севере он разрешает любому желающему топтать его ногами, а возвратившись домой, молится, чтобы ему дано было смирение, позволяющее это сносить. А на Юге мужчина в одиночку останавливает среди беладня набитый средними людьми дилижанс и обирает их дочиста. Ваши газеты так часто называли вас храбрецами, что вы уверовали, будто храбрее вас нет на светелюдей – а вы храбры лишь *в той же* мере, в какой храбры другие народы, и не более того. Отчего ваши присяжные не вешают убийц? Да оттого, что боятся друзей повешенного, которые могут выстрелить им ночью в спину, а они именно так и *сделают* .

«И потому убийцу всегда оправдывают, а после, ночью, к нему приходит *мужчина* , за которым плетется сотня трусов в масках, или нчуется мерзавца. Ваша ошибка в том, что вы не прихватили с собой мужчину, этово-первых, а вторая ошибка – вы пришли не в ночное время и пришли без масок. Правда, вы привели с собой мужчину *половинного* – Бака Харкнесса, вон он стоит, если бы он вас не подначивал, вы бы одним только криком и ограничились.

«Вам же и идти-то сюда не хотелось. Средний человек не любит хлопот и опасностей. И вы не любите хлопот и опасностей. Но когда всего лишь половинка мужчины вроде Бака Харкнесса начинает орать: «Линчуемого! Линчуем!», вы не решаетесь отступить, опасаясь, что все поймут, кто вы, на самом деле, такие – *трусы* , и поднимаете крик, и цепляетесь за фалды полумужчины, и приходите, беснуясь, сюда, и клянетесь, что сейчас вы такое учините – небесам жарко станет. Нет на свете ничего презреннее толпы; и что такое армия, как не толпа? Солдаты идут в бой не из врожденной храбрости, но из той, которую внушает им мысль, что их много, и той, какую они перенимают у своих офицеров. Однако толпа, которую не возглавляет *мужчина* , незаслуживает и презрения. И теперь самое для вас

лучшее – это поджать хвосты и расползтись по вашим норам. А если вы и вправду решите кого-нибудь линчевать, так приходите ночью, как это принято у южан, приходите в масках и приведите с собой *мужчину*. И потому *идите прочь* – и половинку мужчины с собой заберите.

Он умолк, поднял перед собой левую руку, положил на нее двустолбик и взвел курки.

Толпа отпрянула, начала распадаться, люди побежали кто куда, и Бак Харкнесс за ними, и выглядел он довольно жалко. Я мог бы и остаться, да что-то не захотелось.

Я пошел к цирку, побродил вокруг него, а когда сторожка куда-то отлучилась, нырнул под край шатра. У меня была при себе двадцатидолларовая монета и еще кой-какие деньги, но я решил сэкономить – малоли когда они мне могут понадобиться, я ж и от дома далеко, и люди кругом сплошь чужие. Осторожность, она никогда не повредит. Я могу потратиться на цирк, если другого выхода нет, однако *сорить* деньгами – это уж нет, извините.

Цирк оказался первостатейный. Такое получилось роскошное зрелище, когда все артисты выехали на лошадях – попарно, джентльмен, а с ним леди, − мужчины в одних подштанниках и нижних рубашках, босые, безстремян и руками в бока упираются легко и свободно – человек двадцать их было, − а леди все румяные, одна другой краше, королевы да и только, платье каждой миллионы долларов стоит, никак не меньше, да еще и брильянтами обсыпано сверху донизу. Очень изысканная вышла картина, отродясь ничего красивей не видел. А после они друг за дружкой встали на седла и закружили по арене, покачиваясь плавно и грациозно, мужчины были все как один рослые, ловкие, осанистые, они кланялись во все стороны и головами только что потолка шатра не касались, а платья женщин, легкие, как розовые лепестки, шелковистые, плескались над их бедрами и каждая выглядела, как самый раскрепасный зонтик.

Они кружили все быстрее, быстрее, и пританцовывали, то одну ногу выбросят перед собой, то другую, лошади почти уж распластались по арене, распорядитель бегал вокруг центрального столба и кричал: «Гип! Гип!», а клоун кривлялся за его спиной; в конце концов все наездники побросали поводья, леди уперлись ручками в бока, джентльмены скрестили руки на груди, а лошади вдруг встали, склонились и опустили на передние колени! И наездники один за другим соскочили с них на арену и отвесили публике самый изысканный поклон, какой я когда-либо видел, а после убежали, и публика захлопала в ладоши и завопила чтобы было сил.

Вот, а после нам стали показывать самые настоящие чудеса, аклоун все это время такие шуточки откалывал, что зрители чуть не померли со смеху. Распорядитель ему слово, а клоун в ответ пять – и быстро, моргнуть не успеешь, и смешно до ужаса; уж и не знаю, как ему столько всего остроумного в голову приходило, да еще и в единый миг, и каждое слово к месту, я и поныне понять не смог, как оно у него получалось. Я бы, наверное, год тужился, а все равно ничего похожего не выдумал бы. Ну, тут на арену выскочил какой-то наклюкавшийся ядьяк и говорит, что он тоже хочет на лошади прокатиться, он, дескать, умеет это не хуже прочих. Циркачи заспорили с ним, попытались выставить на улицу, а он ни в какую, так что пришлось им представление прервать. Зрители орут на него, издеваются, а он разозлился, просто рвать и метать начал, люди, понятно дело, осерчали, кое-кто со скамеек повскакал и на арену полез, крича: «Дайте ему по зубам! вышвырните его!», а парочка женщин уже визжать начала. Но тут распорядитель сказал небольшую речь, он, дескать, надеется, что никаких беспорядков никто учинять не станет, и если этот джентльмен пообещает больше небезобразничать, ему позволят прокатиться на лошади, все равно ж он в седле и минуты не продержится. Все захохотали и согласились с распорядителем, и для этого дяденьки вывели на арену лошадь. Стоило ему взобраться на нее, как лошадь принялась брыкаться, и курбеты выделявать, и двое служителей вцепились в ее уздечку, чтобы она пьянчугу не сбросила, а тот обхватил лошадь обеими руками за шею, и при каждом ее скачке у ноги него аж в воздух взлетали, ну а зрители повскакали с мест, вопят и хохочут так, что у них слезы льют по щекам. Конечно, удержать лошадь служители не смогли, и она опрометью понеслась по арене, а забулдыга болтается у нее на шее, то с одной стороны свалится, так что у него ноги по земле волочатся, то с другой, – публика уже с ума почти посходила. Мне-то смешно не было, я весь дрожал от страха за дурака. Но скоро он все-таки хитрил усесться в седло и поводья

ухватить, хоть и качался по-прежнему из стороны в сторону; а потом вдруг поводья бросил, да как подскочит – и встал на седле! Лошадь так и несется во весь опор, точно из горячей конюшни спасается. А он стоит себе и стоит, и до того привольно, точно в жизни своей к рюмке неприкладывался, а после начал снимать с себя одежду и отбрасывать ее. И так быстро, что одна еще по воздуху летит, а он уж другую сдирает – всего их на нем семнадцать штук оказалось, не считая последней. Ну и вот, смотрим, стоит он все в седле, стройный, симпатичный, в таком ярком и красивом наряде, какой вам и во сне не приснился бы, а после ударил лошадь хлыстиком, и она остановилась, и на колени встала, и он соскочил на арену, поклонился, и ушел за кулисы, а публика аж взвыла от восторга и удивления.

Тут-то распорядитель понял, конечно, что его вокруг пальца обвели, и до того расстроился, что смотреть было жалко, ей-богу. Это ж один из этих артистов был! Придумал всю шуточку сам и слова о ней никому не сказал. Я-то себя тоже дураком чувствовал оттого, что на нее попался, но оказаться на месте распорядителя и за тысячу долларов не согласился бы. Не знаю, может и есть на свете цирки лучше того, но мне они пока что не попадались. По мне, так и этот достаточно хорош, если я его еще где увижу, ни одного представления не пропущу.

Ну вот, а вечером и *мы* дали представление, однако нанево от силы дюжина людей пришла – расходы *мы* покрыли, но и только. И они все время гоготали, герцог просто на стену лез от злости, да и разбрелись еще до окончания – все, кроме одного мальчишки, который заснул в зале. Герцог сказал, что арканзасские обалдуи не доросли до Шекспира, им подавай низменную комедию – если не чего похуже, так он это понимает. Ладно, говорит, придется приладиться к их вкусам. И на следующее утро он разжился где-то большими листами оберточной бумаги и черной краской и нарисовал несколько афиш, которые мы расклеили по городку. Афиши были такие:

ВЗДАНИИ СУДА!

Всего 3 спектакля!

Всемирноизвестные трагики

ДЭВИД ГАРРИК МЛАДШИЙ!

и

ЭДМУНД КИН СТАРШИЙ!

Из лондонских и континентальных

театров

в их душераздирающей трагедии
ЦАРСТВЕННЫЙ КАМЕЛОПАРД,

или

КОРОЛЕВСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО!

Вход 50 центов.

А внизу приписка:

ЖЕНЩИНАМИ ДЕТЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН!

№; Ну вот, №; сказал герцог, №; если их и эта приписка не пройдет, значит, я не знаю, что такое Арканзас!

Глава XXIII. Королевское непотребство

Ну вот, весь этот день король усердно трудился, прилаживая занавес, прибираясь на сцене и расставляя свечи вдоль ее края – это называется рампа; а к ночи в зал мигом набились мужчины. Когда ни одного свободного места в нем не осталось, герцог перестал продавать билеты и прошел от двери зала за кулисы, а после вышел на сцену, встал перед занавесом и произнес короткую речь, расхвалив в пух и прах трагедию, самую, дескать,

душераздирающую из всех, когда-либо сочиненных, ну и так далее, – сначала он распространялся о трагедии, а потом об Эдмунде Кине Старшем, которому предстоит сыграть в ней самую главную роль, и, как следует разогрев публику, поднял занавес, и на сцену сразу же выскочил, гарцуя на четвереньках, король – совершенно голый; и весь он был размалеван полосками самых разных цветов – ни дать, ни взять радуга. И...нет, обо всем остальном я рассказывать не буду – чушь полная, но дико смешная. Зрители помирали от хохота, а когда король ускакал за кулисы, взревели, захлопали ладоши, затопали ногами, заулюлюкали и не успокоились, пока он не вернулся и не проделал все еще раз, а там и еще. Ну, должен вам сказать, увидев штуки, которые выделывал старый идиот, и корова покатила бы со смеху.

Затем герцог опускает занавес, кланяется залу и говорит, что великая трагедия будет исполнена еще только два раза, поскольку театр ожидает срочный лондонский ангажемент и все места в Друри-Лейн уже распроданы; а после отвешивает еще один поклон и говорит сидящим в зале людям, что, если ему удалось сегодня развлечь их этим поучительным зрелищем, он будет глубоко благодарен тем из них, кто расскажет о спектакле своим знакомым и посоветует им также прийти на него.

Человек двадцать немедля взревели:

– Что, уже конец? И это *все* ?

Герцог отвечает – да, все. Минута была самая опасная. Публика завопила: «Жулье!» и повскакала на ноги, собираясь разгромить сцену и побить трагиков. Но тут крепкий, приятной наружности мужчина вспрыгнул на скамью и закричал:

– Минутку! Одно только слово, джентльмены!

Зрители остановились, чтобы выслушать его.

– Нас надули – и здорово надули. Но мы же, я так понимаю, не хотим обратиться в посмешище всего города и только и слышать до конца наших дней разговоры о том, какие мы дураки. *Нет*. Мы лучше вот как сделаем: спокойноенько разойдемся, и станем расхваливать этот спектакль и сами надуем *остальных* жителей города! И тогда все мы будем сидеть в одной калаше. Разве это не разумное предложение? («Ну конечно! Судья прав!» – закричали зрители.) Стало быть, договорились – никому ни о каком надувательстве ни слова. Расходимся по домам и советуем всем посмотреть эту трагедию.

Назавтра в городке только и разговоров было, что о нашем прекрасном спектакле. К вечеру зал опять оказался набит битком, – ну, мы и эту толпу облапошили точно таким же манером. Потом мы с королем и герцогом вернулись на плот, поужинали; а где-то около полуночи они велели нам с Джимом выйти на середину реки, проплыть мимо городка, пристать мили на две ниже него и укрыть плот.

На третий вечер в зале опять яблоку негде было упасть, однако на сей раз новичков в нем не наблюдалось, зрители были те же, что в прошлые вечера. Я стоял с герцогом у двери и видел, что у каждого входящего мужчины либо карманы оттопыриваются, либо под одеждой что-то припрятано, – иотнюдь не парфюмерия, даже и рядом с ней не лежало. По моим прикидкам, мимо меня пронесли примерно с бочонок тухлых яиц, гнилой капусты и прочего в этом роде; и если я что-нибудь понимаю в дохлых кошках, а я понимаю, поверьте, их в зале набралось шестьдесят четыре штуки. Я зашел туда на минутку – больше все единоне выдержал бы, уж больно смачные запахи там стояли. Ну так вот, когда публики набилось в зал под завязку, герцог дал одному малому четвертак, попросил его постоять минутку у двери, и мы пошли к входу на сцену, впереди герцог, а за ним; и, едва мы свернули за угол и оказались в темноте, он говорит:

– Теперь быстро топай отсюда, а как отойдешь подальше, бегик плоту – да так, точно за тобой черти гонятся.

Я так и сделал, и он тоже. На плот мы запрыгнули одновременно, и меньше чем через пару секунд он уже скользил по воде, темной и тихой, к середине реки, и никто на нем не произносил ни слова. Ну, думаю, достанется королю от нашей публики на орехи, а не нет, ничего подобного – в скором времени он выполз из шалаша и спрашивает:

– Ну что, герцог, сколько мы нынче золотишка намыли?

Он в городок и вовсе в тот день не заглядывал.

Огня мы не зажигали, пока не отошли от городка миль надесять, а там уж зажгли, и поужинали, и герцог с королем бока надрывали, рассуждая о том, как они обвели этих людей вокруг пальца. Герцог говорит:

– Сосунки зеленые, остолопы! Я же знал, что первые зрители будут помалкивать, пока мы не надует всех в городишке, и что в третий вечер они попытаются устроить нам западню, решив, будто настала *их* очередь повеселиться. Ну так она и *впрямь* настала, и я даже заплатил бы за то, чтобы посмотреть, как они ею распорядятся. Как используют эту возможность. Пикник, наверное, устроят – провизии-то они с собой много притащили.

Эти прохвосты выручили за три вечера четыреста шестьдесят пять долларов. Я и не видел прежде, чтобы деньги вот так вот лопатой гребли. В конце концов, они заснули, захрапели, а Джим и говорит:

– Тебя не удивляет, Гек, что короли так себя ведут?

– Нет, – говорю, – не удивляет.

– А почему, Гек?

– Да потому что порода у них такая. Сдается мне, все короли одинаковы.

– Но, Гек, эти-то, наши, самые настоящие проходимцы, вот кто они такие – как есть проходимцы.

– Ну, так и я о том же – насколько я могу судить, что ни король, то и проходимец.

– Да неужели?

– А ты почитай про них как-нибудь – сам увидишь. Возьми хоть Генриха Восьмого[4] – рядом с *ним* наш так просто директор воскресной школы. И возьми Карла Второго, Людовика Пятнадцатого, Якова Второго, Эдуарда Второго, Ричарда Третьего и сорок других, а до них еще саксонское семивластие было, в старые времена, и тогдашние короли только и знали, что драть страну на куски да буянить. Господи, видел бы ты старину Генриха Восьмого, когда он в расцвете сил был. *Тот еще* получился расцветик. Генрих что ни день брал себе новую жену, а наутро рубил ей голову. И делал это так спокойно, точно яйца всямку на завтрак заказывал. «А подать сюда Нелл Гвинн[5]!» – говорит. Подают. На следующее утро: «Отрубить ей голову». И рубят. «А подать сюда Джейн Шор[6]!» – подают и эту. Наутро: «Отрубить ей голову!» – рубят как миленькой. «Привести сюда прекрасную Розамуну[7]». Прекрасная Розамуна выскакивает к двери на звонок. Наутро: «Рубите ей голову». И каждую из них он заставлял сказку ему на ночь рассказывать и, в конце концов, набрал таким манером тысячу и одну сказку и составил из них книгу, которую назвал «Книга страшного суда»[8] – название самое подходящее, тут ничего не скажешь. Ты королей не знаешь, Джим, а я знаю, и наш старый жулик один из самых честных во всей мировой истории. Вот тот же Генри вбивает себе в голову, что хорошо бы ему с нашей страной пособачиться. И как он за это дело берется – предупреждает нас? – дает нам честный шанс? Как бы не так. Он ни с того, ни с сего взял да и вывалил весь чай, какой в Бостонской гавани был, за борт, а после отменил Декларацию Независимости и говорит: а ну, кто на меня? Такая уж у него манера была – никому проходу не давать. Заподозрил он в чем-то своего родимого отца, герцога Веллингтонского. И что? Пригласил его к себе, поговорил по душам? Нет – утопил, как котенка, в бочке с мамзелей. Или, скажем, оставит кто деньги на видном месте, а тут Генри мимо идет, – ну, и как он поступит? Прикарманит их, да и дело с концом. Или, к примеру, подрядится работу какую сделать, ты ему заплатишь, а сам уйдешь куда-нибудь, чтоб не мешать, – так он что учинит? Он не то, что тебе требуется, сделает, а как раз наоборот – и так каждый раз. Ну, допустим, откроет он рот – что будет? Если сразу его не захлопнет, так непременно соврет. Уж такой этот Генри жук был, что на месте наших короля с герцогом, он бы этот городишко не так, как они, обмишурил, а еще и похуже. Я не говорю, конечно, что наши – кроткие овечки, потому как, если приглядеться к холодным фактам, до овечек им плыть да плыть, но с *тем* старым бараном их и сравнить нельзя. Я говорю только одно: короли они и есть короли, и не стоит от них многого требовать. Если их всех перебрать – мерзейшая публика. Такое уж они воспитание

получают.

– Но от нашего еще и винищем разит, Гек.

– Да от них от всех так разит, Джим. Что мы можем поделаться с их запахами? История никаких способов не указывает.

– Вот герцог, он кое в чем поприятнее будет.

– Да, герцог от короля отличается. Но не сильно. Для обычного герцога он, конечно, туда-сюда. Однако, когда напьется, его уже с двух шагов от короля не отличишь.

– Ну, так или этак, Гек, а больше мне их не требуется. И от этих-то с души воротит.

– Да и у меня тоже, Джим. Но раз уж они навязались нам на шею, надо понимать, кто они такие, и многого от них не ждать. Хоть мне иногда их хочется удрать от них на другой конец страны.

И опять же, что было проку объяснять Джиму, что наши король и герцог не настоящие? Добра из этого никакого не вышло бы, а кроме того, я уже говорил: от настоящих их отличить было трудно.

Я лег спать, а когда пришел мой черед дежурить, Джим меня не разбудил. Он часто так делал. Проснулся я на рассвете и вижу – сидит он, опустив голову между колен, постанывает и плачет. Я его в таких случаях обычно не трогал – знал, в чем тут дело. Это он про жену и детей вспоминал и тосковал по дому, он ведь прежде с ними никогда не расставался, а любил их, сдается мне, совсем так же, как белый человек своих любит. Поверить в это, конечно, трудно, но, по-моему, так оно и было. Он часто вот так вот постанывал и плакал по ночам, когда думал, что я сплю, и все повторял: «Бедная малютка Элизабет, бедный маленький Джонни! Господи, как тяжело, ведь я вас, наверное, никогда уж больше не увижу, никогда!» Очень он был хороший негр – Джим, то есть.

Вот, а на этот раз я как-то сумел его разговорить, и он стал рассказывать мне про жену, про детей, а там и говорит:

– Мне ведь отчего сейчас так худо-то стало – тут недавно сберега какой-то удар донесся, не то хлопок, ну я и вспомнил, как подло обошелся однажды с моей малышкой Элизабет. Ей годика четыре было, когда она скарлатиной заболела, сильно так заболела, однако выкарабкалась, и вот однажды стоит она рядом со мной, а ей и говорю: «Закрой дверь». А она ни с места, стоит себе, смотрит на меня и улыбается. Я разозлился и опять говорю, да во весь голос: «Ты что, не слышишь? Дверь закрой!» А она стоит и улыбается. Я совсем из себя вышел, говорю: «Я ж тебя заставлю отца слушаться!». И как дам ей по затылку, она дажена пол полетела. И ушел в другую комнату, а когда вернулся минут через десять, смотрю, дверь по-прежнему открыта, девочка моя стоит около нее, в пол смотрит и по щекам у нее слезы текут. Я аж взбеленился, хотел наброситься на нее, но тут налетел ветер, и дверь – она наружу открывалась – как хлопнет прямо за спиной умоей дочурки – *бам!* – а она и ухом не повела! Ну, сердце у меня так и упало и почувствовал я себя так... так... не знаю я *как*. Подкрался к ней, дрожу весь, подкрался, открыл потихоньку дверь, встал у девочки за спиной и как заорю: «Бу-у!». *А она и не дрогнула!* Господи, Гек, тут я и сам заревел, и схватил ее на руки, и говорю: «Да простит Господь Всемогущий бедного старого Джима, потому что сам он себя до скончания дней не простит!». Она же оглохла, Гек, совсем оглохла после болезни и онемела, а я ее так обидел!

Глава XXIV. Король подается священники

На следующий день, уже под вечер, мы пристали к маленькому, поросшему ивами островку, который стоял на реке в аккурат между двумя городишками, и герцог с королем попытались придумать план, который позволил бы им и эти городки обогнуть. И Джим сказал герцогу, что надеется – много времени у них это не займет, потому как уж больно ему тяжело и утомительно лежать целыми днями в шалаше, связанным по рукам и ногам. Нам же приходилось, оставляя Джима в одиночестве, связывать его веревкой, потому что всякий, кто увидел бы его одного и не связанным, решил бы, что он беглый. Ну, герцог и сказал, что оно верно, лежать целыми днями связанным трудновато и что он попробует придумать,

какобойтись без этого.

Умен он, конечно, был донельзя, герцог-то, и вскоре выдумалновую штуку – одел Джима в костюм короля Лира, длинную такую занавесочногоситца рубаху и парик с бородой из белого конского волоса. А после достал изсаквояжа театральные краски и вымазал ему лицо, руки, уши и шею в синий цвет, да такой неживой и тусклый, что Джим приобрел сходство с утопленником, которыйдней уж девять как на дне пролежал. Вот не сойти мне с этого места, если якогда-нибудь видел такую жуть. А герцог взял дощечку и написал на ней:

Оченьбольной араб – когда в своем уме, никого не убивает .

Дощечку он прибил к рейке, а рейку воткнул в плот футах вчетырех-пяти от шалаша. Джиму его придумка понравилась. Он сказал, что это, конечно, лучше, чем пару лет лежать каждый божий день связанным да еще итрястись при всяком звуке от страха. А герцог велел ему вести себя поразвязнее, и если кто полезет на плот, пусть он выскочит из шалаша, попляшет малость давзвует пару раз, как дикий зверь, – тогда незваные гости дадут деру и трогатьего не станут. Это он, разумеется, правильно сказал, однако я так думаю, что нормальный человек дожидаться, когда Джим завоет, не стал бы. Он не то, чтобына мертвеца походил – нет, на кого-то еще и похуже.

Наши мазурики хотели было снова показать «Совершенство», дельце-топрибыльное, но после решили, что это небезопасно, потому как сюда вполне моглидоползти слухи об их спектакле. А ничего нового и подходящего измыслить им неудалось и потому герцог сказал, что он, пожалуй, полежит пару часов, пораскинетумом – глядишь, и сообразит, как облапошить здешнюю арканзасскую деревенщину, ну а король решил заглянуть в один из городков без всякого плана, просто доверясь Провидению, которое вдруг да и подкинет ему выгодное дельце, – хотя я так понимаю, он не Провидение подразумевал, а Сатану. В последнем из городков всемы прикупили себе новую одежду, так что король облачился в костюм и мне велел мойнадеть. Я надел, конечно. У короля костюмчик был весь черный, шикарный и словнобы накрахмаленный. Я и не знал, что одежда может так сильно менять человека. Всего минуточку назад он выглядел распоследним старым прохиндеем, а теперь, стоилоему снять новую белую касторовую шляпу, отвесить поклон и улыбнуться, как онначинал казаться до того величавым, достойным и благочестивым, точно сей минутиз Ковчега вылез, или, может, он самый что ни на есть Левий и есть. Джимпочистил челнок, я взялся за весло. Милях в трех выше городка стоял под мысомбольшой пароход – часа уж два как стоял, грузился. Король и говорит:

– При моем наряде мне, пожалуй, самое лучшее будет изСент-Луиса приплыть, или из Цинциннати, или еще из какого большого города. Гребки к пароходу, Гекльберри, мы с него в городке сойдем.

Ну, дважды просить меня прокатиться на пароходе не пришлось. Я подвел челнок поближе к берегу – в полумиле выше городка, – а оттуда пошелвдоль обрывов по тихой воде. Скоро нам попался на глаза симпатичный такой, простодушного обличия деревенский парнишка, сидевший, утирая со лба пот, набревне – погода была страсть какая жаркая; а рядом с парнишкой стояли двабольших ковровых саквояжа.

– Правь к берегу, – велел король.

Я так и сделал.

– Куда путь держите, молодой человек?

– На пароход; я на нем в Орлеан поплыву.

– Садитесь в лодку, – говорит король. – Погодите минутку, мой слуга поможет вам погрузить багаж. Выйди на берег и подсоби джентльмену, Адольфус.

Я так понял, что это он мне сказал.

Ну, помог я пареньку погрузиться и мы снова отплыли отберега. Паренек рассыпался в благодарностях, говоря, что тащить по такой жареего саквояжи – работа не из легких. Потом он спросил у короля, куда тотнаправляется, и король ответил, что вообще-то он плывет в низовья, но нынчеутром сошел на берег в городке, который стоит на другом берегу реки, потому что решил вернуться на несколько миль вверх и повидать старого друга, у котороготам

ферма. Парнишка и говорит:

– А я, как увидел вас, сказал себе: «Это мистер Уилкс, точно он, надо ж, почти вовремя поспел». А после говорю: «Нет, не он, мистер Уилкс нестал бы сейчас по реке в лодке разъезжать». Вы ведь не он, верно?

– Нет, не он, моя фамилия Блоджетт, Александер Блоджетт, хотя, наверное, мне следовало сказать *преподобный* Александер Блоджетт, поскольку я – один из ничтожных слуг Господних. И все же, если мистер Уилкс упустил, припозднившись, нечто важное, – а я надеюсь, что этого не случилось, – мне его искренне жаль.

– Ну, богатств-то он никаких не упустил, они все едино ему достанутся, а вот брата своего, Питера, в живых уже не застанет – ему-то оно, может, и без разницы, кто его знает, – но Питер все на свете готов был отдать, лишь бы поглядеть на *него* перед смертью, они ж с самого детства невиделись, а другого своего брата, Уильяма, глухонемого, он и вовсе ни разу не видал, Уильяму сейчас всего-то лет тридцать, тридцать пять. Сюда ведь только Питер и его брат Джордж перебрались. Джордж, он женатый был, умер в прошлом году и жена его тоже. Так что теперь всего и остались, что Гарвей с Уильямом, а они, я уж говорил, вовремя к нам не поспели.

– Неужто никто им весточку не послал?

– Послали, а как же, – месяц, а то и два назад, когда Питер только-только занемог, потому как он сказал, что на этот раз ему уже не оклематься. Он же сильно старый был, понимаете? – а дочери Джорджа совсем еще молоденькие, для него не компания – ну, может, кроме Мэри Джейн, рыженькой; так что ему после смерти Джорджа и его жены вроде как одиноко стало, и жить особе незачем. Вот только с Гарвеем он страх как хотел повидаться – ну и с Уильямом тоже, понятное дело, – он, знаете, завещания всякие там составлять простотерпеть не мог. И потому сочинил для Гарвея письмо, в котором говорится, где спрятаны деньги и как поделить прочую его собственность с девочками Джорджа, чтобы они нужды не знали, – сам-то Джордж им ничего, почитай, не оставил. Вот только это письмо его написать и уговорили.

– Но почему же Гарвей не приехал, как вы полагаете? Он где живет?

– Он в Англии живет, в Шеффилде, проповедует там, а в нашей стране и не бывал ни разу. Понимаете, времени у него было, чтобы добраться сюда, маловато, а может, он то письмо и вовсе не получил.

– Да, большое горе, большое, что он не смог попрощаться с братом, бедняжка. Так, говорите, вы в Орлеан направляетесь?

– Ага, а оттуда еще и подалее. Я там в следующую среду на корабль сяду и поплыву к дяде, он в Рио-Жанере живет.

– Да, путь не близкий. Но приятный, я бы и сам судовольствием проделал его. Стало быть, старшую из девочек зовут Мэри Джейн?

– Ну да, ей девятнадцать, Сьюзен пятнадцать, а Джоанне – у нее губа заячья, так она все больше бедным помогает, – еще и четырнадцати не стукнуло.

– Бедняжки! Остаться вот так совсем одинокими в нашем холодном мире.

– Ну, могло быть и хуже. У старика Питера все-таки было много друзей, они девочек в беде не покинут. Хобсон, проповедник баптистский; священник Лот Говей, и Бен Ракер, и Эбнер Шаклфорд, и Леви Белл, законник, и доктор Робинсон, ну и жены их, а еще вдова Бартли – это только те, с кем Питер особенно дружен был и о ком домой иногда писал, так что Гарвей, когда приедет, будет знать, где ему искать друзей.

Ну и вот, старик продолжал задавать вопросы, пока невыпотрошил паренька дочиста. Вот чтоб мне пропасть пропадом, если он не вытянул из дурня все про все и о жителях того несчастного городишки, и об Уилксах, и о том, чем зарабатывал на жизнь Питер – он, оказывается, дубильщиком был, а чем Джордж – этот был плотником; и о Гарвее, священнике какой-то тамошней английской церкви; ну и так далее, и тому подобное. А после говорит:

– Скажите, а почему вы решили до парохода пешком добираться?

– Так это ж большой пароход, орлеанский, вот я и побоялся, что он у нас не пристанет. Пароходы, которые с большой осадкой, у нас не встают, как ни проси. Те что из Цинциннати,

они да, а этот из Сент-Луиса идет.

– Ну хорошо, а вот Питер Уилкс, он богатый был?

– Он был очень богатый. И домами владел, и землей, и, говорят, припрятал где-то тысячи три наличными, а то и четыре.

– Так когда, вы сказали, он умер?

– Да я, вообще-то, и не говорил, но умер он нынче ночью.

– Выходит, хоронить его завтра станут?

– Ага, около полудня.

– Что ж, это весьма прискорбно, но ведь рано или поздно все мы там будем. И потому нам остается лишь готовить себя к этому событию и тогда все обойдется.

– Да, сэр, оно самое правильное. Вот и матушка моя так всегда говорила.

Когда мы доплыли до парохода, погрузка почти уж закончилась, и он скоро отчалил. Насчет того, чтобы взойти на него, король ни словом больше не обмолвился, так что прокатиться мне на нем все-таки не удалось. И как только пароход ушел, король велел мне проплыть еще с милею вверх по течению, а там мынашли уединенное место, и он сошел на берег, и говорит:

– Теперь плыви поскорее назад и привези мне герцога, да пусть он с собой наши новые саквояжи прихватит. А если он на тот берег отправился, сплавай туда, найди его и скажи, чтобы мухой сюда летел. Давай, гребни.

Я уже понял, на что он нацелился, но, конечно, ничего говорить не стал. И когда я привез герцога, мы подыскили для челнока местечко поукромнее, а потом эта парочка уселась на бревно, которое на берегу валялось, и король пересказал герцогу все, что узнал от паренька, – слово в слово. При этом говорить король старался на английский пошиб и, надо вам сказать, выходило у него очень неплохо – для такого невежды, как он. Я его речей изобразить не смогу, даже пробовать не стану, однако получалось у него и вправду здорово. Вот, а под конец он говорит:

– Как вы насчет того, чтобы заделаться глухонемым, а, Билджуотер?

Герцог ответил, что для него это раз плюнуть, он, дескать, уже исполнял роль глухонемого на многих подмостках. В общем, стали они парохода дожидаться.

Около полудня прошла мимо нас пара маленьких, однако по ним видно было, что они не из бог весть каких верховой плывут, а после появился и большой, и мы его остановили. С парохода выслали ялик, мы поднялись на борт, оказалось, пароход идет из Цинциннати, но, правда, когда капитан услышал, что нам всего-то навсего четыре или пять миль нужно проплыть, то разорался, обругал нас по-всякому и велел обратно на берег сойти. Однако король сказал, спокойненько так:

– Если джентльмены могут позволить себе заплатить подоллару за милею плавания и еще один за то, что их отправят на берег в ялике, то и пароход может позволить себе взять их на борт, не правда ли?

Капитан мигом помягчел и сказал, что правда, и когда пароход доплыл до городка, нас отправили в ялике на берег. Там уже собралось десятка два заметивших его мужчин и, как только король спросил: «Не будете ли вы так любезны, джентльмены, не укажете ли мне дом, в котором живет мистер Питер Уилкс?», – они переглянулись и покивали друг другу, словно желая сказать: «А что я вам говорил?». А после один из них ответил, мягко и сочувственно:

– Простите, сэр, но мы можем указать вам лишь одно – дом, в котором он *жил* до вчерашнего вечера.

Старый мерзавец тут же весь запечалился, и припал к этому мужчине, и уперся ему в подбородок плечом, и обмочил слезами всю его спину, и запричитал:

– Увы, увы, наш бедный братец – он скончался, а мы с ним таки не повидались; о, горе, о, горе!

А после повернулся, ревмя-ревя, к герцогу, замахал руками на самый идиотский манер, и будь я проклят, если герцог не уронил саквояж и незарыдал тоже. Нет, все-таки я такого жулья, как эти двое, отродясь не встречал.

Ну вот, люди, которые на берег вышли, обступили их, и принялись утешать, и понесли вверх по холму их саквояжи, а они шли, поддерживая друг друга, и плакали, а те люди рассказывали королю о последних мгновениях его брата, и король ковырял в воздухе пальцами, передавая эти рассказы герцогу, ибо они так горевали по поводу смерти дубильщика, точно одним махом целых двенадцать учеников потеряли. В общем, если я когда-нибудь видел таких прощелыг, можете считать меня негром. Мне, прямо-таки, за род человеческий стыдно стало.

Глава XXV. Сплошные сопли и темное вранье

Новость облетела городок в две минуты, и к нам стали со всех сторон сбегаться люди, некоторые даже сюртуки на бегу натягивали. И скоро наскружила настоящая толпа, шумевшая, как армия на марше. Все окна и дверные проемы тоже заполнились людьми и каждую минуту кто-нибудь спрашивал через забор:

– Это они ?

И кто-нибудь из шедших с нами отвечал:

– А кто же еще?

Когда мы добрались до дома, улица перед ним была уже запружена народом, а три девушки стояли в его дверях. Мэри Джейн и впрямь оказалась рыжей, да еще какой – ну и что с того? – все равно красива она была до чрезвычайности, а лицо и глаза ее сияли, как слава господня, до того обрадовал бедняжку приезд дядьев. Король раскинул руки и Мэри Джейн прямо-таки скакнула в его объятия, а сестра ее, которая с заячьей губой, – в объятия герцога, в общем, наобнимались они от души! И почти все, особенно женщины, обливались слезами радости, видя такое их счастье.

Потом король дернул герцога за рукав – исподтишка, но я-то заметил, – а после поозирался по сторонам и увидел гроб, стоявший на двух стульях в углу гостиной, и они с герцогом обняли друг друга за плечи и, утирая, каждый, свободной рукой глаза, медленно и чинно направились к нему, и все отступали в сторонку, расчищая им путь, разговоры и шум прекратились, слышалось только «Чш!», а после мужчины сняли шляпы и склонили головы, и тишина наступила такая, что, если бы булава на пол упала, все бы это услышали. А моя парочка жуликов подошла к гробу, заглянула в него и заревела так, что их, небось, и в Орлеан слышно было, и обхватили они друг друга за шеи, уперлись подбородками один другому в плечи, и минуты три, а то и четыре, такие слезы проливали, каких я и не видел никогда. Да и все прочие тоже прослезились и черт знает какую сырость развели. Потом король и герцог разошлись по двум сторонам гроба, опустили наколени, прижались к нему лбами и вроде как молиться начали, про себя. Ну, должен вам сказать, на толпу это подействовало – лучше некуда – все зарыдали в голос, и бедные девушки тоже, и чуть ли не все женщины начали их утешать: поочередно подходить к ним, торжественно целовать, не произнося ни слова, в лобики, гладить по головкам, воздевать, продолжая лить слезы, взгляды к небесам и отходить, плача и утирая глаза, чтобы, значит, следующей место уступить. Вот, ей-богу, ничего гнуснее я в жизни не видел.

Ладно, в конце концов, король встал, отошел малость от гроба и, собравшись с силами, произнес прочувствованную речь – сплошные сопли и темное вранье, – насчет того, каким тяжким испытанием стала для него и для его бедного брата и утрата покойного, и то, что они не застали его живым, проделав долгий путь в четыре тысячи миль, однако это испытание искупается и очищается добрым сочувствием и святыми слезами собравшихся, и потому он благодарит их от всего сердца – своего и брата тоже, – ибо слова слишком слабы и холодны, чтобы выразить... – ну и прочая чушь и дребедень в этом роде, так что, под конец меня аж тошнить начало; а закончил он благочестивым «аминь!» и рыданием совсем удушераздирающим.

И в ту же минуту кто-то запел благодарственный гимн и все подхватили его, и пели во всю мочь, и у меня даже на душе полегчало, как в церкви. Хорошая вещь, музыка – после всех этих медоточивых речей и лицемерноговздора она казалась такой честной, такой красивой,

что сердце радовалось.

Ну а после король опять балабонить начал – мол, он и братего будут рады, если близкие друзья покойного поужинают с ними этим вечером и помогут обрядить бранные останки Питера, и он-де знает, чьи имена назвал бысейчас его лежащий вон там брат, если бы мог говорить, ибо имена эти он частоупоминал в своих письмах, и потому, он, король то есть, имеет возможностьназвать их и сам, вот они: преподобный мистер Хобсон, священник Лот Говей, имистер Бен Ракер, и Эбнер Шаклфорд, и Леви Белл, и доктор Робинсон, и их, ивдова Бартли.

Преподобный Хобсон и доктор Робинсон находились в это времена другом конце городка, промышляли там на пару – то есть, доктор помогалбольному тихо-мирно переключать на тот свет, а проповедник объяснял бедолаге,как добраться туда самым кротким путем. Адвокат Белл уехал по каким-то делам вЛуисвилль. Ну а все остальные тут были и стали подходить к королю, и жать емуруку, и благодарить его, и утешать, а после каждый жал руку герцогу, но ужемолча – просто улыбаясь и головой кивая, ни дать ни взять болванчики, – агерцог вертел в воздухе пальцами и, не закрывая рта, бубнил:«Гу-гу-гу-агу-агу», точно дитя, которое говорить еще не выучилось.

А король продолжал разглагольствовать, задавая вопросы чутьли не обо всех жителях городка и даже об их собаках, называя имена и клички,упомяная о разных случившихся здесь тогда-то и тогда-то событиях и перебираяслучаи из жизни Джорджа и Питера. И то и дело давал понять, что ему об этомПитер писал – врал, разумеется, все это он вытянул из юного простофили,которого мы в челноке к пароходу подвозили.

Потом Мэри Джейн вручила ему оставленное дядей письмо, икороль зачитал его вслух и облил слезами. В письме говорилось, что жилой дом итри тысячи долларов золотом остаются девочкам, а дубильня (так и продолжавшаяработать, принося хороший доход), и другие дома, и земля (общей стоимостью семь тысяч долларов), и еще три тысячи золотом переходят во владение Гарвея сУильямом. А кроме того, в письме говорилось, что вся наличность – шесть тысяч –спрятана в погребе дома, и указывалось, где именно. Ну, король объявил, что онс братом сей минут спустятся в погреб и найдут золото, и поделят его честь почести, и велел мне взять свечу и идти с ними. Они плотно закрыли за собой дверьпогреба, отыскивали мешок с золотыми монетами и высыпали их на пол – зрелищеполучилось на славу. И как же засветились глаза короля! Хлопнул он герцога по плечуи говорит:

– Здорово, а! И ведь мы эти денежки за красивые глазаполучили! Что, Билджи, это вам не «Совершенство» разыгрывать, верно?

Герцог с ним согласился – верно. Они зарылись руками в грудумонет, потрясли их в горстях, снова ссыпали на пол, со звоном, а потом король сказал:

– Ну, ничего не скажешь, изображать братьев покойногобогача и его заграничных наследников – самые для нас с вами подходящие роли,Билджи. Вот что значит – полагаться на Провидение. В конечном счете, лучшеничего не придумаешь. Я чего только не перепробовал и точно могу сказать – этосамое разлюбезное дело.

Каждый, кто огреб бы такую груду золота, обрадовался бы да идело с концом, но эти нет – эти решили свои денежки пересчитать. Ну ипересчитали и оказалось, что их не шесть тысяч, а на четыреста пятнадцатьдолларов меньше. Король и говорит:

– Черт подери, куда ж эти четыреста пятнадцать подевались?

Они даже испугались немножко, обшарили все вокруг, но ничегоне нашли. Герцог говорит:

– Ладно, человек он был уже больной, мог и ошибиться – думаю,так оно и случилось. Самое верное – помалкивать на этот счет. Как-нибудь и безних обойдемся.

– Проклятье, обойтись-то мы, разумеется, обойдемся. Меня не столькоденьги заботят, сколько то, что нам их *пересчитывать* придется. Вы жпонимаете, мы с вами люди как бы прямые и честные. Мы должны оттащить этиденьги наверх, пересчитать их при всех, чтобы никто ничего не заподозрил. Иесли покойник сказал – шесть тысяч, – нам вовсе не нужно, чтобы...

– Пойдите-ка, – говорит герцог. – Мы же можем восполнить недостачу.

И давай шарить по карманам, деньги вытаскивать.

– Превосходная мысль, герцог, все-таки *здорово* у вас котелокварит, – говорит король.
– Опять нас «Совершенство» выручает, не сойти мне с этого места.

И тоже стал доставать из карманов золотые монеты складывать их столбиками.

В итоге, остались они почти без гроша, однако денег ровно дошести тысяч наскребли.

– Знаете, – говорит герцог, – у меня еще одна идея возникла. Давайте поднимемся сейчас наверх, пересчитаем деньги, а после *отдадим их девочкам*.

– Отличная идея, герцог, дайте я вас обниму! Роскошная, долучшей никто бы не додумался. Поразительная все-таки у вас голова, никогдакой не встречал. Да, это будет всем финтам финт, и говорить не о чем. Если укого и возникли подозрения на наш счет, такой фокус их мигом утомит.

Мы поднялись наверх, все собрались у стола, король начал пересчитывать деньги, складывая монеты столбиками, по триста долларов в каждом, – и столбиков вышло ровно двадцать. Все смотрели на них несатытыми глазами и облизывались. Потом монеты ссыпали обратно в мешок, и я увидел, как король выпячивает грудь, собираясь закатить еще одну речугу. И закатил:

– Друзья, наш бедный брат, что лежит вон там, проявил щедрость к тем, кого оставил в сей юдоли скорбей. Щедрость к бедным овечкам, коих он так любил и приютил под своим кровом, когда они лишились отца и матери. И мы, все, кто знал его, знаем, что он был бы к ним *еще* щедрее, когда бы не убоился поранить мои и Уильяма чувства. Разве не так? Я несколько в этом не сомневаюсь. Но какими же братьями оказались бы мы, если бы встали в столь скорбное время у него на пути? И какими же мы оказались бы дядьями, коли ограбили б – да, *ограбили* – бедных, кротких овечек, коих он так любил в столь скорбное время? Насколько я знаю Уильяма, а я *думаю*, что знаю моего брата, он... впрочем, я просто спрошу у него.

Поворачивается он к герцогу и начинает выделывать руками всякие знаки, а герцог некоторое время тупо смотрит на короля, дурак-дураком, но потом до него вроде как доходит, и он бросается к королю, гугукая во все горло от радости, и раз пятнадцать подряд обнимает его. Тогда король говорит:

– Я так и знал и, полагаю, *это* убедило всех вас в *его* чувствах. Так вот, Мэри Джейн, Сьюзен, Джоанни, возьмите эти деньги – возьмите их *все*. Это дар от того, кто лежит вон там, хладный, но счастливый.

Мэри Джейн бросилась к нему, Сьюзен с Заячьей Губой к герцогу, и пошли у них такие объятья да поцелуи, каких я сроду не видал. А все остальные пустили слезу и столпились вокруг мошенников, чтобы пожать и тому, и другому руку, и все повторяли:

– Какой достойный поступок! – как *мило*! – ну кто бына такое *решился*?

Вот, а в скором времени все опять заговорили о покойном, о том, какой он хороший был человек, какая невосполнимая утрата, ну и так далее; и тут вошел с улицы рослый мужчина с крепким таким подбородком, стоит, слушает, смотрит, но ничего не говорит; и к нему никто не обращается, потому что король опять завелся и все ему в рот глядят. Я на его болтовню особого внимания не обращал, но вдруг слышу:

– ...были особенно близкими друзьями покойного. Потому их и пригласили сюда на сегодняшний вечер. Однако завтра мы хотели бы видеть *всех* – всех и каждого, ибо он уважал каждого и каждого любил и, значит, будет правильным, если погребальное опоение станет публичным.

И пошел, и пошел, уж больно ему нравилось самого себя слушать, и все прилетал к месту и не к месту погребальное опоение, пока у герцога терпение не лопнуло, – он написал на клочке бумаги: «Упокоение, старый вы идиот», сложил его, загугукал и передал через головы людей королю. Тот прочитал записку, сунул ее в карман и говорит:

– Бедный Уильям, сколь он ни болен, но *душа* у него прямая и честная. Он просит меня пригласить на похороны всех, сказать, что мы каждому рады будем. Впрочем, беспокоится он напрасно, – я это только что сделал.

И снова принялся рассусоливать как ни в чем не бывало, и пару раз ввернул свое погребальное опоение. А ввернув в третий раз, пояснил:

– Я говорю *опоение* не потому, что это общепринятый термин, но потому, что он правильный. В Англии больше уже не говорят *упоение*, это слово отмерло. Мы называем это событие *опоением*. Так оно лучше, потому что это слово точнее описывает то, чего все мы так ждем. Оно происходит от греческого *опа* – внешний, открытый, вне дома; и древне-иудейского *ени*, что означает закапывать, прикрывать, помещать *вовнутрь*. Отсюда следует, что погребальное опоение – это просто открытые публичные похороны.

Вывернулся, нечего сказать, срам да и только. Тот, рослый, рассмеялся ему прямо в лицо. Все ахнули, залепетали наперебой: «Как можно, *доктор*!», а Эбнер Шаклфорд говорит:

– Вы еще не слышали нашей новости, Робинсон? Это – Гарвей Уилкс.

Король разулыбался, протянул доктору свою клешню и спрашивает:

– Так это близкий друг моего бедного брата, здешний доктор? Я...

– Вы с рукой-то ко мне не лезьте! – перебивает его доктор. – Это у вас, стало быть, английский выговор такой, *да*? Худшая подделка, какую я когда-либо слышал. И вы – брат Питера Уилкса! Мошенник – вот кто вы такой!

Ух, как они все переполошились! Бросились к доктору, стали его урезонивать, объяснять, что Гарвей раз уж сорок доказал, что он Гарвей и *есть*, что он всех здесь знает по именам, даже клички собак и те знает, стали упрашивать доктора, *умолять* даже, не ранить чувства Гарвея и бедных девушек – и так далее. Не помогло, доктор только распалился еще пуще и заявил, что человек, выдающий себя за англичанина и подделывающий английский выговор так бездарно, как вот *этот*, заведомый проходимец и врун. Бедные девушки обнимали короля и плакали, а доктор вдруг обратился прямо к ним и сказал:

– Я был другом вашего отца, друг я и вам. И как друг и честный человек, желающий защитить вас и оградить от горя и беды, говорю вам: повернитесь спиной к этому негодяю, гоните его, невежественного прохвоста, прочь вместе с его идиотским греческим и иудейским, как он их именует. Он просто жалкий самозванец, явившийся сюда с запасом пустых имен и фактов, которые выведет где-то, – вы принимаете их за *доказательства*, а они нужны ему лишь для того, чтобы одурачить вас и ваших глупых друзей, которым следовало бы быть хоть немного умнее. Мэри Джейн Уилкс, ты знаешь, что я твой друг, и друг бескорыстный. Так послушай же меня: прогони этого гнусного мерзавца – умоляю тебя. Прогонишь?

Мэри Джейн вытянулась в струнку и, боже ж ты мой, еще красивее стала! И говорит:

– *Вот* мой ответ! – а после взяла мешок с деньгами, сунула его королю в руки и сказала: – Возьмите эти шесть тысяч и вложите их от нашего имени во что захотите, а расписка нам не нужна!

И бросилась королю на шею с одного боку, а Сьюзен с Заячьей Губой – с другого. Тут все захлопали в ладоши, затопали в пол ногами, в общем, шум подняли страшный, а король стоит с высоко поднятой головой и гордо улыбается. Ну, доктор и говорит:

– Что же, я умываю руки. Но предупреждаю всех: настанет время, когда вас будет тошнить при одной мысли об этом дне.

И пошел к двери.

– Ладно, доктор, – говорит ему вслед король, да насмешливотак, – мы все же рискнем, а когда затошнит – пошлем за вами.

Все захохотали и заговорили о том, как лихо король его отбрил.

Глава XXVI. Я крадудобычу короля

Ну вот, когда все разошлись, король спросил у Мэри Джейн, найдутся ли в доме свободные комнаты, а она ответила, что одна такая имеется и в ней может расположиться дядя Уильям, а свою комнату, которая немного побольше, она отдаст дяде Гарвею, сама же переберется к сестрам, поставит там для себя раскладную кровать; а еще наверху, в мансарде, имеется комнатка с соломенным тюфяком. Король сказал, что комнатка сгодится для его камельдинера – для меня, то есть.

Мэри Джейн повела нас наверх, показала комнаты, простые, неприятные. И сказала, что, если ее платья и прочие вещи буду мешать дяде Гарвею, она может их вынести, однако король ответил, что не стоит. Платья висели вдоль стены, укрытые спадавшей до пола ситцевой занавеской. В одном углу комнаты стоял старый, обтянутый ворсистой тканью сундук, в другом гитарный футляр, а еще там было много всяких безделушек и вещей, которые девушки любят в свои комнаты таскивать. Король сказал, что все это создает уют и убирать ничего не нужно. Герцогу комната досталась поменьше, но тоже довольно просторная, да и моя оказалась примерно такой же.

Вечером к ужину пришло много гостей, мужчин и женщин, я стоял за стульями короля и герцога, прислуживал, а за гостями негры ухаживали. Мэри Джейн сидела во главе стола, рядом со Сьюзен, и все извинялась за то, что и печенья у нее получились сухие, и соленья никуда не годятся, и жареные цыплята жесткие и из рук вон плохие – в общем, повторяла обычную дребедень, какую женщины говорят, когда им лишний раз комплимент получить охота; ну а гости-то видели, что еда на столе лучше некуда, и расхваливали ее, повторяя: «Как это вам удалось печеньица так поддурманить?», и «Боже, откуда у вас такие изумительные огурчики?», и прочую лицемерную чушь – сами знаете, как оно за столом бывает.

Когда все закончилось, мы с Заячьей Губой поужинали на кухне остатками еды, а сестры ее тем временем помогали неграм прибираться в столовой. Заячья Губа принялась расспрашивать меня насчет Англии, и пару раз я едва-едва не попался на вранье. Она говорит, например:

– Ты короля когда-нибудь видел?

– Которого? Вильгельма Четвертого? Ну еще бы, он же в нашу церковь молиться ходит.

Я знал, что он уж не один год как помер, но говорить об этом не стал. А она, услышав что король ходит в нашу церковь, спрашивает:

– И часто?

– Да все время. Его скамейка как раз напротив нашей стоит, по другую сторону от кафедры.

– А я думала, он в Лондоне живет.

– Так и есть. Где ж ему еще жить?

– Но вы же, по-моему, в Шеффилде живете?

Я понял, что заврался. Пришлось притвориться, будто я подавился куриной костью, покашлять да подумать, как мне вывернуться. Ну и говорю:

– В нашу церковь он заглядывает, когда в Шеффилде живет. Влетнее, то есть, время, когда он приезжает морские ванны принимать.

– Постой, как же так, ведь Шеффилд не у моря стоит.

– А кто сказал, что у моря?

– Ты и сказал.

– Я этого не говорил.

– Говорил!

– Да нет.

– Как это нет?

– Ничего я такого не говорил.

– А что ж ты тогда сказал?

– Сказал, что он приезжает *морские ванны* принимать – вот что.

– Как же он принимает морские ванны, если там моря нет.

– Слушай, – говорю, – ты когда-нибудь видела такую воду, «Конгресс» называется?

– Видела.

– И что, тебе ради этого в Конгресс тащиться пришлось?

– Нет, конечно.

– Ну так и Вильгельму Четвертому не приходится ехать к морю, чтобы морские ванны принимать.

– Откуда ж он тогда морскую воду берет?
– Оттуда, откуда люди берут воду «Конгресс» – из бочки. Он любит, чтобы вода погорячей была, а у него в шеффилдском доме печек полно. Некипятить же столько воды прямо в море. Там и приспособлений таких нет.

– А, ну тогда понятно. Так бы сразу и сказал, сберег бывремя.

Ну, думаю, выкрутился – и обрадовался, и успокоился. А он тут же спрашивает:

– Значит, ты тоже в церковь ходишь?

– Да, постоянно.

– А где ты там сидишь?

– На нашей скамье, где же еще?

– На чьей ?

– Что значит «на чьей» – на *нашей* , на скамье твоегодяди Гарвея.

– На его? А *ему-то* скамья зачем?

– Чтобы сидеть. Зачем, *по-твоему* , нужна скамья?

– Я думала, он на кафедре стоит.

А, черт! Я и забыл, что он священник. И, поняв, что снова попал впросак, разыграл еще одну сценку с куриной костью, стараясь что-нибудь придумать. И говорю:

– Господи, ты что думаешь, в тамошней церкви всего один священник проповеди читает?

– Да зачем же их больше-то держать?

– Здравсьте! – а королю кто проповедовать будет? Нет, я такой девчонки, как ты, отродясь не встречал. Да в той церкви священников – не меньше семнадцати.

– Семнадцати! Бог ты мой! Я бы все их проповеди *нипочем* не высидела, хоть пообещай мне за это царствие небесное. Их, небось, на неделю хватает, никак не меньше.

– Глупости, они же не *все* в один день проповедуют, апо очереди – сегодня один, завтра другой.

– Ладно, а что же тогда остальные делают?

– Да ничего особенного. Сидят себе в церкви или прихожан старелкой для подношений обходят – то да се. Но по большей части бездельничают.

– Тогда зачем их столько набрали?

– А для *шику* . Неужели непонятно?

– Чушь какая, слышать об этом больше не хочу. А скажи, как в Англии слугам живется? С ними там лучше обходятся, чем мы с нашими неграми?

– *Ну уж нет* ! Там слугу и за человека-то не считают. И обходятся с ним хуже, чем с собакой.

– А выходные у них бывают, как у наших? На Рождество, на Четвертое июля и на Новый год целая неделя?

– Нет, вы только послушайте! Сразу видно, что ты в Англии не была. Я тебе так скажу, Зая... Джоанна, у тамошних слуг вообще ни одного выходного во всем году не бывает, они ни в цирк не ходят, ни в театр, ни внегритянские балаганы, никуда.

– А в церковь?

– И в церковь тоже.

– Но ведь *ты-то* в церковь ходишь.

Ну вот, опять опростоволосился. Забыл, что я слуга старика. Впрочем, я тут же придумал объяснение – камельдинер, дескать, это не то, что обычный слуга, и в церковь ходить он просто *обязан* , хошь не хошь, и сидеть в ней со всей семьей – такой в Англии закон. Не очень-то ловко у меня получилось, я как закончил, сразу понял – совсем я ее не убедил. Она говорит:

– Дай честное индейское, что не врешь.

– Честное индейское, – говорю.

– Ни капельки?

– Ни капельки. Ни вот столечко, – говорю я.

– Положи руку на эту книгу и скажи еще раз.

Ну, я вижу – это всего-навсего словарь; положил на него руку, поклялся. Она, вроде бы,

успокоилась и говорит:

– Ладно, кое в чем ты, может, и не соврал, но всему остальному, ты уж меня прости, я поверить не могу.

– Чему это ты не можешь верить, Джо? – спрашивает Мэри Джейн – она как раз в этот миг вошла в кухню, а за ней и Сьюзен. – Разве можно так разговаривать с мальчиком, оказавшимся в чужой стране, вдали от своих. Это нехорошо и некрасиво.

– Вот всегда ты так, Ми, – бросаешься на помощь тому, кого и обидеть еще не успели. По-моему, он мне наврал, ну я и сказала, что меня ему провести не удастся – и ничего больше. Уж такую-то мелочь он как-нибудь переживет, верно?

– Мне все равно, мелочь это или не мелочь. Он наш гость, он здесь среди чужих, и разговаривать с ним так нехорошо. Будь ты на его месте, тебя бы такие слова пристыдили, ну и не говори людям то, от чего им стыдно становится.

– Но, Ми, он же сказал...

– Мне не важно, что он *сказал*, дело вовсе не в этом. Дело в том, что ты должна быть с ним *доброй* и не напоминать ему о том, что он не у себя дома, а среди чужих людей.

А я говорю себе: и вот у *этой* девушки наш старый ящер деньги спер, а ты и пальцем о палец не ударил, чтобы ему помешать!

И тут в разговор вступила Сьюзен и – вы не поверите – такую Заячьей Губе выволочку устроила, что даже у меня волос дыбом встал!

Я думаю – вот и *еще одна* девушка, которую я ограбить помог!

А следом за нее опять Мэри Джейн принялась – она, вообще-то, девушка была тихая, ласковая, но тут разошлась не на шутку и, когда закончила отчитывать Заячью Губу, от той, почитай, и мокрого места не осталось. Она только стонала, моля о пощаде.

– Ну ладно, – говорят ей сестры, – попроси у мальчика прощенья и забудем об этом.

И Заячья Губа попросила у меня прощенья, да так красиво и кротко, что я бы век ее слушал, – я бы ей и еще одну гору вранья наворотил, лишь бы снова услышать, как она потом извиняется.

И опять говорю себе: а ведь ты *и ее* помог обобрать. Тут девушки захлопотали вокруг меня, стараясь, чтобы я чувствовал себя как дома, среди друзей. А я почувствовал себя мерзавцем, подонком и гадом – и решил: вот кровь из носу, а я им эти деньги верну.

Ну и ушел оттуда, сказал, что спать лягу, а про себя подумал – рано или поздно. Поднялся в мою комнатку и стал прикидывать, как мне это дело обделать. Говорю себе: может, сбегать тайком к доктору, рассказать ему о наших проходимцах? Нет, не годится. Он же непременно на меня сошлется, и тогда король с герцогом устроят мне развеселую жизнь. Ладно, а если открыться Мэри Джейн? И это не пойдет. Они по лицу ее все мигом поймут, схпают денежки и удерут, только их и видели. А если она позовет кого-то на помощь, так пока эти люди разберутся, кто прав, кто виноват, успеют половину собак на меня повесить. Нет, выход у меня только один. Надо стибрить деньги, но так, чтобы на меня никто не подумал. Добра моим жуликам тут привалило немало, они не уедут, пока не оберут девушек, да и весь городок, до нитки, так что время у меня есть. Улучу момент, украду деньги, припрячу, а потом, спустившись по реке, напишу Мэри Джейн письмо про то, где они лежат. Хотя нет, думаю, украсть их лучше всего сегодня, потому что доктор, может, еще и не отступился от своего, только вид такой сделал, – а ну как ему все же удастся выгнать отсюда короля с герцогом?

Ну хорошо, думаю, пойду, обыщу их комнаты. В верхнем коридоре было темно, однако комнату герцога я отыскал и стал обшаривать ее на ощупь, но тут сообразил, что король никому такие деньги не доверил бы, он их наверняка у себя припрятал, и потому перешел в его комнату и по ней шарить начал. И вскоре поняв, что без свечи мне никак не управиться, а зажигать-то ее нельзя. Ну и надумал поступить иначе, спрятаться здесь и подслушать их разговор. Вдруг слышу, шаги приближаются, и решаю залезть под кровать, да только поди, найди ее в такой темнотище, и тут попадается мне под руку занавеска, которая платя Мэри Джейн прикрывала, и я – скок за нее, зарылся в платя и замер.

Вошли они, дверь затворили, и герцог первым делом наклонился под кровать заглянул.

Уж так я обрадовался, что не нашел ее в темноте. Хотя, оно конечно, если хочешь кого подслушать, так под кроватью тебе самое место иесть. Ну вот, уселись они, и король говорит:

– Так в чем дело? Только давайте покороче, нам лучшескорбеть внизу со всеми прочими, а то они, глядишь, начнут там наши костиперемывать.

– Понимаете, какая штука, Капет, что-то мне не по себе, тревожно как-то. Доктор этот из головы не идет. Вот я и хочу понять, что вызадумали. У меня-то есть одна мысль и, полагаю, правильная.

– Это какая же, герцог?

– А такая, что лучше бы нам часиков около трех ночи смытьсяотсюда без всякого шума и уйти вниз по реке с тем, что у нас уже имеется. Темболее, что деньги эти мы получили без всякого труда – нам же их *отдали*, они, можно сказать, сами на наши головы свалились, их даже красть не пришлось. Воти давайте ноги делать, да поскорее.

Ну, думаю, беда. Час-другой назад все было бы маленькоиначе, а тут я до того расстроился, что прямо сердце упало. Однако король говорит:

– Как это? Не распродав все остальное? Сбежать, точнопарочка слабоумных, бросив собственность ценой в восемь-девять тысяч долларов,которая только и ждет, чтобы мы ее заграбастали. И какая собственность – у насее с руками оторвут.

Герцог забурчал, что хватит с них и мешка с золотом, что онне желает брать еще один грех на душу, лишать сирот *всего*, что у нихесть.

А король отвечает:

– Да о чем вы говорите! Ничего мы их, кроме этих денег, нелишим. Пострадают лишь те, кто *купит* их собственность, потому как, едвавыяснится, что нам она не принадлежала, а это произойдет, едва мы удерем,продажу объявят незаконной и все вернется к девчонкам. Дом эти ваши сиротки ужеполучили, ну и довольны с них, девушки они молодые, шустрые, как-нибудь найдут,чем заработать на кусок хлеба. *Им* мы ничем не навредим. Сами подумайте,у них же добра останется на тысячи и тысячи долларов. Господи помилуй, да начто им жаловаться-то будет?

В общем, разбил он герцога по всем статьям, и тот сдался и сказал,будь по вашему, но он все равно считает, что задерживаться здесь – грандиознаяглупость, тем более, что доктор их в покое не оставит. А король отвечает:

– Да пошел он, ваш доктор! Какое нам до него дело? Вседураки этого городка горой за нас стоят, так? А дураки везде большинствосоставляют.

Ну, собрались они вниз спуститься. Но герцог говорит:

– Надо бы нам деньги поллучше спрятать.

Я обрадовался. Потому как начал уж думать, что ничего дляменя полезного я от них не услышу. Король спрашивает:

– Это еще зачем?

– Затем, что Мэри Джейн, того и гляди, траур напялит, такчто вы и ахнуть не успеете, как она велит негритянке, которая тут в комнатахприбирается, уложить все ее тряпье в какой-нибудь сундук и убрать подальше – ичто, думаете, негритянка, увидев деньги, не сопрет их?

– Вот теперь, герцог, голова у вас опять варить начала, –говорит король и лезет под занавеску футах в двух-трех от меня. Я так и влип встену, заkostenел, хоть меня малость и трясло; стою, гадаю, что они скажут,застукав меня здесь, и стараюсь придумать, как мне тогда выкрутиться. Однаконе успел я еще и половинку мысли додумать, а король уже вытащил мешок, так меняи не заметив. Засунули они его в прореху соломенного матраца, который подпериной лежал, затолкали в солому на фут-другой и решили, что так оно будетхорошо и надежно, – негритянка же только перину и перетряхивает, а за матрац беретсывсего раза два в год, значит и деньги в нем целы останутся.

Ну, я на этот счет держался другого мнения. Они еще и досередины лестницы не дошли, как я вытащил мешок, а после взлетел в мою комнаткуи спрятал его там, чтобы перепрятать, когда возможность такая представится. Ирешил, что сделать это лучше где-нибудь вне дома, потому что, хватившись мешка,они весь дом перероят, это я точно знал. Ну а потом лег, не

раздеваясь, – заснуть-тоя все равно не смог бы, даже если бы захотел, до того мне не терпелосьпокончить с этим делом. В конце концов, я услышал, как король с герцогомподнимаются по лестнице, скатился с моего тюфяка и высунул голову на мансарднуюлесенку, чтобы посмотреть, не случится ли чего. Ничего не случилось.

Дождался я времени, когда ночные звуки уже стихают, аутренних еще не слышать, и тихонько соскользнул по лестнице.

Глава XXVII. Золотовозвращается к покойному Питеру

Подкрался я к их дверям, прислушался – оба храпят. Я нацыпочках сошел вниз. Ниоткуда не доносилось ни звука. Я заглянул в чуть приотвореннуюдверь гостиной и увидел, что люди, оставшиеся в доме, чтобы нести бдение угроба, крепко спят по креслам. Дверь в гостиную, где лежал мертвец, былаоткрыта, в обеих комнатах горело по свече. Я миновал и эту дверь – в гостинойникого и ничего, только останки Питера, и двинулся дальше и скоро уперся впарадную дверь дома, и она оказалась запертой, а ключа в замочной скважине не было.И тут слышу, за спиной у меня кто-то по лестнице спускается. Я метнулся вгостиную, поозирался по сторонам, вижу – единственное место, в каком можнопрятать мешок, это гроб. Крышка его была сдвинута примерно на фут, оставивоткрытыми лицо покойника с влажной тряпицей на нем да часть савана. Я запихалмешок под крышку, ниже сложенных рук Питера, – они оказались такими холодными,что меня дрожь пробрала, – а потом проскочил по комнате к двери и встал за ней.

Вошла Мэри Джейн. Она почти неслышно приблизилась к гробу,опустилась на колени, заглянула в него, достала платочек и заплакала, правда,плача я не услышал, потому что она спиной ко мне стояла. Я выскользнул изгостиной и, проходя мимо столовой, заглянул в дверную щель, – проверить, заметил ли меня кто, – там все было тихо. Никто из спавших и не пошевелился.

Я вернулся в мою постель, настроение у меня было паршивое –столько хлопот, столько риска и вон как все обернулось. Если мешок там иостанется, это ладно, говорю я себе; когда мы спустимся по реке на сотню-другуюмиль, я напишу Мэри Джейн, она откопает гроб и достанет из него золото; но ведьэтого не будет – а будет вот что: начнут к гробу крышку привинчивать да инайдут мешок. И король снова получит деньги и тогда уж очень постарается, чтобыникто их больше не попятил. Конечно, мне *хотелось* прокрасться вниз,вытащить мешок, но я даже пробовать не стал. Близилось утро, с минуты на минутукто-то из спавших в столовой мог проснуться, и тогда меня поймали бы с шестьютысячами долларов в руках – с деньгами, которых никто моим заботам не вверял.Нет уж, в *такую* историю я вляпаться не хочу, сказал я себе.

Когда я утром спустился вниз, гостиная оказалась запертой, аночные бдящие уже разошлись. В доме остались только члены семьи, вдова Бартли,да наша шайка. Я вглядывался во все лица, пытаюсь понять, не случилось ли чегонеобычного, однако никаких признаков этого не увидел.

Около полудня пришел владелец похоронной конторы спомощником. Они перенесли гроб на пару стульев, поставленных в середине гостиной,потом принялись расставлять стулья – наши и те, что мы позаимствовали усоседей, – пока не заполнили их рядами и гостиную, и столовую. Крышка на гробележала так же, как ночью, но заглянуть под нее я не мог – слишком много народу вокругтолклось.

А тут начали собираться люди, и мои прощельги уселись вместес девушками в первом ряду, у изголовья гроба, и в течение получаса пришедшиемедленно дефилировали мимо него, каждый с минуту вглядывался в лицо покойника,некоторые роняли слезу, все было так торжественно, спокойно, только девушки и прощельгиприжимали, понурясь, к глазам носовые платки и тихо плакали. Других звуков слышноне было, одно лишь шарканье ног по полу да сморканье – на похоронах люди всегдасморкаются чаще, чем где-либо еще, не считая, конечно, церкви.

Обе комнаты заполнялись людьми, а похоронщик в черныхперчатках скользил там и сям,

неслышный, как кошка, умиротворяюще жестикулируя, поправляя что-нибудь напоследок, стараясь, чтобы всем было хорошо и удобно. Ини слова не произносил – рассаживал людей по стульям, пропихивал наостававшиеся еще не занятыми места припозднившихся, освобождал для них проходы – и все это посредством кивков и жестов. А после встал у стены. Он был самым мягким, бесшумным и плавным в движениях человеком, какого я когда-либо встречал, а улыбался примерно так же часто, как окорок.

Откуда-то притазили фисгармонию – насмерть расстроенную, икогда все были готовы, за нее уселась и заиграла юная девица: инструмент забурчал, точно его желудочные колики прихватили, заскрипел, а люди как запоют, – по-моему, у одного только Питера мороз по коже от этих звуков и не побежал. Потом вышел вперед и заговорил, медленно и торжественно, преподобный Хобсон, итут же из погреба донеслось совершенно ни на что не похожее, безобразное гавканье, – собака там была всего одна, но голосиной обладала могучим и лаяла, не переставая; преподобному пришлось прерваться и стоять у гроба, ожидая, когда она заткнется, – куда там, скоро я уж и собственных мыслей расслышать не мог. Очень получилось неловко, а что делать, никто не знал. Впрочем, длинноногий похоронщик быстро подал преподобному знак – мол: «Не беспокойтесь, я все устрою» – изскользил вдоль стены, пригнувшись так, что только плечи его над головами сидевших и виднелись. Прошмыгнул он вдоль двух стен гостиной – шум и гавканье становились тем временем все более непристойными, – и скрылся за дверью погреба. А секунды через две мы услышали, как он дал собаке здоровенного пенделя, как она изумленно взвыла раз-другой и умолкла, – и преподобный заговорил снова, с того места, на котором его прервали. Через пару минут похоронщик вернулся и, опять скользя вдоль стен, на сей раз вдоль трех, выпрямился, трубкой сложил у рта ладони, вытянул над головами людей шею к священнику и хриплым шепотом сообщил: «Она крысу словила!». А после снова согнулся и скользя на прежнее свое место. Лица у всех стали довольные, потому что каждому же хотелось узнать, в чем там дело – то было. Такие простенькие поступки человеку ничего обычно не стоят, зато внушают уважение к нему и любовь. Вот и жители этого городка никого так не любили, как своего похоронщика.

В общем, погребальная служба получилась хорошая, но малость длинная и утомительная, в нее еще и король встрял и понес обычную его ахинею, однако, в конце концов, служба завершилась, и к гробу стал подбираться сотверткой в руке похоронщик. Я аж вспотел и глаз с него не сводил. Но нет, вгроб он соваться не стал – просто надвинул, как смог тихо, крышку и привинтил ее быстро и крепко. Вот вам и здарсьте! Теперь я и вовсе не знал, там деньги, нетам. И говорю себе, допустим, кто-то втихаря слямзил мешок, – и что же я теперь Мэри Джейн напишу? Ну, раскопает она могилу и ничего в гробу не найдет, – что она обо мне подумает? Проклятье, говорю я, на меня ж тогда охоту объявят, а после в тюрьму упекут; нет уж, самое для меня правильное – затаиться и молчать в тряпочку; в хорошенькую я историю впутался: хотел сделать как лучше, а сделал сто раз хуже, надо было оставить все как есть и не лезть в это дело!

Гроб зарыли, все разошлись по домам, и я опять начал к лицам приглядываться, никак успокоиться не мог. Но так ничего и не выглядел, ни однолицо ни о чем мне не говорило.

Вечером король по гостям ходил – произносил сладкие речи, дружелюбие изображал и объяснял всем и каждому, что в Англии его ждет недождется паства, так что ему необходимо побыстрее уладить все имущественные дела и возвратиться назад. Очень он жалел, что приходится так спешить, да и другие все тоже жалели, им хотелось, чтобы он подольше пожил в городке, ну дачто ж тут поделаешь, говорили они, – ничего, мы понимаем. А еще король уверял всех, что он и Уильям заберут, разумеется, племянниц с собой, и всех страшно радовало, что девушки будут так хорошо устроены и смогут жить с родственниками забот никаких не зная, и упрашивали короля поскорее все распродать, тогда девочки сразу смогут уехать с ним. Да и сами бедняжки были до того довольны и счастливы, что у меня просто сердце щемило, – я же понимал, что им врут, обманывают их, а вмешаться и изменить общее настроение не мог.

Ну вот, и будь я проклят, если король мигом не назначил время аукциона, с которого он

собирался продать и дом, и негров, и прочую собственность – через два дня после похорон; впрочем, каждый желающий мог купить что угодно и частным порядком, без аукциона.

В результате, на следующий день после похорон, около полудня, радости девушек был нанесен первый удар. Откуда ни возьмись появились двое работоторговцев, и король продал им домашних негров по разумной цене, с оплатой чека по истечении трех дней – так это называлось, – и негров увезли: двух братьев вверх по реке, в Мемфис, а их мать вниз, в Орлеан. Я думал, у бедных девочек и негров сердца разорвутся от горя, уж так они плакали, так сокрушались, я и сам чуть не заболел, на них глядя. Девушки говорили, что они и в мыслях не имели разделять семью да и вообще продавать негров в другие города. А картина, которую я увидел тогда, – несчастные девушки и негры обнимают друг дружку и режут в голос, – въелась в мою память, видать, уже навсегда. Я бы, наверное, не выдержал и вмешался бы, и вывел двух бандитов на чистую воду, кабы не знал, что продажа негров незаконна и они через пару недель возвратятся домой.

В городе эта история наделала немало шума, многие прямо говорили, что разлучать вот так вот мать с детьми просто-напросто постыдно. Жуликам моим это малость повредило, однако старый дурак пер себе вперед, точно бык, что бы ни говорил ему и ни делал герцог, а герцогу, уж вы мне поверьте, было сильно не по себе.

Настал день аукциона. Утром – совсем уж светло было – король с герцогом поднялись в мою комнатку, разбудили меня. Выглядели они сильно расстроенными. Король спрашивает:

– Ты в мою комнату позавчера ночью заходил?

– Нет, ваше величество, – я всегда его так называл, если никого, кроме наших, поблизости не было.

– А вчера или в эту ночь?

– Нет, ваше величество.

– Как на духу говори, не ври.

– Я и не вру, ваше величество, честное слово. Я в вашу комнату даже и не заглядывал с тех пор, как мисс Мэри Джейн водила туда вас игерцога.

Тут спрашивает герцог:

– А не видел ты, входил в нее кто-нибудь?

– Нет, ваша милость, вроде не видел, не помню такого.

– Подумай как следует.

Я помолчал немного и вдруг сообразил – вот она, удача-то. И говорю:

– Вообще-то, я пару раз видел, как туда негры входили.

Оба даже дернулись, уставились один на другого с таким видом, точно этого они никак уж не ожидали, а после на лицах их обозначилось, что *ничего другого* ожидать и не следовало. Герцог спрашивает:

– Все что ли?

– Нет, – по крайности, не все сразу, – я, по-моему, не видел, чтобы они все оттуда выходили, ну, может, всего один раз.

– Дьявол! Когда?

– В день похорон. Утром. Не очень рано, я тогда заспался немножко. А как встал, посмотрел вниз и вижу – выходят.

– Ну, ну, продолжай – *продолжай* ! Что они делали? Как себя вели?

– Да ничего особенного не делали. И вели себя, вроде, как обычно. Вышли на цыпочках, ну я и понял – это они собирались прибраться в комнате вашего величества или еще чего, думали, что вы уже встали; а как увидели вас спящим, постарались уйти потихоньку, чтобы вас не разбудить, хотя, может, и разбудили.

– Ах, чтоб меня, вот так *поворотик* ! – говорит король, и вид у обоих становится ошалелый и глупый. Постояли они с минуту, размышляя искребя в затылках, а после герцог хмыкнул, но как-то хрипло, и говорит:

– Ну и негритосы – будто по нотам все разыграли, бесподобно! Ведь как *горевали*, что им уезжать отсюда приходится! И я их горю поверил, и вы тоже, и все прочие. И не говорите

мне после этого, что негры лишены актерского дарования. Да они так свои роли сыграли, что *всех до единого* одурачили. Это же золото, а не негры. Будь у меня капитал и собственный театр, я бы лучших артистов и искать не стал, – а мы с вами продали их за медные деньги. Да и тех пока не получили. Ну, говорите, *где* они, эти денежки?

– В банке лежат, нас дожидаются. Где ж им еще быть?

– Ну, хоть *они* целы, хвала небесам.

Я спрашиваю, робко так:

– А что случилось?

Король как крутнется ко мне, да как рявкнет:

– Тебя не касается! Держи язык за зубами и занимайся своими делами – если они у тебя найдутся. И пока мы в городе, помни об этом, понял? – А потом говорит герцогу: – Ладно, придется нам это проглотить и помалкивать. Никому ни слова – вот все, что нам остается.

Шагнули они к лесенке, чтобы вниз спуститься, но тут герцог снова хмыкнул и говорит:

– Торговали – веселились, подсчитали – прослезились. Выгодное мы с вами дельце обтяпали, нечего сказать.

Король аж зубы оскалил:

– Я считал, что, чем быстрее мы их продадим, тем для нас будет лучше. И если барыш нам достался малый, почти никакой, так я виноват в этом не больше вашего.

– Ну, если бы вы послушали меня, то *негры* сейчас были бы здесь, а *нас* уже не было бы.

Король огрызнулся на него, но тихо, а после поворотил назад опять за меня принялся. Выбрал на все корки за то, что я, увидев негров, неприбежал к нему с донесением, – любой дурак, говорит, догадался бы, что дело тут не чисто. А потом притопнул ногой, да уж заодно обругал и *себя*, сказал, что, если бы он в то утро позволил себе вкушать естественный покой, а не вскакивал ни свет ни заря, ничего бы такого не случилось, и что гореть ему в аду, коли он еще хоть раз так поступит. И они ушли, переругиваясь, вниз, а я почувствовал себя страшно довольным, потому что сумел свалить все на негров, никакой, однако ж, беды на них не накликав.

Глава XXVIII. Надувательство не окупается

К этому времени весь дом уже проснулся. Я спустился в верхний коридор, пошел к лестнице, прохожу мимо комнаты девушек, смотрю – дверь распахнута, а за ней сидит над своим старым сундуком, открытым, Мэри Джейн. Она на него вещи укладывала, готовясь в Англию ехать, но теперь перестала – сидит сложенной в платке на коленях, лицо в ладони спрятала и плачет. Очень мне стало не по себе, да и любому стало бы. Вошел я в комнату и говорю:

– Мисс Мэри Джейн вам тяжело видеть человека в беде и мнотуже – по большей части. Расскажите, что случилось.

Она и рассказала. Все дело в неграх было – как я и думал. Сказала, что их продажа почти напроць испортила для нее прекрасное путешествие в Англию, она и не знает теперь, *как* сможет быть там счастливой, понимая, что мать и ее дети никогда больше не увидят друг дружку, – тут бедная девушка не выдержала, всплеснула руками и разрыдалась пуще прежнего.

– О боже, боже, подумать только, им *никогда* уже больше не свидеться!

– Да *свидятся* они – и в ближайшие две недели, я *точно* знаю! – говорю я.

Господи, я выпалил эти слова, и подумать ничего не успев. А она мигом обвила мою шею руками и попросила сказать это *снова* – и *снова*, и *снова* !

Я уж понял, что вылез с этим слишком рано, сболтнул лишку и сам себя в угол загнал. И попросил ее дать мне подумать с минутку. Ну, она сидит, молчит, взволнованная, красивая, сгорает от нетерпения, но выглядит такой счастливой и радостной, точно ей зуб только что выдрали. Стал я прикидывать, как мне быть. И говорю себе, если человек, попавший в серьезный перевет, начинает вдруг чистую правду говорить, так ведь он, пожалуй что, здорово рискует, – я, конечно, наверняка ничего сказать не могу, опыта у меня поэтой части уж больно мало, но так мне, во всяком случае, кажется, – однако насей раз, не сойти мне с этого места,

правда представлялась мне штукой намноголучшей, да, собственно, и *безопасной*, чем вранье. Надо будет, говорю ясебе, как-нибудь потом поразмыслить над этой редкостной странностью. Я ни с чемпохожим пока что не сталкивался. Ну и наконец, думаю: ладно, рискну, возьму даи скажу всю правду, хоть оно и все равно, что сесть на бочонок с порохом иподорвать его – из одной только любознательности, из желания выяснить, кудатебя метнет. И говорю:

– Мисс Мэри Джейн, есть где-нибудь неподалеку от городаместо, в котором вы могли бы отсидеться денька три-четыре?

– Да, дом мистера Лотропа. Но зачем мне где-то отсиживаться?

– Насчет «зачем» вы пока не думайте. Если я расскажу вам, откуда мне известно, что ваши негры увидятся – еще и пары недель не пройдет, –и увидятся прямо здесь, в вашем доме, если *докажу*, что мне это известнонаверняка, уедете вы дня на четыре к мистеру Лотропу?

– Дня на четыре! – говорит она. – Да ради этого я там хотьцелый год просижу.

– Хорошо, – говорю. – Кто другой мог бы и на Библии клясться, а я бы все-таки сомневался, но от *вас* мне и одного только словадовольно.

Она улыбнулась и зарумянилась, да так мило, а я говорю:

– Если вы не против, я закрою дверь – и засов задвину.

И, снова присев рядом с ней, попросил:

– Вы только в голос не кричите, ладно? Сидите спокойно ивыслушайте меня, как подобает мужчине. Я сейчас скажу вам правду, мисс МэриДжейн, так что крепитесь, потому как правда эта неприятная и принять ее будеттрудно, но тут уж ничего не попишешь. Ваши дядюшки – никакие не дядюшки, а парочкамошенников, сущих проходимцев. Ну вот, худшее я сказал, остальное вам выдержатьпроще будет.

Конечно, ее это потрясло, однако самое узкое место я уже проскочил, а дальше пошел полным ходом. Глаза у нее разгорались, разгорались, пока ярассказывал все точка в точку, начиная с той минуты, в которую мы повстречалинаправлявшегося к пароходу юного простофилю, и до той, когда она бросилась усвоих дверей королю на грудь, а он поцеловал ее раз шестнадцать-семнадцать, –тут она вскочила, лицо пылает, что твое небо на закате, и говорит:

– Скотина! Пойдем, не будем терять ни минуты – *ни секунды*, – добьемся, чтобы их вываляли в смоле и перьях и бросили в реку!

Я отвечаю:

– Всенепременно. Только вы когда это сделать хотите – *до* отъезда к мистеру Лотропу или...

– Ой, – говорит она.

– *Нашла* о чем думать! – говорит, и снова садится. –Забудь о моих словах, пожалуйста. Не обижайся, ладно?

И кладет свою шелковистую ладошку на мою – да так, что яотвечаю: сначала, мол, помру, а уж после и обижусь.

– Я до того разозлилась, что у меня голова кругом пошла, –говорит она. – Ну, продолжай, я так больше не буду. Скажи мне, что делать, явсе сделаю.

– Ну так вот, – говорю, – эти двое мошенников – мерзавцы,каких мало, но так уж вышло, что мне придется какое-то время плыть с ними идальше, хочу я того или нет, – не спрашивайте, почему; конечно, если вы имсейчас хвост прищемите, ваш городок вырвет меня из их лап, и я только рад буду;но тогда еще одному человеку, – вы его не знаете, – придется очень туго. Мы ж должныуберечь его от беды, верно? Конечно, должны. Поэтому мы их сейчас трогать не станем.

Пока я это говорил, мне хорошая мысль в голову пришла. Ясообразил, что, может, мне и Джиму и удастся избавиться от наших мазуриков –оставить их в здешней тюрьме и смыться. Однако плыть на плоту днем, не имеярядом никого, кто мог бы отвечать на вопросы встречных-поперечных, мне вовсе неулыбалось, а значит, выполнение моего плана следовало отложить до позднеговечера. Ну, я и говорю:

– Мисс Мэри Джейн, я скажу, как мы поступим, и вам даже не придется так долго сидеть

у мистера Лотропа. Далеко до него отсюда?

– Меньше четырех миль – вон в ту сторону. Совсем рядом.

– Ну и отлично. Вы сейчас поедете к нему, побудете там додевяти или до половины десятого вечера, а потом попросите отвезти вас домой – скажете, что вспомнили про одно важное дело. Если окажетесь здесь доодиннадцати, поставьте вот у этого окна свечу и, коли я сразу не объявлюсь, подождите *до одиннадцати*, а если не объявлюсь и к этому часу, значит, я сумелсбежать и мне ничего не грозит. Идите тогда в город, рассказывайте обо всем исажайте это жулье в тюрьму.

– Хорошо, – говорит она. – Так и сделаю.

– А если получится так, что я удрать не смогу и меня сцапаютвместе с ними, вы уж объясните, что я вам все загодя рассказал, заступитесь заменя, как сможете.

– Заступиться? Да я тебя пальцем никому тронуть не дам! –говорит она и вижу: ноздри у нее раздуваются, а глаза сверкают.

– Если я все же удеру, – говорю я, – то не смогу доказать, что они не дядюшки ваши, а пройдохи, но и если останусь здесь, тоже ведь не смогу. Я присягну, конечно, что они – бродяги и воры, но и все, хотя, конечно, и это чего-нибудь да стоит. Однако есть люди, которые могут обличить эту парочку лучше, чем я, и в их правдивости усомниться будет потруднее, чем вмоей. Я вам объясню, как их найти. Дайте мне карандаш и листок бумаги. Вот, смотрите: «Королевское совершенство, Бриксвилль». Спрячьте эту бумажку, не потеряйте. Когдасуду захочется узнать о них побольше, пусть пошлет кого-нибудь в Бриксвилль сизвестием, что у вас здесь изловили людей, которые представляли «Королевскоесовершенство», и что вам нужны свидетели против них. Вы и ахнуть не успеете, мисс Мэри, как все, кто живет в том городе, сюда прискачут, да еще и презлющие.

Ну, думаю, теперь вроде все. И говорю:

– Пусть они аукцион свой устраивают, вам беспокоиться не о чем. Пока после него целый день не пройдет, за купленное все равно никто заплатит не успеет, а мои прохвосты без денег отсюда не уберутся, а если мысделаем все, как задумали, то и продажу объявят незаконной, и никаких денегони не получают. Это как с вашими неграми – не было никакой продажи, и негрыскоро назад вернутся. Господи, да они и за *негров* ничего пока что не получили – вляпались они по самые уши, мисс Мэри.

– И хорошо, – отвечает она. – Ладно, я сейчас спущусь вниз, позавтракаю, а потом отправлюсь к Лотропам.

– Ну уж нет, мисс Мэри Джейн, не пойдет, – говорю я, – ни вкоем разе. Уезжайте *до* завтрака.

– Зачем?

– А как вы думаете, мисс Мэри, почему я вас вообще уехать-то попросил?

– Действительно, об этом я как-то и не подумала. Так почему же?

– Господи, да потому, что притворщица из вас никакая. У вас же не лицо, а раскрытая книга – подходи и читай. Все написано, да еще и крупными буквами. Думаете, вам удастся смотреть в физиономии ваших дядюшек, когда они вас обнимать-целовать будут, да доброго утра желать, и ничем...

– Нет, нет, не надо! Хорошо, я уеду до завтрака – только радабуду. Но как же я сестер с ними оставлю?

– Ничего с вашими сестрами не стряется. Ну, придется им потерпеть еще немножко. А если вы все разом с места сниметесь, дядюшки могут заподозрить неладное и сбежать. Лучше вам и с ними не видеться, и с сестрами, да и ни с кем в городе. А то еще спросит вас кто-нибудь из соседей, как здоровье дядюшек, и тут же все по вашему лицу и поймет. Нет, уезжайте, мисс Мэри Джейн, а я тут все устрою. Скажу мисс Сьюзен, будто вы просили ее поцеловатьот вас дядюшек и передать им, что вы уехали на пару часов отдохнуть иразвеемся, или там подругу навестить, а к вечеру, ну, самое позднее рано утром, вернетесь.

– Да, подругу, правильно, только я не хочу, чтобы их целовали.

– Ладно, значит, обойдемся без поцелуев. – Тут я соврал, конечно, ну да ничего дурного

в этом не было. Подумаешь, поцелуйчик передать, –пустяк, и к тому же, безвредный; а ведь такие-то пустяки и позволяют людям идтипо жизни, точно под горку; Мэри Джейн так будет спокойнее, а мне мое обещаниеничего не стоит. И я сказал: – Да, совсем забыл, – насчет мешка с деньгами.

– Верно, мешок у них, и я себя такой дурой чувствую,вспоминая, *как* они его получили.

– Вот тут вы ошибаетесь. Мешка у них нет.

– Как так, а у кого же он?

– Я бы и сам это знать хотел. *Был* у меня, потому чтоя его у них спер, чтобы вам вернуть. Я знаю только, где я его спрятал, но,боюсь, его и там уже нет. Мне страшно жаль, мисс Мэри Джейн, вы даже непредставляете – как, но я сделал лучшее, что мог, честное слово. Я едва непопался с этим мешком, ну и засунул его в первое место, какое мне подвернулось,и удрал, – а место было не самое удачное.

– Ой, да перестань ты себя корить – это неправильно, я тебезапрещаю, – ты же ничего другого сделать не мог, значит, и не виноват ни в чем.Так куда ты его спрятал?

Мне не хотелось напоминать ей о ее горе, не мог я заставитьсебя сказать то, от чего она сразу увидит перед собой труп, лежащий в гробу смешком золота на животе. В общем, подумал я, подумал, и говорю:

– Если позволите, мисс Мэри Джейн, я вам лучше *рассказывать* про это пока не буду – просто напишу все на листке бумаги, а вы, коли вамзахочется, прочтете, когда к мистеру Лотропу поедете. Согласны?

– Да, конечно

И я написал: «Я положил его в гроб. Он был там, когда выплакали там ночью. А я стоял за дверью и очень вас жалел, мисс Мэри Джейн.»

У меня у самого слезы на глаза навернулись, стоило мневспомнить, как она плакала тогда – ночью, совсем одна, а эта парочка негодяевдрыхла совсем рядом, под крышей ее дома, собираясь обобрать ее и осрамить.Сложил я записку, протягиваю ей, – а у нее тоже глаза мокрые. Стиснула она моюруку, крепко так, и говорит:

– Прощай. Я сделаю все, как ты сказал, и даже если мы стобой больше не увидимся, я тебя никогда не забуду, и буду часто-часто думать отебе – и *молиться* за тебя!

И ушла.

Молиться, это ж надо! Думаю, знала бы она меня, так подыскалаб себе задачку попроще. Хотя, спорить готов, и знала бы, все равно бы молилась,– таким уж она была человеком. При ее характере она и за Иуду молиться сталабы, кабы решила, что дело того стоит, – и не отступилась бы нипочем, ей-богу.Говорите мне, что хотите, но, по моему мнению, крепости духа в ней было больше,чем в любой девушке, какую я когда-либо видел. Звучит это так, точно я ейпольстить хочу, но нет. А уж что касается красоты – да и доброты тоже, – тут МэриДжейн их всех до единой за пояс заткнула бы. Она как вышла тогда за дверь, я еебольше и не видел, но думал о ней много-много миллионов раз – и о том, что онаобещала молиться за меня, тоже; и если бы я хоть раз заподозрил, что и из моеймолитвы за нее мог бы какой-нибудь толк выйти, то, не сойти мне с этого места,– молился бы, пока не лопнул.

Ну и вот, Мэри Джейн, я так понимаю, из дому через заднююдверь улизнула, потому что, как она исчезла, никто не заметил. А я отыскалСьюзен с Заячьей Губой и говорю:

– Как зовут тех людей, которые на другом берегу живут? Выеще к ним иногда в гости ездите.

Они отвечают:

– Там таких несколько. Но мы все больше у Прокторов гостим.

– Ну да, правильно, – говорю. – Из головы вылетело. Так вот,мисс Мэри Джейн просила вам передать, что ей пришлось в страшной спешке уехатьтуда – кто-то там у них заболел.

– А кто?

– Да я не знаю, вернее сказать, забыл, по-моему...

– Господи, надеюсь, не *Ханнер* ?

– Не хочется вас огорчать, – отвечаю, – но как раз онасамая.

– Боже милостивый, а ведь еще на прошлой неделе совсемздоровой была! И сильно она заболела?

– Сильно это не то слово. Мисс Мэри Джейн сказала, они у ее постели всю ночь просидели и считают, что она теперь не долго протянет.

– Подумать только! А что с ней?

Я ничего подходящего так вот сразу придумать не смог и потому ляпнул:

– Свинка.

– Какая еще свинка? Если кто свинкой заболеет, около него ночью не сидят!

– Не сидят, не сидят! При *такой* свинке сидят как миленькие. Это свинка не простая. Новая разновидность, так мне мисс Мэри Джейн сказала.

– Как это новая?

– А так, что она за собой другие болезни тянет.

– Это какие же?

– Ну, корь, и коклюш, и ржу, и чахотку, и желчнопожелтение, и воспаление мозга, и уж не знаю, чего еще.

– Ужас какой! И ее все равно *свинкой* называют?

– Так мне сказала мисс Мэри Джейн.

– Бог ты мой, но почему же?

– Потому что это свинка и *есть*, начинается-то все с нее.

– Да ведь бессмыслица же. Ну вот, допустим, ушиб человек палец на ноге, а потом наелся яду, свалился в колодец, шею сломал и мозги себе высадил, и после кто-нибудь спрашивает, отчего это он помер, а какой-то олух говорит: «А это он себе *пальчик* на ноге зашиб». Есть в этом хоть какой-нибудь смысл? *Нету*. И *тут* тоже нету. Она заразная?

– *Заразная*? О чем ты говоришь? Вот ты на *борону* в темноте напорешься, так зацепишься за нее или нет? Если не за один зуб, то задругой непременно, правильно? И не отцепишься потом, всю ее за собой потянешь, верно? Вот и эта свинка, можно сказать, вроде бороны, да еще и самой хитроумной – ужвцепится, так не отцепится.

– Ужасно, просто ужасно, – говорит Заячья Губа. – Сейчас жепойду к дяде Гарвею и...

– Ну да, – говорю. – Я бы *так и сделал*. А как же. Ни минуты терять не стал бы.

– Хочешь сказать, не сделал бы?

– А ты подумай с минутку, может и сама все поймешь. Разветвоим дядьям не нужно как можно скорее в Англию попасть? И ты ж не думаешь, что им хватит подлости оставить вас здесь – добирайтесь, мол, своим ходом. Ты ведь знаешь, они непременно вас подождут. Ладно, хорошо. Теперь смотри, твой дядя Гарвей – проповедник, так? Отлично, а станет *проповедник* надувать паровозного кассира? Станет он потом и *судового кассира* надувать, лишь бы мисс Мэри Джейн на борт протащить? *Сама* знаешь, не станет. Так что же он *сделает*? А он скажет: «Жаль, конечно, но придется моей церкви пока без меня управляться, потому как моя племянница могла подцепить ужасную *апюрибусумную* [9] свинку, и моя святая обязанность посидеть здесь и подождать три месяца, пока не выяснится, больна она или здорова.» Но, конечно, если ты считаешь, что самое лучшее – рассказать об всем дяде Гарвею...

– Да ну тебя – это чтобы мы торчали здесь, как дуры, дожидаясь, когда выяснится, заболела Мэри Джейн или нет, вместо того, чтобы жить припеваючи в Англии? Глупее ты ничего придумать не мог?

– Ну, наверное, кому-то из соседей сказать все-таки стоит.

– Нет, вы его только послушайте! Всем дуракам дурак. Неужели ты *не понимаешь*, что уж *они-то* эту новость по всему городу разнесут? Нет, самое верное – *вообще* никому ничего не говорить.

– Ладно, может, ты и права... да, пожалуй, права.

– Только надо будет все-таки сказать дяде Гарвею, что Мэри Джейн уехала ненадолго, а то он волноваться будет.

– Да, мисс Мэри Джейн как раз и хотела, чтобы вы так сказали. Говорит: «Передайте дяде Гарвею и дяде Уильяму, что я люблю их и целую, и скажите, что я уехала за реку, чтобы

повидать мистера»... мистера... какже их зовут-то, богатое такое семейство, его еще мистер Питер шибко уважал ... нуэти, как их...

– А, это ты про Апторпов, что ли?

– Точно. Ну и фамилии у вас тут, черт ногу сломит, половинуне запомнишь, как ни тужься. Да, так она и сказала: передайте, мол, что МэриДжейн поехала за реку к Апторпам, потому как ей хочется, чтобы они были нааукционе и купили ваш дом, – дескать, дядя Питер был бы рад, если бы он имдостался, а не кому другому, так что она собирается донимать их, пока они непообещают приехать, а после, если не слишком устанет, вернется домой, а еслиустанет, вернется назавтра утром. И попросила насчет Прокторов ничего неговорить, только про Апторпов – и это будет чистая правда, потому что она действительнохочет поговорить с ними насчет покупки дома, так она мне сама и сказала.

– Ладно, – говорят девушки и отправляются к дядьям, чтобы,значит, рассказать им насчет любви, поцелуев, и всего прочего.

Ну, стало быть, все, что требовалось, я уладил. Девушки ничеголишнего не сболтнут, потому что им в Англию ехать охота, а король с герцогомотсутствию Мэри Джейн на аукционе только обрадуются – для них главное, чтобыона с доктором Робинсоном не стакнулась. Я был страх как доволен собой, думал,что очень все аккуратно обделал – небось, и сам Том Соьер лучше не управилсябы. Нет, он, конечно, добавил бы разных завитушек, ну так куда же мне с нимтягаться – образования не хватает.

Ладно, провели они аукцион – под самый вечер, прямо нагородской площади, – он все тянулся, тянулся, а старикан наш и на миг с него неотлучался, так и вертелся там, вид у него был самый благочестивый, однако отаукционщика он старался далеко не отходить и время от времени добавлял к егословам что-нибудь этакое из Писания или просто нравоучительное, ну и герцогтоже там торчал – гугукал всем подряд, улыбался по-дружески, показывал, как онвсех любит.

Короче говоря, тянулся аукцион,тянулся, пока не оказалось распроданным все, кроме небольшого участка земли накладбище. Ну, они и его попытались спихнуть – все же, такого проглоты, как нашкороль, я отродясь не встречал: вот подай ему *все* – и сразу. Ну ладно, атем временем, к городку подошел пароход и уже через пару минут на площадьпривалила целая толпа, улюлюкавшая, хохотавшая, кривлявшаяся и оравшая:

– Новая смена прибыла! Вот вам еще два наследничка ПитераУилкса – налетай: с пылу, с жару, пять центов за пару!

Глава XXIX. Я удираю вовремя грозы

Они вели с собой очень приятного с виду старого джентльменаи такого же приятного молодого, правая рука которого покоилась в перевязи. Ибоже ж ты мой, как вопила и хохотала эта толпа, не переставая. Я-то ничегосмешного в происходившем не видел и думал, что королю с герцогом тоже теперь недо смеха будет. Думал, они просто позеленеют от страха. Ан нет, ничего они не позеленели.Герцог притворился, будто и не понимает, что тут случилось, он так и гугукал,довольный и радостный, булькал, что твоя кастрюлька с закипающим молоком, ну акороль просто смотрел на двух приезжих – смотрел с такой грустью, точно у негодуша изнывала от мысли, что есть же на свете такие плуты и обманщики. Иполучалось у него это – любой позавидовал бы. Многие из местных сгрудилисьвокруг короля, показывая ему, что стоят на его стороне. А старый джентльменвыглядел до смерти удивленным. Наконец, он раскрыл рот, и я с первых же егослов понял, что говорит он, как *настоящий* англичанин, куда там королю,хотя и тот справлялся с этим делом совсем не плохо – для самозванца, то есть.Слов пожилого джентльмена я в точности передать не смогу, даже и попробовать нестану, однако он обратился к толпе и сказал примерно так:

– Для меня все случившееся большой сюрприз, которого я никакне ожидал, а потому и подготовиться к нему не успел, тем более, что нас сратом преследовали несчастья, – он сломал руку, а багаж наш прошлой ночью поошибке отправили на берег в городке, стоящем несколько выше вашего. Я – Гарвей,брат Питера Уилкса, а это его брат Уильям, он ничего не

слышит и не говорит, а теперь и знаков мне подавать почти не может, поскольку одной руки для этого мало. Мы действительно те, за кого себя выдаем и через день-другой, когда сюда привезут наш багаж, я смогу это доказать. А до того времени я ничего большего говорить не стану, – просто поселюсь в гостинице и буду ждать.

Тут он и новый бессловесный болванчик развернулись и ушли, а король рассмеялся и забалабонил:

– Руку сломал – *весьма* правдоподобно, не так ли? И *весьма* удобно – для мошенника, которому пришлось бы знаки подавать, а он их языком не владеет. Багаж они потеряли! *Превосходно*, и чрезвычайно изобретательно, к тому же, – с учетом всех *обстоятельств* !

И опять засмеялся, и все прочие тоже, кроме трех-четырех, ну, может, полудюжины человек. Одним из них был доктор, другим – востроглазый такой, только что сошедший с парохода джентльмен со стареньким ковровым саквояжем в руке. Вскоре я понял, что это вернувшийся из Луисвилля адвокат Леви Белл, он вполголоса разговаривал с доктором, оба посматривали на короля и кивали друг другу. И был еще один – здоровенный дядька, пришедший с толпой, молча выслушавший старого джентльмена, а теперь слушавший короля. И когда король умолк, этот здоровяк спрашивает у него:

– Скажите-ка, если вы Гарвей Уилкс, то когда вы в этот город приехали?

– За день до похорон, друг мой, – отвечает король.

– И в какое же время?

– Под вечер, за час или два до захода солнца.

– А на чем?

– Мы прибыли из Цинциннати на пароходе «Сьюзен Белл».

– Ладно, а как же тогда получилось, что *утром* выподплывали к Пинту – в челноке?

– Я не был утром в Пинте.

– Врете.

Сразу несколько человек подскочили к нему и попросили неразговаривать так со старым человеком, да еще и проповедником.

– Проповедником, чтоб я сдох. Пройдоха он и врун. Он был тем утром в Пинте. Я ж там живу, правильно? Ну так вот, и я там был, и он тоже. Я его видел. Он плыл в челноке с Томом Коллинсом и каким-то мальчишкой.

А доктор спрашивает у него:

– Вы бы узнали того мальчишку, если бы снова увидели, а, Хайнс?

– Может, и узнал бы, не знаю. Хотя – вот же он стоит. Ну точно, он.

И указывает на меня. А доктор говорит:

– Соседи, я не знаю – мошенники ли та новая парочка, но, если *эти* двое не мошенники, то я идиот, да и только. По-моему, мы просто обязаны позаботиться о том, чтобы они не удрали отсюда, пока мы во всем неразберемся. Пойдемте, Хайнс, и все прочие тоже. Отведем их на постоялый двор и устроим очную ставку с двумя другими – думаю, *что-нибудь* мы с вами да выясним и довольно скоро.

Людам эта мысль понравилась – кроме, разве что, друзей короля, и все пошли к постоялому двору. Солнце уже почти село. Доктор вел меня за руку, вел по-доброму, однако держал крепко.

Пришли мы в гостиничку, заняли самую большую ее комнату, зажгли несколько свечей, позвали двух приезжих. И доктор говорит:

– Я не хочу быть слишком суровым к первым двум, однако думаю, что они жулики и что у них могут иметься соучастники, о которых нам ничего не известно. А если это так, соучастникам ничего не стоит удрать, прихватив с собой мешок с золотом Питера Уилкса, верно? Если же они не жулики, то не станут возражать против того, чтобы мы послали кого-нибудь за деньгами и держали их у себя, пока они не докажут свою правдивость – ведь так?

И с этим все тоже согласились. Ну, думаю, загнали они моих бандитов в угол, да еще и с самого начала. Однако король всего-навсего соорудил скорбную мину и говорит:

– Джентльмены, я и желал бы, чтобы деньги были там, в доме, ибо не в моей натуре

противиться открытому, честному и доскональному разбирательству, но, увы, денег там нет, вы можете, если вам будет угодно, послать туда кого-нибудь для проверки.

– А где ж они тогда?

– Видите ли, когда моя племянница отдала их мне на хранение, я спрятал деньги в соломенный тюфяк моей постели, полагая, что сдавать их в банк на те несколько дней, какие мы здесь пробудем, бессмысленно, и что моя постель место надежное, – мы же не привыкли к неграм и думали, что они так жечестны, как наши английские слуги. Однако на следующее утро негры, едва я спустился вниз, похитили мешок, а я, продавая их, пропажи еще не хватился, и негры увезли деньги с собой. Мой слуга может подтвердить все это, джентльмены.

Доктор и еще кое-кто восклицают: «Чушь!», да и остальные, вижу, королю не шибко поверили. Один из них спросил у меня, вправду ли я видел, как негры деньги воруют. Я ответил – нет, я видел, как они крадутись покидают комнату и торопливо уходят, но ничего плохого не подумал, решил, – они испугались, что разбудили моего хозяина, ну и спешат убраться, пока он на них не набросился.

Других вопросов мне задавать не стали. Только доктор повернулся ко мне и спросил:

– И ты *тоже* англичанин?

Я говорю – ну да, а он и несколько других рассмеялись и снова сказали: «Чушь!».

Ну вот, и пошли расспросы – час, другой, – об ужине никто и не заикнулся, да, по моему, и не вспомнил даже, а все только задавали и задавали вопросы и скоро вконец запутались. Сначала они попросили короля про его жизнь рассказать, потом старого джентльмена – про его, и тут уж любой, кроме самого предвзятого обормота понял бы, что старый джентльмен правду говорит, а король врет. Потом и до меня черед дошел – расскажи, мол, что знаешь. Король бросил на меня такой взгляд, что я враз понял, чьей стороны мне лучше держаться. И стал рассказывать про Шеффилд, про нашу тамошнюю жизнь, про всех английских Уилксов и так далее, однако особо далеко зайти не успел, потому что доктор начал посмеиваться, а адвокат Леви Белл сказал:

– Довольно, мой мальчик, я бы на твоём месте не тужился так. Сколько я могу судить, врать ты еще не научился, и получается это у тебя плоховато – похоже, ты мало практиковался. Совсем никудышно получается.

Комплимент его мне не так чтобы сильно понравился, но я все равно был доволен – отвязались они от меня и на том спасибо.

А доктор начал, обращаясь к адвокату:

– Если бы вы, Леви Белл, были в городе с самого начала...

Но тут встрял король – протянул адвокату руку и говорит:

– А, так вы старый друг моего бедного покойного брата, тот, о котором он мне так часто писал?

Адвокат руку его пожал, и улыбнулся приятно, и они поговорили немного, а после отошли в сторонку и еще поговорили, вполголоса, а потом адвокат сказал, уже во весь голос:

– Прекрасно, так и поступим. Я сам доставлю им ваш распоряжение вместе с распоряжением вашего брата и все будет улажено.

Выдал он королю перо и бумагу, тот присел за стол, голову набок склонил, язык прикусил и начал что-то писать, а после протянул перо герцогу и тот – впервые за это время – аж с лица спал. Однако перо принял и тоже написал чего-то. Тогда адвокат обратился к старому джентльмену:

– Будьте любезны, вы и ваш брат, напишите по нескольку сроки подписи ваши поставьте.

Написать-то старый джентльмен написал, да только никто написанного им прочитать не сумел. Адвокат очень удивился и сказал:

– Решительно ничего не понимаю, – он достал из кармана какие-то старые письма, просмотрел их, потом взгляделся в писанину старого джентльмена, потом снова в письма и, наконец, говорит: – Вот письма Гарвея Уилкса, а вот то, что написали *эти* двое, и сразу видно, что писем этих не писал ни тот, ни другой (ну, должен вам сказать, физиономии у короля с герцогом стали растерянные и глупые – они ж поняли, что адвокат их вокруг пальца обвел), а

вот написанное *этим* пожилым джентльменом, и опять-таки легко видеть, что и *он* их тоже не писал – правильное будет сказать, что он, судя по его каракулям, писать и вовсе не умеет. Далее, вот это...

Старый джентльмен говорит:

– Если позволите, я могу все объяснить. У меня такой почерк, что его никто разобрать не способен – кроме моего брата, – поэтому он переписывает все, что я напишу. Эти письма написаны его рукой, не моей.

– *Ну и ну!* – говорит адвокат. – Хорошенькое дело! У меня имеются также и письма Уильяма, и если вы попросите его черкнуть пару строк, мы сможем сравнить...

– Он *не умеет* писать левой рукой, – перебивает его старый джентльмен. – Если бы он владел сейчас правой, вы поняли бы, что и мои, и свои письма писал он. Прошу вас, взгляните и на те, и на другие – они же одним почерком написаны.

Адвокат так и сделал, и говорит:

– Да, похоже на то – во всяком случае, здесь присутствует разительное сходство почерков, на которое я прежде не обращал внимания. Так, так, так! Я полагал, что мы уже близки к разгадке, однако она от нас ускользнула, во всяком случае, отчасти. Но так или иначе, *одно* можно считать доказанным – эти двое отнюдь не Уилксы, – и он повел головой в сторону герцога и короля.

Ну, и что вы думаете? Наш непробиваемый старый дурак и тут же сдался! Вот ей-богу. Сказал, что это была неправильная проверка. Что его брат Уильям самый затейливый шутник, какой только существует на свете, что *сам-то он*, едва Уильям взялся за перо, понял – брат его собирается пошутить. И ведь разошелся не на шутку и нес эту околесицу, и нес, пока и сам в нее не поверил, но в конце концов, приезжий джентльмен перебил его и говорит:

– Я кое-что вспомнил. Присутствует здесь кто-нибудь из тех, кто помогал обрядить моего брата... – помогал обрядить покойного Питера Уилкса для погребения?

– Да, – отвечает один мужчина, – я его обрядил, а со мной Эб Тернер. Мы оба здесь.

Тогда старик к королю обращается:

– Не может ли этот джентльмен описать татуировку, которая была на груди покойного?

Да, пропади я пропадом, тут уж королю пришлось пошевелить мозгами, иначе он провалился бы у всех на глазах, как обваливается подмытый рекой берег, да и любой провалился бы, если бы ему такой вопросик вдруг задали, потому что – откуда ж кому знать, что там за татуировка была? Король даже побледнел малость, не смог с собой справиться, а в комнате тишина стоит мертвая, все вытянули шеи и на него уставились. Я и говорю себе: ну все, уж теперь-то он точно на попятный пойдет, никуда не денется. Думаете, пошел? Как бы не так. Вы, может, и не поверите, но нет, не пошел. Он, похоже, решил тянуть волынку, пока всех не уморит, думал – лопнет у людей терпение, отвяжутся они от него с герцогом, тогда и сбежать можно будет. Так или иначе, посидел он немного, помолчал, а потом улыбнулся и говорит:

– Пф! Весьма хитроумный вопрос, ну, просто *весьма!* Да, сэр, я могу сказать, что за татуировка была у него на груди. Такая, знаете ли, малюсенькая, тоненькая, синенькая стрелочка – и все; ее, если не приглядеться как следует, и не заметишь. Ну-с, и что вы на это скажете, а?

Нет, все-таки другого такого отъявленного старогобесстыдника я отродясь не встречал.

Глаза приезжего джентльмена, решившего, что ему удалось, *наконец-то* поймать короля на вранье, вспыхивают, он проворно поворачивается к Эбу Тернеру своего приятелем и говорит:

– Вы слышали, что он сказал? Была на груди Питера Уилкса такая метка?

Те в один голос отвечают:

– Мы ее не видели.

– Правильно! – говорит старый джентльмен. – Потому что *видели* вы на его груди маленькие тусклые П, Б, – правда, от этого второго инициала он еще в молодости отказался – и У, а между ними черточки, вот так: П-Б-У.

И он написал все это на клочке бумаги.

– Ну, ведь вы *это* видели, так?

А они опять в один голос:

– Нет, *не так*. Мы там вовсе ничего не видели.

Ну, тут уж терпение у людей лопнуло и они заорали:

– Да все они одним миром мазаны, жулье! В реку их! утопить! прокатить на шесте!

В общем, гвалт поднялся оглушительный. Однако адвокат запрыгнул на стол и закричал:

– Джентльмены – джентльмены! *Прошу вас*, позвольте мне слово сказать, всего *одно* слово! Давайте пойдём на кладбище, выкопаем труп и осмотрим его – иного выхода у нас нет!

Мысль эта пришлась по душе всем.

Все завопили «Ура!» и кинулись к двери, но адвокат и доктор закричали:

– Стойте, стойте! Нужно и этих четверых с собой прихватить, да и мальчишку тоже!

– Правильно! – заорали прочие. – Не найдем отметины, так там их и линчуем!

Вот *тут* я перепугался всерьез, вы уж поверьте. Однако удрать, сами понимаете, не мог. Похватили они нас и потащили к кладбищу, донего от городка мили полторы вниз по берегу было, и весь городок потянулся занамы – шум, гам! – а времени-то всего-навсего девять вечера.

Когда мы проходили мимо нашего дома, я здорово пожалел, что услал Мэри Джейн из города, ведь стоило мне ей сейчас мигнуть, она выскочила бы на улицу и спасла меня, обличив моих паразитов.

Ну вот, валим мы все по дороге, точно свора одичалых собак, а чтобы мне еще пострашнее стало, и небо начинает темнеть, и молнии посверкивать, и ветер листву шебуршить. В такую страшную беду я ни разу еще не попадал, она меня вроде как оглушила, – все же пошло совершенно не так, как я ожидал; я-то думал, что смогу, если мне захочется, задержаться немного в городе, полюбоваться на то, что тут произойдет – ведь Мэри Джейн рядышком будети поддержит меня, и выручит, если мне туго придется, а теперь получалось, что между мной и скоропостижной кончиной ничего кроме тех буквочек и нет. И если их обнаружат...

Об этом я и думать-то не хотел – и однако ж, ни о чем другом почему-то не думал. Становилось все темнее, темнее – самое милое дело, чтобы улизнуть, да только поди, улизни: тот здоровяк, Хайнс, держал меня за руку так крепко, что и Голиар позавидовал бы. Он, видать, шибко разволновался – волокменя до того быстро, что мне в прискок бежать приходилось.

Добралась наша толпа до кладбища и растеклась по нему, что твоей паводок. А когда подступилась к могиле, выяснилось, что лопат они с собой чуть не сотню прихватили, а фонаря ни одного. Ну, они все равно копать начали – при свете молний, – послав кого-то за лампой в ближайший дом, до которого оттуда с полмили было.

Копали они и копали, как нанятые, а тем временем совсем уж стемнело, и дождь хлыстал, и ветер выл и ревел, и молнии сверкали все чаще, и бухал гром, но никто этого, похоже, не замечал, все были заняты делом; и в один миг можно было увидеть каждое из лиц в толпе и плывущие над могилой лопаты с землей, а в следующий мрак стирал все до чиста и становилось совсем ничего невидать.

И наконец, вытащили они гроб и крышку отвинтили, и началось столпотворение и давка – каждый лез вперед, чтобы увидеть труп своими глазами; а тьма уже стояла такая, что страшной и страшной становилось – полная жуть. Хайнс тоже проталкивался вперед и тянул меня за руку так, что чуть с корнем ее не выдрал, – он, по-моему, забыл о моем существовании напрочь, до того разволновался и распыхтелся.

И вдруг молния облила все белым светом и кто-то завопил:

– Мать честная, да у него ж на груди мешок с золотом!

Хайнс аж завыл, да и все остальные тоже, – он выпустил мою руку и рванулся вперед, посмотреть, а уж как я оттуда выбрался и оказался на темной дороге, этого никто вам не скажет, и я в том числе.

Вся дорога была в полном моем распоряжении и я просто летел по ней – ну, не совсем в полном, еще ею владела сплошная темень, и посверки молний, и шум дождя, и порывы ветра, и раскаты грома. Но несся я по ней очень быстро, не сомневайтесь.

Добежав до города, я никого не увидел – гроза же, кто издому наружу ползет? – и потому не стал связываться с боковыми улочками, апопер прямо по главной и, приближаясь к нашему дому, только на него и глядел. Никакого света в нем видно не было, все темно – и так мне вдруг обидно стало, тактоскливо – уж и не знаю сам, почему. И вдруг, я уже мимо дома пробежал, в окне Мэри Джейн загорелся свет! и сердце мое словно раздулось, я даже испугался, что оно лопнет, а спустя секунду дом остался у меня за спиной, в темноте, и я понял, что никогда больше *перед* собой его не увижу, никогда в жизни. Она была лучшей девушкой, какую я когда-либо знал, и самой храброй.

Отойдя от городка на расстояние, с которого никто уж заметит меня не смог бы, я принялся искать лодку, чтобы доплыть до острова, и первый же проблеск молнии показал мне такую, которая не на цепи стояла, – привязанный всего лишь веревкой челнок, – и я запрыгнул в него и оттолкнулся от берега. До острова было не близко – середина реки все-таки, – но я не терял попусту времени и, добравшись до плота, умаялся настолько, что мне хотелось лишь одного – полежать на нем, отдуваясь, да вот позволить себе это не мог. И не позволил. Едва запрыгнув на плот, я закричал:

– Уходим, Джим, отчаливай! Хвала небесам, мы избавились от них!

Джим выскочил из шалаша, бросился, раскрыв объятия, ко мне, радость переполняла его, – но тут опять полыхнула молния, и сердце мое подскочило чуть не до горла, а сам я навзничь повалился за борт: я ж забыл, что Джим был одновременно и старым королем Лиром, и утопшим А-рабом и, как увидел его, у меня с перепугу в глазах потемнело. Однако Джим вытащил меня из воды и принялся обнимать, благословлять и так далее, до того он был счастлив, что мы сбыли с рук короля с герцогом. Но я сказал:

– Отложи-ка ты это до завтрака, ладно? Отвяжывайся и поплыви!

И через пару секунд плот уже скользил по воде, и какое же это было счастье: снова оказаться свободным – ни с кем ты не связан, никто тебя не понимает, ты просто плывешь по огромной реке. Я даже в пляс пустился, подпрыгивал, стучая пяткой о пятку, – раз, другой – просто удержаться не мог; однако на третьем подскоке заметил кое-что слишком мне знакомое и даже дышать перестал и вслушался, ожидая: и точно, когда над рекой пролетела новая молния, я увидел нашу парочку, налегавшую на весла так, что ялик их аж гудел! Нас нагоняли король и герцог.

Я понял, что все пропало, и плюхнулся на доски плота, – а что мне еще оставалось? Не плакать же.

Глава XXX. Как золото воров спасло

Едва они забрались на плот, король подскочил ко мне, схватил за ворот, тряхнул и говорит:

– Улизнуть от нас надумал, щенок! Устал от нашего общества, а?

Я отвечаю:

– Нет, ваше величество, мы вовсе не... *пожалуйста*, ненадо так, ваше величество!

– Ну, говори, куда это ты намылился, или я из тебя все кишки вытрясу!

– Я вам все как есть расскажу, ваше величество, честное слово. Понимаете, мужчина, который меня туда вел, он очень добрый оказался и все говорил, что у него был сын почти моих лет, что он умер в прошлом году, и как ему жаль мальчика, попавшего в такую ужасную беду; ну а когда все ошалели, отыскав золото, и бросились к гробу, посмотреть, он и шепнул мне: «Улепетывай, не то тебя непременно повесят!» – я и сбежал. Решил, что оставаться там не стоит – сделать я все равно ничего не могу, а в петле болтаться, если можно удрать, мне хотелось. И бежал во весь дух, пока челнок не увидел, а как доплыл до плота, сказал Джиму, чтобы он поторапливался, иначе меня поймают и опять же повесят, сказал, что вас и герцога, наверное, и в живых уже нету, и до того уж мне вас жалко было, и Джиму тоже, и я ужасно обрадовался, когда увидел, как вы плывете, а если не верите, спросите у Джима.

Джим подтвердил, что так оно и было, однако король велел ему заткнуться и сказал:

– Ну да, *очень* на то похоже! – и тряхнул меня еще разок и добавил, что хорошо бы меня

утопить

А герцог говорит:

– Оставьте мальчишку в покое, старый идиот! Сами-то вы инакесебя повели, а? Расспрашивали *о нем*, когда вам удалось на свободувырваться? Что-то не припоминаю.

Ну, король отпустил меня и давай костерить этот город и всехего обитателей. Но герцог и тут его перебил:

– Вы бы лучше себя как следует обложили, вы этого большезаслуживаете. С самого начала ничего умного не сделали, если не считать того, что вам хватило хладнокровия и наглости наврать насчет синей стрелки. Вот *это* было умно – и смело, эта выдумка нас и спасла. Кабы бы не она, сидели бы мы свами в тамошней кутузке, пока не приплыл бы багаж англичан, а после – настоящаятюрьма, можете не сомневаться! А ваша уловка заставила их попереться накладбище, а там золото оказало нам услугу еще и большую, потому что, если быэто дурачье не очумело, да не полезло на золото смотреть, спали бы мы с вами сегодняв галстуках, которым сносу не бывает, и дольше, чем нам хотелось бы.

Помолчали они немного, поразмыслили, а потом король иговорит – вроде как себе самому:

– Хм! А мы-то думали, что золото *негры* сперли.

Меня аж скрючило!

– Ага, – подтверждает герцог, да так нарочито медленно,язвительно. – *Мы* думали.

Король помолчал с полминуты и сказал, растягивая слова:

– По крайней мере, *я* так думал.

А герцог ему – тем же манером:

– Напротив, это *я* так думал.

Король взъерепенился малость и говорит:

– Послушайте, Билджуотер, вы на что это намекаете?

А герцог тут же отвечает:

– Уж если на то пошло, позвольте спросить, на что это *вы* намекаете?

– Да будет вам! – язвительно произносит король. – Впрочем,не знаю, может, вы все это во сне проделали и сами того не заметили.

Ну, герцог весь ощетинился и говорит:

– Ладно, хватит чушь молоть – вы что, за последнего идиотаменя принимаете? Или до вас еще не дошло, что я отлично знаю, кто спряталденьги в гроб?

– *Да*, сэр! Я знаю, что вы это *знаете*, потомучто сами же их и спрятали!

– Врешь! – гаркнул герцог, да как бросится на него.

А король завопил:

– Убери руки! – отпусти горло! – беру все слова назад!

Но герцог отвечает:

– Нет уж, сначала признайся, что это ты спрятал деньги вгробу, что хотел через пару дней улизнуть от меня, вернуться назад, выкопатьзолото и все себе захватить.

– Да погодите минуту, герцог, ответьте мне честно и прямовсего на один вопрос: разве это не вы мешок спрятали? Скажите так, и я вамповерю, и заберу назад все, что наговорил.

– Не трогал я денег, старый ты мерзавец, и тебе этоизвестно. Ну, признавайся!

– Ладно, хорошо, я вам верю. Но ответьте еще на один вопрос,и не беситесь – разве не было у вас мысли стянуть деньги да и припрятать их?

Герцог помолчал немного, а потом говорит:

– А если и была, так что? – я же этого не *сделал*. А тыне только об этом подумал, но и *украл их*.

– Вот честное слово, герцог, вот чтоб я до смертного часа недожил, не брал я денег. Я не говорю, что не собирался их спереть – *собирался*, но вы... нет, не вы, другие люди... обскакали меня.

– Врешь! Это ты их упер, ну так и *признайся*, что упер,а иначе...

И король, – а он уж булькать начал, – просипел:

– Хватит! *Признаюсь!*

Очень я обрадовался, услышав эти слова, у меня прямо от душиотлегло. А герцог отпустил его шею и говорит:

– Попробуй еще раз сказать, что это не твоих рук дело –утоплю. И будешь тогда пузыри пускать, как младенец, – самое для тебяподходящее дело после всего, что ты натворил. В жизни не видел такого прожоры,ну все готов проглотить, – а я, дурак, верил тебе, как родному отцу. И ведь нестыдно тебе было слушать, как все валят на бедных негров, и ни словом за них не вступиться. Мне и думать-то смешно, что я ухитрился поверить такому вздору.Проклятье, теперь я понимаю, с чего это ты так старался возместить недостачу, –хотел вытянуть из меня деньги, которые я заработал на «Совершенстве» и заграбастать*все* – не мытьем, так катаньем!

Король, робко шмыгая носом, отвечает:

– Однако, герцог, это же вы недостачу возместить предложили,а вовсе не я.

– Заткнись! Слышать тебя не хочу! – огрызается герцог. – Ну,посмотри, чего ты добился. И *свои* денежки они назад получили, и *наши* все им достались, не считая одной-двух монет. Иди спать и, если еще хоть раз пикнешьнасчет недостачи, долго не проживешь!

Король заполз в шалаш и приложился там, для пушей уютности,к бутылке, а вскоре и герцог приложился к своей и за какие-то полчаса обанаклюкались, как сапожники, и чем пьяней становились, тем любовнее обходилисьдруг другом, и кончили тем, что обнялись и захрапели. Напиться-то онинапились, однако я заметил, что королю, как ни пьян он был, хватило ума не заикатьсябольше о том, что это не он мешок с золотом попятил. Ну, я этому только радбыл. Конечно, когда они захрапели, мы с Джимом завели долгий разговор и я всеему рассказал.

Глава XXXI. Молиться надобез вранья

День за днем мы плыли, не заглядывая ни в какие города,просто спускались по реке. Шли на юг, погода стояла теплая, от дома мы былитеперь совсем уж далеко. По берегам стали все чаще появляться деревья, обросшиеиспанским мхом, он свисал с их веток, точно длинные, седые бороды. Я впервые увиделэтот мох, сообщавший лесам вид торжественный и мрачный. И в конце концов,мошенники наши решили, что опасность миновала, и они могут снова начатьобжужливать городок за городком.

Первым делом, они прочитали лекцию о пользе трезвости,однако заработали на ней так мало, что им и напиться-то было не на что. Вследующем городке они попробовали открыть школу танцев, но, поскольку оба понималив танцах не больше кенгуру, после первых же их скачков публика сама повскакалас мест и вышибла их из города. В следующем надумали давать уроки ораторского искусства,однако ораторствовали недолго, – публика опять-таки повскакала и обложила ихтакими словами, какие ни одному оратору не приснятся, так что пришлось им снованоги уносить. Брались они и за миссионерство, и за месмеризм, и за целительство, и за предсказания судьбы, за все понемногу, но удача никак не шлаим в руки. Кончилось тем, что остались они без гроша и только валялись на тихоплывшем плоту, скисшие и отчаявшиеся, думая, и думая, и по целых полдня непроизнося ни слова.

В конце концов, они, похоже, что-то надумали и принялисьсовещаться в шалаше, склоняясь друг к другу и разговаривая вполголоса часа подва-три кряду. Джиму и мне стало не по себе. Совсем это нам не понравилось. Мытак рассудили, что они затевают какую-то пакость еще и почище прежних.Обсуждали мы это, обсуждали, и решили, что они собираются какой-нибудь дом илилавку ограбить, а то и фальшивые деньги начать печатать – что-то в таком роде.Ну и перепугались и дали друг другу слово ни за что на свете в такие дела не впутываться,а при первой же возможности бросить их и смыться, пусть делают, что хотят, но без нас. Вот, и как-то рано утром укрыли мы плот в хорошем, надежном местемилых в двух ниже задрипанного городишки под названием Пайксвилль, и корольсошел на берег, сказав, чтобы мы никуда носа не показывали, пока он не пройдет по городку и не разнюхает, дошли ли до этих мест слухи насчет«Королевского совершенства». («Пока не разнюхаешь, какой дом легче всегоограбить, *вот* ты о чем, – сказал я себе. – Ладно, когда вы его обчиститеи вернетесь

сюда, вам только и останется, что гадать, куда подевался плот сомной и Джимом, – ну и приятных вам размышлений.») А он прибавил, что, если не вернется к полудню, значит все в порядке и мы с герцогом должны будем тожеприйти в городок.

Хорошо, остались мы на плоту. Герцог какой-то беспокойныйбыл, дерганный, злющий. То и дело ругал нас – чего ни сделай, все не по нему. Ну, понятное дело, что-то у них заваривалось. Я обрадовался, когда насталполдень, а король не объявился – думаю, хоть с плота можно уйти, какая-никакая, а перемена, а там, глядишь, и *настоящая* случится. Пошли мы с герцогом вгородок, начали разыскивать короля и, в конце концов, нашли – в задней комнатепаршивенькой забегаловки, вдрызг пьяного, – тамошние бездельники от нечегоделать насмехались над ним, а он ругался во всю глотку, грозился – даром чтоничего им сделать не мог, потому как на ногах не стоял. Ну, герцог тоже егообругал, назвав старым дураком, а король огрызнулся и пошла у них перебранка, ая понял – вот он, наш шанс, и припустился, что твой олень, к реке, только пяткизасверкали. Добежал я до нее, совсем запыхавшийся, но распираемый счастьем, и кричу:

– Отчаливай, Джим, скорее! Мы свободны!

А он не отвечает и из шалаша не выходит. Исчез Джим! Япокричал, позвал его, потом еще и еще, побегал туда-сюда по лесу, вопя во всегорло, но без толку – пропал мой старый Джим. Сел я тогда на землю и заплакал, несладил с собой. Однако и долго просидеть на одном месте тоже не смог. И скоровышел на дорогу, пытаюсь придумать, как мне теперь быть, а по ней какой-томальчишка идет, ну я и спросил у него, не видел ли он странного негра, одетоготак-то и так-то, а он говорит:

– Видел.

– Где? – спрашиваю.

– Вон там, в двух милях отсюда, у Сайласа Фелпса. Этот негрбеглый, ну его и поймали. А ты что, ищешь его?

– Очень он мне нужен! Я часа два назад столкнулся с ним влесу, и он сказал – попробуй пикнуть, я тебе кишки выпущу – ляг на землю и лежи,ну, я так и сделал. С тех пор все сидел в лесу, выходить боялся.

– Ладно, – говорит он, – можешь больше не бояться, потомукак его словили. Он с какой-то фермы на Юге сбежал.

– Это хорошо, что его словили.

– *А то!* За него аж двести долларов награды отваливают. Это ж все едино, что на дороге деньги найти.

– Да уж – будь я постарше, они бы мне достались, я ж его *первым* увидал. А кто его поймал-то?

– Да старикашка один, не здешний, – поймал и продал награду занего, всего за сорок долларов, мне, говорит, вверх по реке надо плыть, я ждательне могу. Представляешь? *Я бы* хоть семь лет прождал, можешь несомневаться.

– Я тоже, – говорю, – будь уверен. Хотя, если он такпродешевил, может, там не все чисто, может, негр и не стоит таких денег.

– Стоит, да и чисто там все, как в аптеке. Я объявление онем своими глазами видел. Все, как есть, про него, до точки – и сам он описан,как на картине, и ферма под Новорлеаном указана. Нет, сэр, там все путем,сомневаться не в чем. А скажи, у тебя табачку пожевать не найдется?

Табака у меня не было, и мальчишка ушел. А я добежал доплота, залез в шалаш и стал думать. Но ничего путного не надумал. Ломал яголову, ломал, пока она не разболелась, а как эту беду избыть, так и не сообразил.После такого долгого пути, после всего, что мы сделали для этих гадов, всепошло прахом, все пропало и погисло, потому что им хватило совести проделать сДжимом гнусный фокус – продать его за сорок грязных долларов чужим людям в вечноерабство.

Тут мне пришло в голову, что, если уж Джиму суждено на родурабом быть, так для него было бы в тысячу раз лучше остаться рабом дома, сосвоими. Может, написать Тому Сойеру

письмо, пусть он скажет мисс Ватсон, гдетеперь ее негр. Однако от этой мысли я отказался, и по двум причинам: старухаразъярится, разобидится на сбежавшего от нее Джима за подлость инеблагодарность и мигом продаст его в низовья реки, а не продаст, так ведь всебудут презирать его, неблагодарного негра, оно же естественно, и тыкать емуэтим презрением в нос, и будет он чувствовать себя покрытым вечным позороммерзавцем. А что станет со мной ? Все узнают, что Гек Финн помог негрувырваться на свободу, и если я вдруг встречу кого-нибудь из моего городка, тоготов буду от стыда на землю перед ним повалиться и ботинки его лизать. Вот таконо и бывает: сделает человек гадость какую-нибудь, а отвечать за нее не хочет. Думает: пока про нее никто не знает, в ней и стыдного-то ничего нет. В точностиэто со мной и случилось. Чем дольше я размышлял об этом, тем сильнее менягрызла совесть, и тем более греховным, низким и подлым я себя ощущал. Инаконец, вдруг понял – ведь это же просто-напросто рука Провидения отвесила мнеоплеуху, дала понять, что, пока я крал негра у бедной старушки, которая никогдаменя ничем не обидела, за всеми моими греховными делишками внимательнонаблюдали с небес, а теперь вот уведомили: сидит, сидит там наверху Всевидящийи следит за твоими пакостными проделками, – он-то и позволил тебе зайти такдалеко, а дальше не пустил. Если бы я в ту минуту на ногах стоял, то, наверное,повалился бы со страху на землю. Ну, я попробовал вроде как оправдаться передсобой, сказал себе, что таким уж греховодником меня вырастили, моей-то вины тутнету, однако что-то внутри меня твердило: «Там же была воскресная школа, ты могходить в нее, и тебе объяснили бы, что тех, кто ведет себя так, как ты повел сэтим негром, ожидает гиена огненная».

Тут уж меня просто затрясло. И я решил помолиться, – вдругмне удастся исправиться, стать не таким мальчиком, каким я был, а малость получше.Встал я на колени. А слова молитвы ко мне и не идут. Почему не идут? Да потому чтоот Него же не спрячешься, и пробовать нечего. И от себя тоже. Прекраснейшимобразом понимал я, из-за чего они не идут. Из-за того, что я сердцем нечист,что нечестен, что двурушничаяю. Я надумал избавиться от греховности, а в сердце своем совершал самый великий из всех грехов. Старался заставить мои губысказать, что буду поступать правильно и честно, что возьму и напишу хозяйкеэтого негра о том, где он есть, но ведь в глубине-то души знал, что вру, и Онтоже знал. Молиться надо без вранья – вот что я тогда понял.

В общем – беда, хуже некуда, а как из нее выбраться, непонятно.И наконец, пришла мне в голову такая мысль: напишу я все-таки это письмо, вдругпотом и помолиться смогу. И знаете, просто поразительно, – душа моя сразу сталалегкой, как перышко, словно никакой беды и не было вовсе. Ну, взял я бумагу скарандашом, довольный такой, взволнованный, и написал:

Мисс Ватсон, ваш беглый негр Джим здесь, на две милиниже Пайксвилля, у мистера Фелпса, который отдаст его за награду, если выпришлете.

ГекФинн

Впервые в жизни меня охватило замечательное чувство очищенияот всех грехов и я понял, что теперь-то уж смогу и помолиться. Но сразу делатьэто не стал, а отложил бумажку и принялся думать – о том, до чего ж оно хорошо,что все так сложилось, о том, как близко я подошел к погибели и аду. Думал я,думал и вдруг обнаружил, что думаю уже о нашем путешествии по реке и все времявижу перед собой Джима: днем, ночью, иногда под луной, иногда в грозу, вижу,как мы с ним плывем, и разговариваем, и поем, и смеемся. И непонятно почему, невижу ничего, что помогло бы мне ожесточиться против него, зато противного этому– сколько влезет. Я увидел, как он отстаивает после своей и мою вахту, чтобы явыспался; как радуется мне, когда я выбираюсь из тумана, и когда прихожу к немуна болото – в тех местах, где шла кровная вражда, – ну и так далее; а потомвспомнил, как он всегда называл меня голубчиком и по голове гладил, как старалсясделать для меня все, что только мог придумать, каким он всегда был хорошим; инаконец, вспомнил, как я спас его, наврав насчет оспы на нашем плоту, и как онменя благодарил, как сказал, что я – лучший друг, какой был когда-либо на светеу старого Джима, а теперь и *единственный* ; и именно тут на глаза мнепопалась моя бумажка.

И понял я, что зашел в тупик. Взял я ее с пола, подержал вруке. Меня била дрожь, потому как я должен был выбрать на веки вечные что-тоодно из двух и понимал это. Посидел я так с минуту, почти и не дыша, а потом иговорю себе:

– Ну и ладно, значит, пойду в ад, – и разорвал письмо.

Страшная это была мысль и слова страшные, но я их произнес.И назад не взял, а о том, чтобы исправиться, даже и думать перестал навсегда.Просто выбросил это дело из головы, сказал себе, что снова встану на стезюпорока, она мне в самую пору подходит, меня для нее и растили, а другая мне негодится. И для начала, украду-ка я Джима еще раз, вызволю его из рабства, аесли измыслю чего похуже, то и это сделаю, потому что, коли уж я погряз вгрехе, и погряз навсегда, так имею полное право грешить напропалую.

И начал я размышлять, с какого конца мне за дело взяться, иперебрал много разных способов и, наконец, составил план, который показался мнеподходящим. Потом высмотрел немного ниже по реке лесистый остров, а когдастемнело, подвел к нему плот, укрыл его и спать завалился. Проснулся я ещезатемно, позавтракал, облачился в покупную одежду, а другую и еще кой-какие вещи увязал в узелок и поплыл в челноке к берегу. Пристал немного ниже места, вкотором стоял по моим прикидкам дом Фелпса, спрятал узелок в лесу, наполнилчелнок водой, навалил в него камней и затопил примерно четвертью мили нижестоявшей на берегу, у устья речушки, маленькой лесопилки, решив, что когда онмне снова понадобится, я легко его здесь найду.

А после вышел на дорогу и, проходя мимо лесопилки, увидел наней вывеску: «Лесопилка Фелпса». В двух-трех сотнях ярдов за ней стояла и ферма.Смотрел я в оба, но так никого и не увидел, хоть день был уже в разгаре. Впрочем,меня это устраивало, я не хотел пока попадаться кому-нибудь на глаза, мне нужнобыло только с местностью ознакомиться. По моему плану, прийти сюда мнеследовало из города, а не снизу. Так что я просто огляделся как следует ипотопал в город. Ну и первым, кого там увидел, оказался герцог. Он клеил назабор афишу «Королевского совершенства» – всего три представления, как впрошлый раз. И хватало же им наглости, мошенникам этим! Я наскочил прямо нанего, увильнуть не успел. Он, похоже, здорово удивился и говорит:

– Здорово! Ты откуда взялся? – а следом спрашивает, радостной нетерпеливо: – А плот где? Ты хорошо его спрятал?

Я отвечаю:

– Я как раз об этом и хотел спросить у вашей милости.

Радости в нем мигом поубавилось. Он говорит:

– С какой же стати у *меня-то* об этом спрашивать? –говорит.

– Ну, – отвечаю, – когда я вчера увидел короля в тойзабегаловке, то решил, что до плота нам его еще несколько часов дотащить неудастся, не скоро он протрезвеет, и пошел прогуляться по городу, чтобы времяскоротать. И тут подходит ко мне какой-то мужчина и предлагает десять центов, чтобы я помог ему переплыть в ялик через реку и привезти оттуда барана, я, конечно, согласился; и когда мы стали барана в ялик грузить, мужчина дал мнеконец веревки, к которой баран был привязан, а сам хотел его подсадить, да только баран оказался сильнее меня, вырвался и побежал, а мы за ним. Собаки унас не было, и пришлось нам гоняться за ним по всему округу, пока он не притомился.До самой темноты гонялись, только тогда и словили, а как привезли в город, япошел к плоту. Пришел, а его нет. Я и говорю себе: «Это, значит, у них тут чего-тостряслось и пришлось им удирать, и негра моего они с собой прихватили, а он быединственный негр, какой у меня есть на всем белом свете, и теперь я оказался вчужих местах, собственности у меня никакой, и чем мне на хлеб заработать, я незнаю» – и сел на землю, и заплакал. А ночь всю в лесу провел. Но что же тогда сплотом-то сделалось? И с Джимом – с бедным Джимом?

– Да откуда мне, к черту, знать – то есть, это я о плоте. Старыйдурак продал тут кое-что за сорок долларов, но к тому времени, как мы с тобой отыскалиего в забегаловке, тамошние бездельники уже успели втянуть его в игру,полдоллара ставка, и он спустил до цента все деньги, кроме тех, какие на виски успелпотратить, а когда мы, уже к ночи, добрались до плота

и увидели, что его нет, то сказали друг другу: «Маленький мерзавец увел наш плот и удрал вниз по реке, а нас бросил».

– Я же не бросил бы моего негра, так? – единственного в мире, мое единственное достояние.

– Об этом мы не подумали. Понимаешь, мы уже привыкли считать его *нашим* негром; ну да, вот именно, – и видит бог, хлопот нам с ним досталось выше головы. Так что, когда мы обнаружили, что плот исчез, и поняли, что вконец разорены, нам только и осталось, что тряхнуть стариной и еще разпоставить «Королевское совершенство». Я с того времени пашу, не покладая рук, а в горле сухо, как в рожке с порохом. Где твои десять центов? Давай их сюда.

Денег у меня хватало, так что я дал ему десять центов, но попросил при этом, чтобы он купил на них еду и мне немного дал, потому как это все мои деньги, а я со вчерашнего дня ничего не ел. Он не ответил. А секунд спустя вдруг повернулся ко мне и говорит:

– Как по-твоему, не выдаст нас твой негр? Вот пусть только попробует, мы с него шкуру сдерем!

– Как же он вас выдаст? Он же сбежал.

– Да нет! Как раз его старый обормот и продал, а со мной выручкой не поделился, потому что все деньги и пропали.

– *Продал*? – говорю я и начинаю плакать. – Так ведь он же был *моим* негром, значит и деньги эти были мои. Где он? Я хочу вернуть моего негра.

– Ну, *вернуть* его тебе вряд ли удастся, так что утрисопли и перестань нюнить. Слушай, а сам-то ты нас не сдашь? Что-то не верю я тебе. Но, знаешь, если ты надумал донести на нас...

Он умолк и взгляд у него стал очень неприятный, я такого угерцога до тех пор и не видел. Ну, я поскулил еще немножко и говорю:

– Не собираюсь я ни на кого доносить, да у меня на это и времени нету. Мне нужно моего негра найти.

Герцог вроде как подобрел, постоял немного, с плещущими наветру афишами в руке, наморщив лоб, размышляя. И наконец, говорит:

– Я тебе кое-что расскажу. Нам придется провести здесь три дня. Если пообещаешь не выдавать нас и негру твоему не позволить, я скажу тебе, где он.

Я пообещал, а он говорит:

– Твой негр сейчас у фермера по имени Сайлас Фелп... – и умолк. Понимаете, он начал было правду мне говорить, да не договорил, ему какая-то другая мысль в голову пришла. И я понял, что он передумал. Так оно и было. Не доверял он мне и потому хотел убрать куда подальше на все три дня. Ну искоро заговорил снова:

– Человека, который купил его, зовут Авраам Фостер – Авраам Дж. Фостер, – а живет он в сорока милях от реки, при дороге на Лафайет.

– Ладно, – говорю, – дня за три я до него доберусь. Сегодня же вечером и выйду.

– Ну уж нет, ты *сейчас* выходи, зачем же время терять? Да смотри, не болтай ни с кем по дороге, держи язык за зубами, топай себе и топай, тогда и *мы* тебе ничего не сделаем, понял?

Такой приказ мне от него и требовался, на него я и набивался. Мне нужно было развязаться с герцогом и начать исполнять мой план.

– Так что, катись отсюда, – говорит герцог, – а мистеру Фостеру говори, что захочешь, я не против. Может, тебе и удастся убедить его, что Джим и *вправду* твой негр – есть на свете идиоты, которые никаких бумаг не требуют, – по крайности, я слышал, что на Юге такие водятся. Расскажи ему, что объявление наше и обещание награды – сплошное вранье, объясни, для чего оно нам понадобилось, глядишь, он тебе и поверит. Ладно, убирайся, можешь наплести ему хоть с три короба, но помни – дорогой тебе лучше помалкивать.

Ну, я повернулся спиной к реке и пошел. Назад не оглядывался, хотя вроде как и чувствовал, что он за мной наблюдает. Но я жезнал, ему это быстро наскучит. Ушел я от реки примерно на милю, а там повернул назад и двинулся лесом в сторону Фелпса. Решил, что лучше начать исполнять мой план сразу, не теряя времени, потому как не хотел, чтобы Джим рассказал кому-нибудь об этой парочке до того, как она отсюда уберется. От такой

шати только жди беды. Нагляделся я на них, надолго хватит, и еще раз встречаться с ними нунисколечко не желал.

Глава XXXII. Меня переименовывают

Когда я пришел туда, там было тихо, точно в воскресенье, солнечное и жаркое; негры работали в полях; в воздухе висело мерное гудение жуков и мух, нагонявшее чувство одиночества, ощущение, что все вокруг перемерли; а если в такой день еще и ветерок принимается листву шевелить, то начеловека нападает грусть-тоска, ему начинает казаться, что это шепчутся привидения – духи давным-давно умерших людей – и шепчутся именно о *нем*. Как правило, такие штуки вызывают желание умереть и самому – и проститься совсеми своими печальями.

Фелпсу принадлежала маленькая хлопковая плантация – вынаверняка такие знаете, они все на одну колодку скроены. Двухакровый двор окружен редким жердяным забором; по обе стороны от него врыты в паре мест лесенкой отпиленные до неравной длины бревна, похожие на разного роста бочонки – это перелазы, которыми женщины пользуются также и для того, чтобы забираться на лошадь; водворе растет кое-где чахлая трава, однако по большей части он гол и гладок, точно старая шляпа с истершимся ворсом; большой дом для белых со стенами в два бревна – бревна тесанные, а щели между ними промазаны известкой или глиной, когда-то даже побеленной, но, правда, давно; кухонный сруб, соединенный с домом широким, открытым с боков, но снабженным кровлей проходом; за кухней стоит бревенчатая коптильня; за коптильней – три небольших, поставленных рядком бревенчатых жехижины для негров, а на отшибе, у забора, еще одна хибарка и рядом с ней – сундук для сбора золы и большой котел для варки мыла; у кухонной двери виднеется скамья, на которой стоит кадка с водой и бутылка из тыквы; имеется такжесобака, спящая на солнце пеке, да, собственно, по двору их немало дрыхнет; в одном из углов двора растут три раскидистых дерева; в другом тянутся вдоль забора кусты смородины и крыжовника; за забором разбиты огородик и арбузная бахча; от них уходят вдаль хлопковые поля, а за полями начинается лес.

Прошелся я вокруг двора, перебрался в него по тыльному перелазу, устроенному около сундука с золой, и направился к кухне. И, не успев сделать трех шагов, услышал жужжание прялки, то поднимавшееся до высоких нот, то спадавшее к низким, и тут уж мне точно сдохнуть захотелось, потому что более заунывного звука нет во всем свете.

Иду я по двору, придумать ничего не успел – просто полагаюсь на то, что, когда нужда подопрет, Провидение само вложит мне в рот правильные слова, – я давно уж заметил, что Провидение непременно вкладывает мне в рот правильные слова, если я ему не мешаю.

Я прошел всего половину пути, когда сначала одна собака проснулась и затрюхала ко мне, а за ней последовали и другие. Я, конечно, остановился, смотрю на них и стараюсь не шевелиться. Ну и шум же они подняли! Через четверть минуты я обратился ступицу, можно сказать, колеса, спицами которого были собаки – штук пятнадцать их стояло, окружив меня плотным кольцом, вытянув ко мне шеи и носы, гавкая и рыча, а уже подтягивались и новые, я видел, как они скачут через забор и выбегают из-за большого дома и негритянских хибарок.

Тут из кухни вылетает со скалкой в руке негритянка, да как закричит: «Кыш! Тигр! Пегий! Пшел прочь, сэр!». Вытянула она скалкой одного пса, потом другого, оба с воем удрали, а за ними и все остальные тоже, – впрочем, через секунду половина их вернулась обратно и снова окружила меня, маша хвостами и норовя со мной подружиться. Собаки, они же никому всерьез зла-тоне желают – да ни в коем разе.

За женщиной выскочила из кухни троица негритят в одних рубашонках из грубой холстины, девочка и два мальчика, они вцепились в мамину юбку и тарасились на меня из-за нее, робко – малыши всегда так делают. А из большого дома выбежала женщина белая – лет сорока пяти, пятидесяти, простоволосая, сверетеном в руке, – и за ней белые детишки, проделавшие в точности то же, что и негритята.

Разулыбалась она так, что едва на ногах устояла, – и говорит:

– Ну вот и ты, наконец-то! – ведь это *ты* ?

Я и подумать ничего не успел, а уже выпалил:

– Я, мэ.м.

Обняла она меня, прижала к себе крепко-накрепко, потом схватила обеими руками за плечи и трясти принялась, а из глаз ее слезы по щекам текут, и она снова меня обнимает, и снова трясет, и никак остановиться не может, и все говорит, не умолкая:

– А я-то думала, ты больше на мать похож, ну да и ладно, какая мне разница! Господи-боже, так бы и съела тебя! Дети, это ваш двоюродный брат, Том! Поздоровайтесь с ним!

Однако дети набычились, сунули в рот каждый по пальцу испрытались за нее. А она говорит:

– Лизи, скорее, приготовь ему завтрак, да горячий – или ты уже позавтракал на пароходе?

Я сказал, что позавтракал. Женщина повела меня, держа за руку, в дом, и детишки за нами потянулись. Там она усадила меня на малость продавленный стул, а сама села передо мной на скамеечку, взяла за обе руки и говорит:

– Вот теперь я на тебя *вдоволь* нагляжусь – видит Бог, я об этом много-много раз мечтала, столько лет прошло, но наконец-то я тебя увидела. Мы ведь тебя два дня уж как ждем, а то и дольше. Ты почему задержался – пароход на мель сел?

– Да, мэ.м – он...

– Не говори «да, мэ.м», называй меня «тетя Салли». Где же это он сел-то?

Что на это ответить я, конечно, не знал, потому как не имел никакого понятия, откуда должен был прийти пароход – сверху или снизу. Оставалось положиться на инстинкт, а тот сказал мне: снизу он шел, из Орлеана. Однако от такого его ответа мне проку не было, я же имен низовых мелей не знал. Вижу, придется мне мель самому придумывать, или забыть название той, на которую мысели, или... Но тут у меня появилась новая мысль, за нее я и ухватился:

– Дело было не в мели, мель нас почти не задержала. У нас головку цилиндра сорвало.

– О Господи! Пострадал кто-нибудь?

– Нет, мэ.м. Только негра одного убило.

– Ну, это вам повезло, потому что, бывает, и люди калечатся. В позапрошлом году, под Рождество, твой дядя Сайлас возвращался из Новорлеанана стареньком «Лалли Рук», так там тоже головка цилиндра сорвалась и человека изувечила. По-моему, он даже умер потом. Он баптистом был. Твой дядя Сайлас знает Батон-Руж одну семью, которая дружила с его семьей. Да, вспомнила, он и вправду умер. У него началась гангрена, ему даже ногу отрезали, но и это непомогло. Посинел он весь и помер с надеждой на жизнь вечную. Говорили, что нанего смотреть страшно было. А дядюшка твой каждый день в город ездит, тебя встречает. И сегодня поехал, час назад, не больше, теперь уж с минуты на минуту воротится. Да ты наверняка его по дороге встретил – немолодой такой, с...

– Нет, тетя Салли, я никого не встретил. Пароход на самой заре пришел, я оставил багаж на пристани, побродил по городу, потом по окрестностям, – чтобы время скоротать, не хотел к вам спозаранку являться, – и сюда другой дорогой пришел.

– А на кого ж это ты багаж оставил?

– Да ни на кого.

– Так ведь его украдут, дитя мое!

– Я его так запрятал, что не украдут, – говорю.

– Но как же тебе удалось в такую рань позавтракать на пароходе?

Вопрос был непростой, однако я вывернулся:

– Капитан увидел, как я на палубе стою, и сказал, что надобно мне съесть чего-нибудь, прежде чем на берег сходить – ну и пошел со мной в кают-компанию, а там меня накормили досыта.

Мне совсем уж не по себе было, так что я и слушал-то ее полуха. И все время думал о том, как бы исхитриться отвести детишек в сторону, да и вывести у них, кто же я такой. Но куда там – разговором заправляла миссис Фелпс, и болтала она, не закрывая рта. И очень скоро у меня холодок по спине побежал, потому что я услышал, как она говорит:

– Но что это я расстрекоталась-то так? – ты ж мне еще и просестру ни слова не сказал, и про других тоже. Давай-ка я помолчу, а ты рассказывай – *все-все* и про всех: как им живется, чем они занимаются, что просили мне передать, все до последней мелочи, какую вспомнишь.

Ну, думаю, влип – и по самые уши. До этого времени Провидение мне помогало, однако теперь я увяз, и очень крепко. Попытаться сочинить что-то бессмысленно, придется сдаваться. Ладно, решил я, рискну еще разок и скажу всю правду. Но не успел и рта раскрыть, как она схватила меня, затащила закрывать и говорит:

– Он вернулся! Пригнись пониже, вот так, хорошо, теперь он тебя не заметит. И не высовывайся пока. Я его разыграю. А вы, дети, ни слова!

Еще того лучше, думаю я. Да что ж теперь проку волноваться, – только и осталось, что сидеть спокойно и готовиться к той минуте, когда меня громом пришибет.

Старика я лишь мельком увидел, когда он в дверь вошел, а потом его кровать от меня заслонила. Миссис Фелпс подскакивает к нему и спрашивает:

– Приплыл он?

– Нет, – отвечает ей муж.

– *Госсподи!* – восклицает она. – Что же с ним такое стряслось-то?

– Даже представить себе не могу, – говорит старик, – и должен сказать, меня это ужасно беспокоит.

– Беспокоит его! – говорит она. – Да я того и гляди с умасойду! Нет, он *наверняка* приплыл, а ты просто проворонил его по дороге. Ну конечно, *так и есть* – я это нутром чую.

– Да *не мог* я его проворонить, Салли, и ты это прекрасно знаешь.

– Но как же тогда... господи, а что *сестра-то* скажет? Нет, он непременно приплыл, а ты его прозевал. Он...

– Ох, Салли, не расстраивай ты меня, мне и так уж тошно. Совсем не понимаю, как быть. Голова кругом идет и, должен тебе признаться, что-то мне страшно становится. Однако приплыть он ну *никак* не мог и я его прозевать тоже. Ужасно, Салли, – просто ужасно – не иначе, как с пароходом что-то случилось!

– Постой-ка, Сайлас! – там, на дороге! – по-моему, едет кто-то!

Он бросился к окну у изголовья кровати, и миссис Фелпс получила шанс, которого ждала. Она отскочила к изножью, нагнулась и вытянула меня из-за спинки. И когда он обернулся от окна, тетя Салли уже стояла, улыбаясь и вся светясь, точно горящий дом, а я робко стоял рядом, обливаясь потом. Старик вытаращил глаза и говорит:

– А это еще кто?

– Неужто не догадываешься?

– Ни вот столечка. Так кто же?

– Том Сойер!

Честное слово, я чуть сквозь пол не провалился! Впрочем, времени, чтобы изумляться, у меня не осталось – старик схватил меня за руку, и стал трясти ее, и тряс, и тряс, а жена его пританцовывала вокруг, смеясь и плача, а потом оба они принялись засыпать меня вопросами о Сиде, Мэри и вообще семье.

Однако их радость с моей и в сравнение не шла, я ж словно родился заново, так приятно было узнать, наконец, кто я такой есть. Часа два они меня допрашивали и, в конце концов, язык мой устал до того, что почти уж и неворочался; я им столько всего наплел о моей семье – ну, то есть, о семье Сойеров, – что на шесть таких семей хватило бы. Рассказал и про то, как упарохода сорвало в устье Уайт-ривер головку цилиндра, и как ее меняли целых три дня. И правильно сделал, в самый раз получилось – они ж не знали, сколько времени занимает такая починка. Да замени я ее хоть головкой болта, мне и это сошло бы с рук.

С этой стороны все вроде как уладилось, но имелась и другая, и она меня сильно беспокоила. Оно конечно, быть Томом Сойером легко и приятно, однако вскоре я услышал, как пыхтит на реке идущий вниз пароход, и всю эту легкость с приятностью точно ветром сдуло. Я сказал себе, а ну как на этом-то пароходе Том Сойер и плывет? И что если он зайвится сюда и выкрикнет мое имя, прежде чем я успею ему подмигнуть, дать понять, что на мой счет

лучшепомалкивать?

Нет уж, это мне ни к чему, совсем ни к чему. Нужно перехватить его по дороге сюда. И я сказал Фелпсам, что, пожалуй, съезжу в город за моим багажом. Старик хотел отвезти меня туда, но я сказал – не надо, стележкой я и сам управлюсь, на что ему лишние хлопоты?

Глава XXXIII. Горестный конец аристократов

Ну и поехал я в тележке к городу и, проехав с полпути, вижу, навстречу другая катит, а в ней, разумеется, Том Сойер сидит. Я дождался, когда тележки поравняются и говорю: «Стой!» – и тут у него рот открылся, что твой сундук, да так открытым и остался. Сглотнул он раза три-четыре – с трудом, точно у него в горле пересохло, – и говорит:

– Я же тебе ничего плохого не сделал. Сам знаешь. Так зачем ты возвратился *меня* изводить?

Я отвечаю:

– Да я и не возвращался ниоткуда, потому как не *помирал*.

Услышал он мой голос и немного успокоился, но не совсем. Говорит:

– Ты только меня не обманывай – я бы тебя обманывать не стал. Дай честное индейское, что ты не привидение.

– Честное индейское, – говорю.

– Ну, я... я... ладно, я тебе верю, конечно, и все-таки ничего не понимаю. Постой, выходит тебя и не *убивали* совсем?

– Нет, совсем не убивали – это я сам всех обдурил. Перебирайся сюда и потрогай меня, если не веришь.

Он так и сделал и успокоился окончательно, и до того обрадовался, что я жив, просто на месте не мог усидеть. Начал меня расспрашивать, как все было, – приключение же, великое и таинственное, оно не могло не взять его за живое. Но я сказал, что это мы на потом оставим, попросил его возчика подождать, и мы с Томом отъехали немного в сторонку, и я рассказал, в какой попал переplet, и спросил – как он считает, что мне теперь делать? Том попросил дать ему минуту, сказал, что должен спокойно все обдумать. Думал он, думал, а потом говорит:

– Ладно, я все понял. Переложи мой дорожный сундук в свою тележку, скажешь, что он твой. Поворачивай и поезжай назад, только помедленнее, чтобы раньше времени не вернуться, а я поеду в город, а оттуда опять к дому тронусь – отстану от тебя на четверть часа, ну, может, на половину. Но, смотри, притворись, что не знаешь меня.

Я говорю:

– Хорошо, только погоди минутку. Есть еще одна штука, про которую *никто*, кроме меня, не знает. Я тут собираюсь одного негра украсть, от рабства спасти, а зовут его Джимом – и это Джим старушки мисс Ватсон.

Том говорит:

– Как это! Ведь Джим же...

И умолк, задумался. А я продолжаю:

– Я знаю, что ты скажешь. Скажешь, что это грязное, бессовестное дело – ну да и что с того? Я и сам такой – бессовестный – и хочу украсть его, только мне нужно, чтобы ты об этом помалкивал и никому не проговорился. Обещаешь?

И тут глаза Тома вспыхивают, и он говорит:

– Я *помогу* тебе украсть его!

Знаете, я просто остолбенел, в меня точно пуля ударила. Это были самые поразительные слова, какие я когда-нибудь слышал, и должен сказать, Том Сойер здорово упал в моих глазах. Я ушам своим поверить не мог. Чтобы Том Сойер и *негров крал*?

– Да ну тебя, – говорю, – кончай шутить.

– А я и не шучу.

– Ладно, – говорю, – шутишь или не шутишь, но если услышишь какие разговоры о беглом негре, не забудь – *ты* о нем ничего не знаешь и я тоже.

Потом мы переложили его сундук в мою тележку, и Том поехал водну сторону, а я в другую. Но я, понятное дело, напрочь забыл о том, что ехать мне нужно медленно – до того был доволен, да и мысли мне всякие в голову лезли, – и потому вернулся в дом слишком скоро для такой дальней поездки. А старик, он как раз в двери стоял, и говорит:

– Да это ж чудо какое-то! Кто мог подумать, что моя кобылка способна на такое? И не вспотела даже – ни одного мокрого волоска! Воистину – чудо. Нет, я ее теперь и за сто долларов не отдам, честное слово; а ведь собирался запятнадцать продать, думал, что большего она не стоит.

Вот только это он и сказал. Чудеснейший был старикан, самый простодушный, какого я когда-либо знал. Да оно и не удивительно, он же не просто фермером был, но и проповедником тоже – на дальнем краю его плантации стояла церковка, которую он сам из бревен построил, на собственные средства, она и церковью была, и школой, а денег старик за свои проповеди не брал, – да, если честно, их и брать-то особо не за что было. Таких фермеров-проповедников здесь, на Юге водилось хоть пруд пруди.

Примерно через полчаса к переднему перелазу двора подъехала тележка Тома, и тетя Салли, увидев ее в окно – от него до перелаза всего ярдов пятьдесят было, – говорит:

– Господи, да никак кто-то приехал! Кто бы это такой был? Сдается мне, незнакомый кто-то. Джимми (так звали одного из ее сыновей), беги, скажи Лизи, чтобы она еще одну тарелку на стол поставила.

Все повыскакивали из парадной двери дома – незнакомцы-то сюда, ясное дело, не *каждый* год заглядывали, и если какой объявлялся, так все аж трясучка пронимала от любопытства. Том перебрался через перелаз и направился к дому, возчик развернул тележку и покатил обратно в городок, а мы все стояли у двери. Одежда на Томе была новехонькая, публики хоть отбавляй, – а Тому Союеру ничего другого и не требовалось. Самая подходящая обстановка, чтобы шикарно представление закатить, а уж за Томом дело никогда не станет. Да и не таковский он был человек, чтобы плестись через двор робко, точно какая-нибудь овечка, – нет, он вышагивал важно и торжественно, будто самый главный в стаде баран. Подходит он к нам и приподнимает шляпу – так изысканно и грациозно, точно она не шляпа вовсе, а крышка ящичка, в котором бабочки спят, и он боится их потревожить, – приподнимает и говорит:

– Мистер Арчибальд Николс, я полагаю.

– Нет, мой мальчик, – отвечает старик. – Неприятно мне это говорить, но твой возчик тебя надул. Николсы милях в трех отсюда живут. Да ты входи в дом, входи.

Том оглядывается через плечо и говорит:

– Слишком поздно – он уже скрылся из виду.

– Да, сынок, он уехал, так что тебе придется пообедать с нами, а после я запрягу кобылку и отвезу тебя к Николсам.

– О, но я *не вправе* доставлять вам столько хлопот, мне такое и в голову никогда не пришло бы. Я пройдушь пешком – расстояние меня не страшит.

– Да как же мы можем позволить тебе пешком-то идти – какое ж это будет южное гостеприимство? Нет уж, входи в дом.

– Да, *входи*, – говорит тетя Салли, – ты нас нисколько не обрменишь, ну нисколько. Ты просто *обязан* остаться. Дорога дальняя, пыльная, пешим мы тебя ни по чем не отпустим. И потом, я уж велела, едва тебя увидела, еще одну тарелку на стол поставить, так что ты нас не обижай. Заходи и чувствуй себя, как дома.

Ну, Том рассыпался в благодарностях, и позволил уговорить его, и вошел в дом, и сказал, что он приехал из Хиксвилля, который в штате Огайо, а зовут его Уильямом Томпсоном – и поклонился еще раз.

В общем, принялся он распространяться насчет Хиксвилля и всяких выдуманных им людей, а я уже малость нервничать начал, не понимая, как же он думает помочь мне выбраться из каши, которую я заварил, и, наконец, Том, продолжая болтать, наклонился к тете Салли и поцеловал ее прямо в губы, и снова откинулся на спинку стула, не прерывая рассказа о том, о

сем, а она вскочила на ноги, вытерла тылом ладони губы и говорит:

– Ах ты щенок бесстыжий!

Он словно бы даже обиделся и отвечает:

– Вы меня удивляете, мэм.

– Я его... Да за кого ты меня принимаешь, а? Вот возьму сейчас... А ну, говори, с каких это радостей ты меня целовать надумал?

А Том вроде как присмирел и говорит:

– Да ни с каких, мэм. Я ничего дурного и в мыслях не имел. Полагал, что вам это понравится.

– Дурак ты безголовый! – тетя Салли схватила веретено, и испугался, что она им сейчас Тома по лбу треснет. – Как тебе такое в голову-то взбрело?

– Ну, не знаю. Просто, они... они все мне так сказали.

– *Они!* Небось, такие же *обормоты*, как ты! Сроду подобной чуши не слышала. Это какие ж такие *они*?

– Да все они. Все мне так говорили, мэм.

Я вижу она уже еле сдерживается – глазами хлопает и пальцы у нее подергиваются, точно она Тому в лицо вцепиться хочет. И говорит:

– Кто все? Ты мне имена назови, иначе на свете одним идиотом меньше станет.

Том встает, разгорченный такой, шляпу в руках мнет и говорит:

– Извините меня, я никак не ожидал, что вы так расстроитесь. Это они велели мне так поступить. Все до единого. Все сказали: поцелуй, мол, ее, она очень обрадуется. В один голос. Вы уж простите меня, мэм, я больше не буду, честное слово

– Ах ты больше не будешь? Да уж наверное не будешь, вот только попробуй!

– Нет, мэм, ей же ей, и пробовать не стану, никогда, – если высами не попросите.

– Попрошу, сама? Ну отродясь наглеца такого не видела! Да ты до Мафусалимовых веков доживешь и совсем слабоумным станешь, прежде чем я тебя попрошу – или такого, как ты!

– Ну что тут скажешь? – говорит Том. – Очень вы меня удивили. Ничего понять не могу. Они уверяли, что вам это понравится, да я и сам так думал. Впрочем... – он неторопливо поозирался вокруг, словно бы надеясь встретить хоть один дружественный взгляд, остановился на старике и спрашивает: – Ну вот скажите хоть вы, сэр, *вам* не казалось, что ее мой поцелуй порадует?

– Э-э-э, нет. Я... я... нет, не казалось.

Тогда Том поворачивается таким же манером ко мне и говорит:

– Том, а *тебе* не казалось, что тетя Салли раскроет передо мной объятия и воскликнет: «Сид Сойер...»?

– Господи-Боже! – восклицает она и бросается к нему, – дерзкий ты молодой негодяй, так одурачить меня, так...

И попыталась его обнять, однако Том удержал ее рукой на расстоянии и говорит:

– Нет уж, сначала попросите.

Она времени тратить не стала, попросила, и обняла Тома, и расцеловала ну просто сверху донизу, а после сдала то, что от него осталось, старику. И когда оба они успокоились малость, говорит:

– Вот как Бог свят, никто меня еще так не удивлял. Мы ж тебя и не ждали, только Тома. И сестра мне о твоём приезде ничего не писала.

– А это потому, что только Том приехать и должен был, не мы оба, – говорит он, – но я упрашивал ее, упрашивал, и перед самым его отъездом она и меня отпустила, и мы с Томом, пока по реке плыли, решили, что первоклассный получится сюрприз, если сначала он один к вам приедет, а я приотстану, а после явлюсь и выдам себя за чужого мальчика. Но мы были неправы, тетя Салли. Чужих здесь как-то неласково принимают.

– Ну – во всяком случае, таких нахальных щенков, Сид. Скажи спасибо, что я тебе по зубам не съездила, я уж и не помню, когда меня в последний раз так из себя выводили. Ну да ничего, я не против, я бы и тысячу таких шуток стерпела, лишь бы тебя увидеть. Нет, но какое

же представление ты разыграл! Чего уж скрывать – я чуть не лопнула от изумления, когда ты меня чмокнул.

Мы пообедали в широком проходе, соединявшем дом с кухней. Еды на столе было – на семь семейств – и вся горячая; не какое-нибудь там вялое жесткое мясо, пролежавшее всю ночь в буфете, который в сыром подвале стоит, так что поутру оно только старому каннибалу и может прийти по вкусу. Дядя Сайлас прочитал над ней длинную молитву, однако еда того стоила, она и неостыла даже, а это при такой вольтинке часто бывает, уж я-то знаю. После обеда все долго разговаривали – мы с Томом держали уши на макушке, однако про беглого негра никто и словом не обмолвился, а сами мы о нем заговорить не решались. Однако за ужином, вечером уже, один из мальчиков спросил:

– Па, а можно мы – Том, Сид и я – на спектакль сходим?

– Нет, – отвечает старик, – я так понимаю, никакого спектакля не будет, а и был бы, я бы вас не пустил, потому что беглый негр много чего Бертону и мне понарасказывал об этом постыдном зрелище, и Бертон пообещал о нем весь город оповестить, так что, думаю, этих наглых безобразников оттуда уже выставили.

Вот те и на! – а я им и помочь ничем не могу. Спать нам с Томом предстояло в одной комнате, да и в одной постели тоже, и мы, сказав, что устали, сразу после ужина пожелали всем спокойной ночи и поднялись туда, и вылезли в окно, и спустились по громоотводу, и побежали в город, потому как я не думал, что кому-нибудь взбредет в голову предостеречь короля и герцога, и значит, если я не поспею вовремя, им придется несладко.

По дороге Том рассказал мне, как все решили, что я убит, как вскоре после этого исчез куда-то и больше уж не возвращался папаша, и сколько кому наделало в городе бегство Джима; а я рассказал Тому о наших проходах и о «Королевском совершенстве», ну и о путешествии на плоту тоже – что успел; вот, а когда мы добрались до центра городка, – времени было уже за половину девятого, – то обнаружили там разъяренную толпу: все с факелами, орут, улюлюкают, в жестяные сковороды бьют и в рожки дудят; мы отскочили в сторону, чтобы их пропустить, и, когда они проходили мимо, я увидел сидевших верхом на шесте короля и герцога – то есть, я *понял*, что это были король с герцогом, их же сплошь покрывали смола и перья, они уж и на людей-то не походили, скорее, начудовищные солдатские плюмажи. Знаете, мне даже тошно стало и жалко несчастных мошенников – и никакой неприязни я к ним уже не испытывал, ни-ни. Люди бывают порой так жестоки друг к другу.

Мы поняли, что опоздали и ничего сделать не сможем. По расспросили нескольких зевак, которые за толпой тащились, и те рассказали, что жители городка пришли на спектакль как ни в чем не бывало, и вели себя, пока бедняга король выкаблучивался на сцене, тихо-мирно, а потом кто-то подал сигнал, и все повскакали на ноги и набросились на них.

В общем, поплелись мы назад, и на душе у меня было тяжело, и чувствовал я себя паршиво, как будто осрамился или виноват в чем – даром что я не сделал ничего. Ну да оно ведь всегда так бывает: прав человек или не прав, совести это без разницы, она – особа неразумная и все равно его заедает. Да будь у меня собака, такая же бестолковая, как совесть, я бы ее просто-напросто отравил. Места она в человеке занимает больше, чем всякие кишки и печенки, а проку от нее никакого, даже и ждать нечего. Вот и Том тоже так говорит.

Глава XXXIV. Мы подбадриваем Джима

Мы молчали, задумавшись, а после Том и говорит:

– Ну и бестолочи же мы с тобой, Гек! Спорить готов, что я знаю, где Джим.

– Да что ты? Где?

– В хибарке около сундука с золой. Вот смотри. Видел ты, когда мы обедали, как туда негр еду заносил?

– Видел.

– А кого он, по-твоему, там кормил?

– Собаку.

– Вот и я так подумал. Ну так в этой хибаре никакая несобака сидит.

– Почему?

– Потому что среди еды арбуз был.

– Точно – я его тоже заметил. Надо же – и не подумал ведь, что собаки арбузов не жрут.

Верно говорят: человек может смотреть и ничего при этом не видеть.

– Ну так вот, негр перед тем, как войти туда, отпер всякий замок, а, как вышел, запер. И когда мы из-за стола вставали, он дяде ключ принес, наверняка тот самый. Арбуз означает человека, ключ – узника; а на такой маленькой плантации, да у таких добрых, хороших людей вряд ли целых два узника под замком сидеть будут. Выходит, Джим – этот самый узник и есть. Ну ладно, хорошо хоть, что мы установили это, как настоящие детективы, – за другие способности я и гроша не дал бы. Теперь давай пораскинем умом и придумаем план, как нам Джима украсть – ты свой, я свой, – а после выберем лучший.

Какая все-таки голова сидела на плечах Тома Сойера! Да будь меня такая, я бы ее ни на что не променял – ни на звание герцога, ни на местопомощника капитана на пароходе или клоуна в цирке – ну просто, ни на что. Начала придумывать план, но только для того, чтобы чем-то заняться, потому как отлично знал, кто придумает правильный. И скоро Том Сойер спрашивает:

– Готов?

– Да, – отвечаю.

– Отлично – выкладывай.

– У меня план такой, – говорю я. – Джим там сидит или не Джим, это мы выясним сегодня же. А завтра ночью поднимем со дна мой челнок и приведем с острова плот. Потом, в первую же темную ночь украдем, как только старик заснет, ключ – он у него на поясе штанов висит, – и уплывем с Джимом пореке. Днем будем прятаться, а ночью плыть, как раньше. Сможем мы это сделать?

– *Сможем*? Конечно, сможем, это будет не труднее, чем двух псов стравить. Но только уж больно он прост, твой план, нет в нем настоящей изюминки. От него осложнений ждать – все равно, что молока от гусыни. И чего ж в нем тогда хорошего? О таком похищении негра и разговоров-то будет не больше, чем об ограблении мыльного заводика.

Я не спорил, потому что ничего другого и не ожидал, и понимал, к тому же, что против плана Тома такие возражения выдвигать не придется.

И не пришлось. Том изложил его, и я мигом увидел, что он шикарнее моего раз в пятнадцать, что сделает Джима свободным с той же верностью, что и мой, но зато попутно нас, может быть, еще и поубивают всех. Впрочем, меня он вполне устроил и я сказал, что его-то мы выполнять и будем. Я вам этот план пересказывать не стану, потому что еще тогда понял – он будет меняться на каждом шагу и при всякой возможности обрастать новыми украшениями. Так оно и вышло.

Ну, одно, во всяком случае, можно было сказать с уверенностью: Том Сойер всерьез собирался выволить негра из рабства. И это оказалось выше моего понимания. Том был мальчиком respectable, получившим достойное воспитание; ему было, что терять, – доброе имя, и не только свое, но и всей его семьи; он был умен, дураком его никто не назвал бы; да и человеком было образованным, не невеждой каким-нибудь; и порядочным, а не проходимцем. И темне менее, он без всякого стыда, совершенно не задумываясь, хорошо это или плохо, ввязывался в такое дурное дело, вместо того, чтобы воспрепятствовать ему, и готов был покрыть себя и всю свою семью позором. Вот этого я понять просто *не мог*. Дело-то было подлое, и я знал, что обязан объяснить это Тому, удержать его, как истинный друг, от беды, сказать, что он должен бросить это сию же минуту и тем спасти свое доброе имя. И я даже начал лепетать что-то в этом роде, однако Том перебил меня и говорит:

– Думаешь, я не знаю, на что иду? Как правило, я это знаю, верно?

– Верно.

– Разве я не *пообещал* тебе помочь украсть негра?

– Пообещал.

– Ну тогда и говорить не о чем.

И ничего он мне больше не сказал, и я ему тоже. Да и что можно было сказать? – если Том обещал что-то сделать, так уж делал обязательно. Я, конечно, не мог понять, зачем он лезет в такую историю, но решил об этом и недумать, и не волноваться. Том принял решение, и я ничего тут изменить не мог.

Когда мы вернулись назад, дом был тих, темен, и мы надумали осмотреть хибарку, стоявшую рядом с сундуком для золы. И пошли к ней прямо через двор, нам хотелось понять, как поведут себя собаки. Однако собаки к намуже попривыкли и потому шуметь особо не стали – не больше, чем любая деревенская собака, когда мимо нее ночью проходишь. Добрались мы до хибарки, осмотрели ее спереди, с боков и с той стороны, которую я еще не видел – с северной – и обнаружили там квадратное окно, пробитое довольно высоко, но заколоченное всего-навсего одной доской. Я и говорю:

– Оно нам в самый раз подойдет. Если мы отдерем доску, Джим сможет вылезти наружу.

А Том отвечает:

– Это получится проще крестиков-ноликов и легче, чем урок прогулять. Надеюсь, Гек Финн, нам удастся придумать что-нибудь потруднее.

– Ладно, – говорю я, – может, тогда дыру в стенке пропилим – как я перед моим убийством?

– Вот это хоть на что-то похоже, – отвечает он. – Тут итаинственность есть, и возни выше головы, в общем, хороший способ, и все-таки, готов поспорить, что нам удастся придумать путь вдвое длиннее. Давай не будем спешить, а просто оглядимся вокруг.

Со стороны забора к хибарке примыкал дощатый сарайчик примерно одной с ней высоты – той же длины, что и хибарка, но узкий, футов в шесть шириной. Дверь его выходила на южную сторону и была заперта на всякий замок. Том пошарил у котла для варки мыла, отыскал длинную железку, которой скотла крышку снимали, и выломал ею дужку, на которой висел замок. Тот упал вместе цепью на землю, мы вошли в сарай, затворили за собой дверь, Том чиркнул спичкой, и мы увидели, что прохода из сарая в хибару нет, и пола у него тоже нет, да и вообще ничего, кроме валяющихся по земле заржавелых подков, лопат, мотыги сломанного плуга. Спичка погасла, мы вышли наружу, вернули зубчики дужки на место и дверь снова оказалась запертой – лучше некуда. Тома все увиденное нами сильно обрадовало. Он говорит:

– Ну теперь все в порядке. Мы с тобой *подкоп* сделаем. Неделю проковыряемся, никак не меньше.

И мы направились к дому. Я вошел в него через заднюю дверь, – она на кожаную петлю закрывалась, замков в доме и в помине не было, – но, сами понимаете, Тому Сойеру такой способ проникновения в дом представлялся уж больно не романтичным, Том просто обязан был туда по громоотводу залезть. Три раза он добирался до середины громоотвода и все три срывался и падал на землю, и в последний чуть мозги себе не вышиб, и едва не отказался от своей затеи, однако, передохнув немного, попытал удачи снова, и тут уж до самого верха долез.

Утром мы поднялись ни свет, ни заря и пошли к негритянским домишкам, поиграть с собаками и познакомиться с тем негром, который Джима кормил – если, конечно, это был *Джим*. Негры только-только позавтракали и собирались в поля идти, а Джимов негр как раз накладывал в жестяную кастрюльку хлеб, мясо и прочее, и, когда все остальные ушли, принес из хозяйского дома ключ.

Хороший оказался негр, добродушный, улыбчивый, с волосами, собранными в перевязанные нитками пучочки. Это чтобы ведьм отпугивать. Он сказал, что в последнее время ведьмы его по ночам ужас как донимают, насылают ему всякие видения, а еще он слышит странные слова и звуки, в общем, до сей поры никогда они его так не изводили. Он настолько увлекся рассказом о своих несчастьях, что обо всем на свете забыл. Однако Том спросил:

– А для кого ты столько еды наложил в кастрюльку? Для собак?

У негра все лицо расплылось в улыбке – ну совершенно как лужа, в которую кирпичом запустили, – и он ответил:

– Да, марса Сид. Это все для собаки. Интересная такая собачка. Не хотите на нее поглядеть?

– Хотим.

Я нагнулся к уху Тома и шепчу:

– Ты что, прямо сейчас к нему попрешься, среди бела дня? В плане этого не было.

– Раньше не было, а теперь *есть*.

И, черт меня подери, потащились мы к хибаре, хоть мне это ну никак не нравилось. Вошли внутрь – ничего не видать, темнотища, хоть глаз выколи, зато Джим, а именно он там и сидел, разглядел нас сразу, да как закричит:

– Боже мой, Гек! Милость Господня! Да это же масса Том!

Ну так я и знал, вот именно этого и ожидал. И что теперь делать, понятия не имел. Однако делать мне ничего не пришлось, потому что Джимов негр изумился ужасно и говорит:

– Вот те и на! Так он знает вас, жентельмены?

Глаза наши уже свыклись с темнотой. И Том уставился на негра – удивленно и строго – и спрашивает:

– *Кто* нас знает?

– Да вот этот беглый негр.

– Нет, не думаю. А почему тебе это в голову взбрело?

– Как почему? Разве он сам так не сказал сей минут?

Тут Том совсем уж изумился и говорит:

– Да, что странно, то странно. *Кто* сказал? *Когда* сказал? *Что* сказал? – а потом спокойно так повернулся ко мне и говорит:

– Ты что-нибудь слышал, Том?

Разумеется, я только одно ему ответить и мог, ну и ответил:

– Нет, тут, вроде как, все молчали.

Том поворачивается к Джиму, вглядывается в него так, точно никогда раньше не видел, и спрашивает:

– Ты что-нибудь говорил?

– Нет, сэр, – отвечает Джим. – Ничего не говорил, сэр.

– Ни одного слова?

– Нет, сэр. Ни единого.

– А нас ты когда-нибудь видел?

– Нет, сэр, что-то не припомню.

Тогда Том снова обращается к негру, – а тот совсем уж обомлел и расстроился, – и говорит, да сурово так:

– Что это с тобой, а? С чего ты решил, будто кто-то тут рот раскрывал?

– Ох, сэр, это все растреклятые ведьмы, сэр, лучше б я помер сразу. Вот всегда они так, сживут они меня со свету, ей-богу. Вы только не говорите никому, а то марса Сайлас меня ругать будет, он же твердит, что никаких ведьм и вовсе нет. Был бы он сейчас здесь, так другому запел бы! Небось, на этот раз признал бы – есть они, ведьмы-то, есть! И ведь всегда он так – упрется человек и с места его не сдвинешь. Знать ничего не желает и узнать не интересуется, а начнешь ему чего рассказывать, он тебя и слушать не хочет.

Том пообещал никому ничего не говорить, дал ему десять центов и сказал, чтобы он купил побольше ниток, волосы перевязывать, а потом кинул Джима взглядом и говорит:

– Интересно, не думает ли дядя Сайлас повесить этого негра? Если бы я изловил негритоса, которому хватило бесстыдства удрать от хозяина, то непременно повесил бы, и возвращать никуда не стал.

Тут Джимов негр вышел наружу, чтобы получше разглядеть монетку, да куснуть ее, проверить – настоящая ли, – и Том прошептал Джиму:

– Не подавай виду, что знаешь нас. А если услышишь ночью, как кто-то землю роет, так это мы – мы тебя освободить собираемся.

Джим только и успел, что схватить Тома за руку и сжать ее, и тут вернулся негр, и мы

сказали ему, что как-нибудь еще сюда с ним заглянем, если он не возражает, а он ответил, что нисколько не возражает, особенно если темно будет, потому как ведьмы к нему все больше в темноте прицепляются, так лучше кого-нибудь рядом иметь.

Глава XXXV. Мы строим зловещие планы

До завтрака оставалось еще больше часа, поэтому мы пошли в лес – Том сказал, что без света рыть подкоп невозможно, а фонарь горит слишком яркой может нас выдать, поэтому нам требуются гнилушки, которые светятся в темноте. Мы набрали по охапке каждый, спрятали гнилушки в зарослях бурьяна, присели отдохнуть, и тут Том говорит, да расстроено так:

– Черт его подери, все у нас как-то просто получается, не изящно. Из-за этого по настоящему сложный план и составить-то трудно. Стражника, которого нам пришлось бы чем-нибудь одурманить, нет, – а ведь *должен же* быть стражник. Даже собаки, которой мы могли бы подсыпать в еду сонный порошок, и той нет. Да и прикован Джим всего-навсего за одну ногу – десятифутовой цепью, надетой на ножку кровати – всех и дел-то: приподними кровать, цепь сама соскользнет. А дядя Сайлас верит кому ни попадя – отдает ключ безмозглому негру не приставляет к нему никого, кто следил бы за ним. Джим давно уж мог через кошко удрать, просто податься ему с десятифутовой цепью на ногу некуда. Нет, Гек, такой дурацкой организации дела я еще не встречал. Все трудности самому выдумывать приходится. Ну да ничего не поделаешь. Будем работать с тем материалом, какой у нас есть и постараемся выжать из него все, что можно. Так или иначе, одно остается верным: мы покроем себя куда большей славой, если вызволим Джима из заточения, преодолев множество препятствий и подвергнув себя куче опасностей, при том, что ни того, ни другого от людей, которые просто обязаны нам препоны чинить, мы так и не дождалась и вынуждены были соорудить эти препоны своими руками. Возьми хоть тот же фонарь. Ведь если здраво-то рассудить, нам же просто-напросто пришлось прикинуться, что фонарь – штука рискованная. Да если бы нам такое наум взбрело, мы могли бы из дома к хибаре с факелами шествовать и все равно никто бы на нас внимания не обратил. Да, вот еще что, надо бы нам поискать что-нибудь такое, из чего пилу можно сделать.

– А на что нам пила?

– На *что*? А чем, по-твоему, мы будем перепиливать ножку Джимовой кровати, чтобы цепь с нее снять?

– Да ты же сам сказал, что кровать только приподними, цепь и соскользнет.

– Вот весь ты в этом, Гек Финн. Придумаешь младенчески простой способ сделать что-нибудь – и доволен. Ты вообще какие-нибудь книжки читал? Про барона Тренка, Казанову, Бенвенуто Чиллини, Анри IV, про других героев? Да никто и не слышал никогда, чтобы узника освобождали на такой стародевичий манер. Нет, большинство авторитетов требует, чтобы ты перепилил ножку кровати, и проглотил опилки, потому что они никому на глаза попасться не должны, а место распила замазал грязью и салом, чтобы и самый остроглазый сношаль [10] даже следа его не заметил и считал, что ножка целехонька. Вот тогда, в ночь побега, ты как двинешь по ней ногой, она и развалится, а ты с нее цепь сорвешь. После этого тебе только и останется, что сбросить с крепостной стены веревочную лестницу, спуститься по ней, сломать во рву ногу, – потому что лестница, сам понимаешь, всегда оказывается футов на девятнадцать короче, чем нужно, – а там тебя уже кони ждут и верные вассалы, и они вытаскивают тебя из воды, перебрасывают через седло, и ты скачешь в родимый Лангедук, или Наварру, или куда тебе требуется. Вот это настоящий класс, Гек! Жалко, никто нашу хибарку рядом не окружил. Ну, если будет время, мы его прямо в ночь побега сами и выроем.

Я спрашиваю:

– На что ж нам ров, если мы Джима через подкоп вытаскивать будем?

Однако Том меня даже не услышал. Он уже и обо мне позабыл, ибо всем на свете. Сидел, подперев ладонью подбородок, думал о чем-то своем. А после вздохнул, покачал

головой, еще раз вздохнул и говорит:

– Нет, не годится – не оправдывается необходимостью.

– Ты это о чем? – спрашиваю я.

– Да о том, чтобы Джиму ногу отпилить, – отвечает.

– Господи! – говорю я. – Это ты правильно сказал, неоправдывается. Да и зачем ее отпиливать-то?

– Понимаешь, так поступали некоторые из самых лучших авторитетов. Если им ну никак цепь снять не удавалось, они просто отрубали себеруку и удирали. Ну а нога для такого дела еще лучше подходит. Однако нам от этой идеи отказаться придется. В нашем случае, в ней нет достаточной необходимости, да к тому же, Джим – негр и не поймет, для чего это нужно, он жене знает европейских обычаев, так что ладно, обойдемся без этого. А вот веревочная лестница нам понадобится – придется раздрать наши простыни и связать ее из обрывков, это дело нехитрое. Лестницу мы ему в пироге пошлем, таков уж обычай. Пирог, конечно, будет невкусный, ну да я и похуже едал.

– Послушай, Том Соьер, – говорю я, – по-моему ты ерунду какую-то городишь; ну на что Джиму веревочная лестница?

– *Нужна* и все тут. Сам ты ерунду городишь, потому что не смыслишь ни аза. Он просто *обязан* держать при себе веревочную лестницу, она у каждого узника имеется.

– Да что он с ней *делать-то* будет, господи прости?

– Что делать, что делать! В постели своей прятать, что же еще? Все так поступают, значит и ему придется. Знаешь, Гек, по-моему, тебе просто не хочется устраивать побег, как полагается, ты все время что-то новенькое придумываешь. Ну, допустим, не будет у него лестницы, так? – и не оставит он ее после побега в постели, в виде улики. По-твоему что – улики вообще никому не понадобятся? Еще как понадобятся. А ты норовишь ни одной не оставить. Это уж вообще бог знает что получится! Неслыханное же дело!

– Ладно, – говорю я, – раз того правила требуют, сделаем мыему лестницу, я против правил идти не собираюсь, но только вот что, Том Соьер, если мы простыни изорвем, то будет нам с тобой от тети Салли головомойка, это уж как бог свят. Давай мы лестницу из ореховой коры сплетем, – оно и обойдется дешевле, и рвать нам ничего не придется, и в пирог она влезет, как миленькая, не хуже тряпичной, и в соломенный тюфяк тоже. Ну а Джим, он же в таких делах человек не опытный, ему без разницы из чего...

– Ну полная чушь, Гек Финн, будь я таким невеждой, как ты, я бы вообще рта не раскрывал. Где это видано, чтобы государственный преступник спускался со стены замка по лестнице, связанной из коры? Это же курам на смех!

– Ну хорошо, Том, хорошо, будь по-твоему. Но, если хочешь знать мое мнение, давай-ка я лучше позаимствую простыню с бельевой веревки, на которую ее сушиться вывешивают.

На это он согласился. Да ему еще и новая мысль в голову пришла, и он сказал:

– Позаимствуй заодно и рубашку.

– А рубашка нам зачем, а, Том?

– Чтобы Джиму было на чем дневник вести.

– Дневник, чтоб я пропал! Да Джим и писать-то не умеет.

– Ну не умеет, ну и что? Пусть закорючки какие-нибудь ставит – уж это-то он умеет? А мы ему перо изготовим из оловянной ложки или старого обруча от бочки.

– Да ну его Том, давай лучше перо из гуся выдернем – оно и быстрее будет, и возни никакой.

– Ты думаешь, по подземным темницам гуси так стадами и бегают, чтобы узникам было из кого перья драть, а, олух царя небесного? Узники *всегда* делают перья из чего-нибудь самого твердого и прочного, как раз такого, с чем возни не оберешься, – из обломка старого медного подсвечника или еще из чего, что им под руку подвернется, и обтачивают его неделями и месяцами, потому что им приходится эту железку об стенку тереть. Да если бы им и попало гусиное перо, они на него даже смотреть не стали бы. Потому что это не по правилам.

– Ладно, пускай, а чернила мы из чего сделаем?

– Многие смешивают ржавчину со своими слезами, однако такие чернила только для простонародья да женщин годятся. Самые лучшие авторитеты пишут своей кровью. Джим тоже так сможет. А если ему захочется послать миру заурядное простенькое загадочное известие о том, где он томится, то сможет нацарапать несколько слов на доньшке жестяной тарелки и выбросить ее в окно. Железная Маска всегда так делал, это чертовски хороший способ.

– У Джима нет тарелок, его из кастрюльки кормят.

– Не страшно. Тарелку мы ему раздобудем

– Так ведь его тарелок никто и читать-то не будет.

– Это совершенно не важно, Гек Финн. Его дело – нацарапать что-нибудь на тарелке и выбросить ее в окно. А сможет кто его писанину прочесть или не сможет, это никого не волнует. Господи, да половины того, что узники пишут на тарелках или еще где, никому до сих пор прочесть не удалось.

– Какой же тогда смысл тарелками разбрасываться?

– Ну, знаешь, это ж не его тарелки, не *узника*.

– Но кому-то они все же принадлежат, так?

– Ну принадлежат, ну и что? С чего это *узник* станет заботиться о...

Тут ему пришлось прерваться, потому что мы услышали рожок, звавшийся на завтрак, и побежали к дому.

Тем же утром я позаимствовал с бельевой веревки простыню и белую рубашку, а после отыскал старый мешок и сложил их в него, и гнилушки наши мы туда же засунули. Я называю это «заимствованием», потому что папаша всегда так говорил, но Том заявил, что никакое это не заимствование, а самое обыкновенное воровство. Он сказал, что мы – доверенные лица узника, а узнику наплевать, откуда берется нужная ему вещь, для него главное получить ее, и винить его за это нельзя. Сказал, что, если узник крадет что-то необходимое ему для побега, то никакого преступления не совершает, это его право, и потому, пока мы остаемся доверенными лицами узника, мы тоже имеем полное право красть здесь все, что способно хоть как-то помочь нам вытащить его из тюрьмы. Сказал – мы в этом смысле и сами все равно что узники, а это многое меняет, потому как, если воровство совершает не узник, а кто другой, так он человек дурной и низкий. А нам позволено тянуть все что плохо лежит. Тем не менее, когда я стащил снегритянской бахчи арбуз и съел его, Том страшно расшумелся и заставил меня пойти к неграм и отдать им десять центов, не объясняя, за что. По его словам, он имел в виду совсем другое, – дескать, мы можем красть все, что нам *нужно*. Ну, я и говорю ему, что мне как раз арбуз-то нужен и был. А он ответил, что арбуз же нужен мне был не для того, чтобы из тюрьмы сбежать, в этом-то вся иразница. Вот если бы, говорит, он был тебе нужен для того, чтобы спрятать в немкинжал и передать его Джиму, которому требовалось сношала зарезать, тогда ты, сперев арбуз, поступил бы хорошо и правильно. Я с ним спорить, конечно, не стал, хотя не видел большого смысла ходить в доверенных лицах, если я должен всякий раз, как мне подвернется арбуз, который можно спереть, садиться с ним рядом на землю и размышлять о тонких различиях.

Да, так вот, как только все занялись своими делами и никого во дворе не осталось, Том оттащил мешок в пристройку, а меня оставил на страже стоять. И когда он оттуда вышел, мы присели на поленницу, чтобы еще раз все обсудить. Он и говорит:

– Ну, теперь у нас есть все, кроме орудий, а их мы легко раздобудем.

– Орудий? – спрашиваю.

– Ну да.

– А орудия-то нам на что?

– Землю рыть, на что же еще? Не зубами же мы ее грызть будем.

– А старые мотыги и лопаты, которые в сарае валяются, чем тебе хороши? В самый раз и сгодятся, чтобы негра откопать, – говорю я.

Поворачивается он ко мне и смотрит с такой жалостью, что меня самого чуть слеза не

прошибла, – и говорит:

– Ты когда-нибудь слышал, Гекк Финн, про узника, у которого хранятся в платяном шкафу мотыги, лопаты и прочие приспособления, которыми он может с большим удобством землю рыть? Ну вот ответь мне, – если у тебя хоть капля здравого смысла осталась, – какой же из него в таком разе герой получился бы, а? Давай уж тогда подарим ему ключ от камеры и дело с концом. Мотыги, лопаты – да их в тюрьме даже королям не выдают.

– Ну хорошо, – говорю, – если мотыгами и лопатами нельзя, чем мы тогда рыть будем?

– Столовым ножами.

– Это подкоп-то?

– Именно.

– Черт побери, но это же глупость, Том.

– Глупость не глупость, но это *правильно* – все именно так и поступают. О *другом* способе я ничего не слышал, а я прочитал все книги, в которых содержатся сведения о таких вещах. Узники всегда пользуются столовыми ножами и, заметь, им приходится не с землей дело иметь, а, как правило, с камнем. Неделю за неделей и так веки вечные. Да вот, один узник, сидевший в подземелье замка Тиф, который в марсельской гавани стоит, он именно так на волю и вышел – и сколько у него на это времени ушло, как по-твоему?

– Откуда ж мне знать?

– А ты, догадайся.

– Ну, не знаю. Месяца полтора.

– *Тридцать семь лет*, – а из-под земли он вылез в Китае. Во как. Эх, жалко, полы у нашей крепости не каменные.

– Так у Джима и знакомых-то в Китае нет.

– При чем тут знакомые? Их и у того узника тоже не было. Вечноты разговор в сторону уводишь. Ты о главном думай, о главном.

– Ну хорошо, мне все равно, где он из-под земли вылезет – лишь бы *вылез*, – да и Джиму, я так понимаю, тоже. Но все-таки, староват уже Джим, чтобы землю столовым ножом ковырять. Его надолго не хватит.

– Еще как хватит. Ты же не думаешь, что мы с самой обычной землей тридцать семь лет возиться будем, так?

– А сколько мы будем, Том?

– Да хорошо бы подольше, но это рискованно. Дядя Сайлас может того и гляди ответ получить из Нового Орлеана – узнать, что Джим вовсе неоттуда. И тогда он даст о нем объявление в газету или еще что. Так что рисковать и долго заниматься подкопом мы не можем. По правилам, я так думаю, нам следовало бы пару лет на него потратить, да не получается. Поэтому я порекомендовал бы следующее: постараться прорыть подкоп как можно быстрее, а после *притвориться* – перед самими собой, – что мы на него тридцать семь лет потратили. Тогда, если в воздухе запахнет бедой, мы сможем мигом вытащить Джима из тюрьмы и удрать. Да, думаю так будет лучше всего.

– Очень *здравая* мысль, Том, – говорю я. – Притвориться, это мне ничего не стоит, раз плюнуть, и если никто не против, я бы, пожалуй, притворился, что мы тут лет сто пятьдесят провозюкались. Это я хоть сейчас могу, дело привычное. Ладно, пойду в дом, посмотрю, не удастся ли мне стырить пару столовых ножей.

– Стырь три, – велит он, – из одного мы пилу сделаем.

– Том, если оно не против правил и истинной веры, – говорю я, – так с той стороны коптильни торчит засунутая за обшивку стены старая ржавая ножовка.

Он посмотрел на меня устало и разочарованно и говорит:

– Учи тебя Гек, учи, все не в коня корм. Иди и укради ножи – три штуки.

Ну, я так и сделал.

Глава XXXVI. Что мы предпринимали для освобождения Джима

В ту ночь, едва уверившись, что все заснули, мы спустились, закрылись в пристройке,

достали из мешка гнилушки и принялись за работу. Расчистили у середки нижнего бревна участок земли фута в четыре-пять длиной. Том сказал, что он находится прямо за кроватью Джима и, когда мы подкопаемся под бревно и вылезем с другой его стороны, никто и не узнает о существовании этого лаза, потому что покрывало на кровати Джима свисает до самой земли и, только приподняв его и заглянув под кровать, можно будет увидеть подкоп. Ну, начали мы рыть землю столовыми ножами и рыли почти до полуночи – устали, как собаки, на ладонях у нас волдыри вылезли, а результата почти и не видать. Наконец, я говорю:

– Тут работы не на тридцать семь лет, Том Сойер, – на все тридцать восемь хватит.

Он не ответил. Однако вздохнул, рыть перестал и через некоторое время я понял, что он задумался. И наконец, говорит:

– Пустая это затея, Гек, ничего она нам не даст. Еще если бы сами узниками были, тогда бы ладно, потому что лет в нашем распоряжении имелось бы сколько угодно, а спешки никакой, – мы и копали бы каждый день всего понесколько минут, пока караул меняется, и волдырей не натерли бы, и трудились бы так год за годом, и сделали все по правилам, как положено. Но *нам-то* долго возиться нельзя, нам спешить нужно, у нас лишнего времени нет. Еще одна такая ночь и мы ладони напрочь сотрем, и будут они неделю заживать, а мы даже ножей в руки взять не сможем.

– Ладно, а как же нам тогда быть, Том?

– Сейчас скажу. Оно, конечно, неправильно, и безнравственно, и мне не хочется, чтобы об этом кто-то узнал, но выход у нас только один: придется копать *мотыгами* и притвориться, что они – ножи.

– Вот это другой разговор! – отвечаю я. – Голова, у тебя, Том Сойер, все лучше и лучше варить начинает, – говорю. – Мотыга – это вещь, нравственная она там или безнравственная; лично меня ее нравственность ни вот столечко не интересует. Если я собираюсь украсть негра, или арбуз, или учебник воскресной школы, так мне все равно, каким способом это делать – главное сделать. Мне только одно и требуется – мой негр, или мой арбуз, или мой учебник воскресной школы; и если мотыга подходит для этого дела лучше всего, так я и буду откапывать негра, или арбуз, или учебник воскресной школы мотыгой, а за мнения всяких там авторитетов и дохлой крысы не дам.

– Видишь ли, – говорит Том, – в случаях, вроде нашего, применение мотыг и притворства оправданы; будь это не так, я бы ни за что наного не пошел и не стал бы спокойно смотреть, как нарушаются правила, потому что хорошее – это хорошее, а дурное – дурное, и человеку, если он не невежда и понимает разницу между ними, дурно поступать не следует. Ты бы еще и мог откапывать Джима мотыгой, *не прибегая* ни к какому притворству, потому что разницы этой не понимаешь, а вот я понимаю и, стало быть, без притворства обойтись не могу. Дай мне нож.

Вообще-то, нож он в руке держал – свой, но я все равно ему мой протянул. Том бросил его на землю и говорит:

– Дай мне *нож*.

Я, хоть и не сразу, но понял, о чем речь идет. Порылся среди старых инструментов, нашел кирку, отдал ему, и Том принялся за дело, не произнеся больше ни слова.

Да он и всегда таким привередой был. Сплошные принципы.

Ну а я взялся за лопату, Том землю киркой колотил, я сгребали отбрасывал, пыль так и летела. Протрудились мы с полчаса, на большее сил не хватило, однако ямина у нас получилась изрядная. А когда я поднялся в нашу комнату и выглянул в окно, то увидел Тома, сражавшегося с громоотводом – никак у него не получалось наверх забраться, волдыри мешали. И наконец, он говорит:

– Нет, ничего не выходит. Что мне лучше сделать, как ты считаешь? Может, есть еще какой-нибудь способ?

– Есть, – отвечаю, – но только, сдается мне, он безнравственный. Ты поднимись по лестнице и притворись, будто она – громоотвод.

Так он и сделал.

На следующий день Том спер в доме оловянную ложку и медный подсвечник, – это чтобы перья для Джима изготовить, – ну и шесть сальных свечей заодно прихватил, а я послонялся малость у негритянских хижин и, улучив момент, слямзил три жестяных тарелки. Том сказал, трех маловато будет, но я ответил, что тарелки, которые Джим в окошко выкидывать станет, все одно никто не найдет, потому как они упадут в заросли собачьей ромашки и дурмана, больше под его окном ничего не растет, и мы сможем возвращать их Джиму для повторного использования. Тома это устроило. И он сказал:

– Теперь надо придумать, как передать эти вещи Джиму.

– Так через лаз и передадим, – говорю я, – когда его выроем.

Он лишь посмотрел на меня с презрением, сказал, что о такой идиотской идее никто еще и слыхом не слыхивал, и снова в размышления погрузился. И в конце концов, сообщил, что измыслил два-три способа, но окончательного выбора пока что не сделал. Сказал, что должен сначала перемолвиться с Джимом.

Той ночью мы почти сразу после десяти часов спустились по громоотводу, прихватив с собой одну из свечей, постояли немного под окном Джима, вслушиваясь в его храп, и забросили свечу в окно – Джима это не разбудило. А после взяли сза кирку и лопату, и часа через два с половиной все было кончено. Мы проползли под кровать Джима, выбрались из-под нее, нашарили в темноте и зажгли свечу, постояли немного над Джимом – вид у него был упитанный, здоровый, – и неторопливо мягко растолкали его. Он до того нам обрадовался, что чуть не заплакал; и называл нас голубчиками и всеми ласковыми именами какие смог придумать; а послестал просить, чтобы мы нашли где-нибудь долото, – он бы им мигом цепь перерубили смылся отсюда, не тратя зря времени. Однако Том объяснил, что это будет совсем не по правилам, присел на кровать и рассказал ему обо всех наших планах о том, что мы можем изменить их в любую минуту, если возникнет какая опасность, и заверил Джима, что бояться ему нечего, потому что вытащим мы его отсюда *беспрерывно*. Ну, Джим и ответил, что на все согласен, и мы посидели немного, поговорили о прежних временах, а после Том стал задавать ему всякие вопросы, и Джим рассказал, что дядя Сайлас приходит к нему каждые два дня, чтобы помолиться с ним вместе, и тетя Салли тоже заглядывает, проверяет, удобно ли ему и хватает ли еды, такие вот они хорошие люди, а Том, выслушав его, говорит:

– Ладно, теперь я знаю, как все устроить. Мы тебе будем кое-какие вещи с ними передавать.

Я говорю:

– Ну уж нет! Глупее ты ничего придумать не мог?

Однако Том на мои слова никакого внимания не обратил и продолжал свое гнуть. Он, если чего надумал, так сделает обязательно.

И сказал Джиму, что пирог с веревочной лестницей и всякие штуковины покрупнее мы будем доставлять через Ната, негра, который его кормит, так что он, Джим, должен быть всегда начеку, ничему не удивляться и не позволять Натам их увидеть; а вещички помельче станем совать в карманы дядюшкиного сюртука и Джиму придется выкрадывать их оттуда, а еще мы будем привязывать их к тесемкам передника тети Салли или класть, если получится, в его карман, и объяснил, что это будут за вещички и для чего они нужны. И как писать своей кровью дневник на рубашке, объяснил и прочее. В общем, все до тонкостей. Джим, ясное дело, большей части услышанного не понял, однако сказал, что мы – люди белые и лучшего во всем разбираемся, значит, так тому и быть, и пообещал делать все, что велит Том.

Кукурузных трубок у Джима было навалом и табаку хватало, так что мы приятно провели время, поболтали, а после вылезли через подкоп и отправились спать, вот только ладони наши выглядели так, точно их кто-то долго жевал. Настроение у Тома было приподнятое. Он сказал, что никогда еще не проводил время так весело и интеллектуально, что хорошо было бы придумать, как растянуть это веселье до конца наших дней, а после завещать Джима нашим детям, потому что он же будет понемногу привыкать к этой игре, и она ему все больше понравится станет. А еще сказал, что тогда мы могли бы ее лет восемьдесят продолжать и это стало бы лучшим в истории результатом. И все мы прославились бы, как ее участники.

Утром мы пошли к поленнице и изрубили подсвечник на кусочкиудобных размеров, Том уложил их вместе с оловянной ложкой себе в карман. От поленницымы направились к негритянским хижинам и, пока я заговаривал Нату зубы, Томсунул один кусочек в середку кукурузной лепешки, которая лежала в Джимовоймиске, а потом мы пошли с Натом – посмотреть, как сработает наша идея. Сработалаона роскошно: Джим впился в лепешку зубами и чуть все их не переломал – чего ужлучше. Том и сам так потом говорил. Джим повел себя молодцом, сказал, что этопросто камушек, они же, сами понимаете, вечно в хлебе попадаются, но после этогоуже ни в какую еду не впивался, не потыкав ее сначала вилкой в трех-четырёхместах.

Ну и вот, стоим мы там в полумраке, как вдруг из-под кроватиДжима выскакивает пара собак, а за ними еще, и еще – одиннадцать штук в хибаркунабилось, даже дышать стало нечем. Господи, мы ж забыли дверь пристройки закрыть!Нат как завопит: «Ведьмы!» и повалился на пол – катается среди собак, и стонеттак, точно смерть его пришла. Том распахнул дверь и выкинул в нее кусокпринесенного Джиму мяса, и собаки помчались за ним, а Том выскочил следом, ичерез пару секунд вернулся, и дверь захлопнул – это он, я так понял, пристройкузакрыл. А после взялся за Ната – утешал его, успокаивал, спрашивал, непричудилось ли ему опять чего-нибудь. Нат сел на полу, проморгался и говорит:

– Марса Сид, вы, небось, скажете, что я дурак, но я, ей-ей,видел целый мильён собак, не то бесов, не то не знаю кого. Вот чтоб мнепомереть на этом месте, если не видел! Святым Богом клянусь! И я их *чувствовал* ,марса Сид, *чувствовал* , сэр; они так по мне и сигналы. Эх, попались бы они мне в руки еще разок, только разок, я большего не прошу. А еще пуще хочу, чтобыони от меня насовсем отвязались.

Том говорит:

– Ладно, я скажу тебе, что думаю об этом. Почему они примчалисьсюда ровно в то время, когда этот беглый негр завтракает? Да потому, что они голодные,вот и вся причина. Тебе надо ведьмин пирог им испечь, они и успокоятся.

– Да Бог ты мой, марса Сид, как же я его испеку, пирог-товедьмин? Я о нем и не слышал ни разу.

– Ну что же, в таком случае придется мне самому его печь.

– Испеките, миленький, а? – испеките! Я тогда землю будуцеловать, по которой вы ходите, вот вам крест!

– Хорошо, испеку, для тебя не жалко – ты обходился с нами подоброму, беглого негра показывал. Но только будь осторожен. Когда мы пирог печьначнем, ты лучше к нам спиной повернись, тебе никак нельзя видеть, что мы всковороду кладем. И когда Джим его из сковороды будет вытряхивать, ты тоже несмотри – мало ли что может случиться, заранее же не скажешь. А самое главное, *небери в руки* того, что ведьмам принадлежит.

– *В руки* , марса Сид? Что вы такое говорите? Да я к нему и за сто тысяч билльярдов долларов даже пальцем не притронусь.

Глава XXXVII. Джимполучает ведьмин пирог

Ну что же, дело сделано. Покинув хибарку, мы пошли на заднийдвор, к куче мусора – старые башмаки, тряпье, разбитые бутылки, пришедшие внегодность кастрюльки и сковороды и прочая рухлядь – порылись в ней и разжилисьстарым жестяным тазом, и заделали, как могли, его дырки, чтобы можно было испечьв нем пирог, спустились с ним в подвал, доверху наполнили тазик мукой иотправились завтракать, а дорогой подобрали два кровельных гвоздя, – нужнейшая,по словам Тома, вещь для узника, которому требуется выцарапывать на стенекамеры и свое имя, и повесть о своих печалях, и опустили один из них в карманвисевшего на спинке стула передника тети Салли, а другой засунули за ленту нашляпе дяди Сайласа, которая на бюро лежала (потому что услышали от детей, чтоих папа и мама собираются навестить этим утром беглого негра), а уже в проходе,где мы обычно завтракали, Том украдкой сунул оловянную ложку в карман сюртукадяди Сайласа, и все мы стали ждать тетю Салли, которая почему-то запаздывала.

Пришла она раскрасневшейся, сердитой и вспыльчивой, еле-еле дождалась конца молитвы и принялась одной рукой кофе разливать, а другой тюкать наперстком по затылкам подворачивавшихся ей детей, говоря:

– Ну все уже перерыла, а второй твоей рубашки так и не нашла, и куда она могла подеваться, ума не приложу!

Сердце мое так и упало, пробив легкие, печенки и прочее, кусок жесткой кукурузной лепешки застрял у меня в горле, я закашлялся, и он вылетел и, пронесшись над столом, угодил в глаз одному из детей, и беднягавзвыл, точно индеец перед боем, и скрючился, как червяк на крючке, а Том побледнел аж до синевы, в общем, с четверть минуты, если не дольше, состояния наше было самое аховое, я бы свое за бесценок продал, да покупателя не нашлось, но потом мы опомнились, – просто нас эти слова врасплох взяли. А дядя Сайлас и говорит:

– Удивительнейшая история, ничего не понимаю. Я очень хорошо помню, что не надевал ее, потом что...

– Потому что на тебе *другая* надета была. Сам непонимаешь, что говоришь! Я знаю, что ты ее не надевал, да еще и лучше тебя знаю, дырявая твоя голова, – она вчера на бельевой веревке висела, я своими глазами видела. А теперь ее нет, вот и весь сказ, и тебе придется в красной фланелевой ходить, пока я не найду время, чтобы сшить для тебя новую. Третью рубашку задва года! Как будто мне делать больше нечего, как только рубашки тебе шить, – и что ты с ними делаешь, ума не приложу. Мог бы уже научиться беречь их, в твои-то годы.

– Ты права, Салли, права, но ведь я стараюсь, как умею. Однако с этой-то я ни в чем уж не виноват, ты же знаешь, я к рубашкам и непристраиваюсь никогда, не считая той, что на мне надета, а *с себя* я помнится, ни одной еще не терял.

– Нашел, чем хвастаться, тоже мне, заслуга, – ты бы и с себя потерял, кабы смог, нисколько в этом не сомневаюсь. И если бы у нас только рубашка пропала, так ведь нет – еще и ложка, и не только она. Было десять, стало девять. Ну ладно, рубашку мог теленок сжевать, но ложку-то он есть не стал бы. Это уж наверняка.

– А что у нас еще пропало, Салли?

– *Шесть* свечей – вот что. Их могли, конечно, и крысы утащить, да так оно, думаю, и было, удивительно еще, что они по всему дому не шастают, ты ведь только обещаешь их норки запечатать, да ничего не делаешь, и не будь крысы такими дурами, они бы на голове твоей ночевали, Сайлас, а *ты* и незаметил бы, и все-таки *ложку* крысы утащить ну никак не могли, это я точно знаю.

– Да, Салли, это моя вина, признаю, мое упущение, но я их норы еще до завтра заделаю.

– Ой, ну зачем же так спешить, я и до следующего года подождать могу. Матильда Ангелина Араминта *Фелс* !

И как даст ей по голове наперстком, и девочка мигом выдернула из сахарницы руку. Тут в проходе появляется негрятка и говорит:

– Миссус, у нас простыня запропала.

– *Простыня* ? О Господи Боже ты мой!

– Я их норы прямо сегодня заделаю, – говорит, совсем опечалившись, дядя Сайлас.

– Да замолчи ты! По-твоему, крысы, что ли, ее утащили? Куда она подевалась, Лизи?

– Вот как на духу, миссус Салли, не знаю. Вчера на веревке висела, а теперь не висит, нету ее.

– Сдается мне, судный день наступает. Сколько живу на свете, *никогда* такого не видела. Рубашка, простыня, ложка, шесть све...

– Миссус, – это девочка-мулатка из дома вышла, – у нас куда-то медный подсвечник подевался.

– Убирайся отсюда, наглая тварь, пока я тебя сковородой непришибла!

Знаете, она уже просто сама не своя была. Я начал прикидывать, как бы мне улизнуть из дому – по лесу погулять, покуда не уляжется буря. Тетя Салли продолжала рвать, метать и руками размахивать, все остальные сидели тихие, присмирившие, и тут дядя Сайлас вытянул из кармана ложку и вид у него стал – глупее некуда. Тетя Салли замерла с открытым ртом и

поднятыми надголовной руками, а мне страх как захотелось поскорее оказаться в Иерусалиме илиеще где-нибудь. Помолчала она немного и говорит:

– Ну, *ничегошеньки* другого я и не ожидала. Значит, она все это время у тебя в кармане лежала, да почти наверняка и все остальное тоже там. Как она туда попала?

– Честное слово, Салли, не знаю, – говорит он, вроде как оправдаться пытаюсь, – знал бы так непременно сказал. Я перед завтраком семнадцатую главу «Деяний» читал, тогда, наверное, и положил ее в карман, самне заметив, – вместо Евангелий, пожалуй что так, потому что Евангелий же в кармане нет – вот я сейчас схожу, посмотрю, если Евангелия там, где я их читал, значит, в карман я их не укладывал, и тогда получается, что я их в сторону уложил, а сам взял ложку и...

– О Господи! Да будет мне в этом доме покой или не будет?! Убирайтесь отсюда прочь, вся ваша шайка – и близко ко мне не подходите, пока яв себя не приду!

Я бы услышал ее, если б она себе под нос бормотала, а не кричала во всю мочь, – и исполнил бы этот приказ, даже будь я покойником. Когда мы проходили через гостиную, дядя Сайлас взял свою шляпу и гвоздь полетел на пол, но старик просто поднял его и положил, не сказав ни слова, на каминную полку, и вышел. Том, увидев это и вспомнив, я так понимаю, про ложку, сказал:

– Нет, с *ним* мы ничего пересылать не будем, он ненадежен.

А потом говорит:

– Хотя с ложкой он нам хорошую службу сослужил, сам того не желая, а потому давай и мы ему сослужим, – но только без его ведома – заделаем крысиные норы.

Нор этих в подвале оказалась уйма, мы с ними битый час провозились, но запечатали их на совесть. А после слышим: шаги на лестнице. Мы задули свечи и спрятались. И смотрим: идет старик – в одной руке свеча, подмышкой другой тряпье всякое, а вид у него такой отсутствующий, точно он и не старик никакой, а позапрошлый год. Побродил он по подвалу, точно во сне, одну норку осмотрел, другую – в общем, все обошел. Потом постоял минут пять, свечное сало ему на руку капает, а он и не замечает, потому как задумался крепко. Но, наконец, медленно повернулся и так же сонно побрел к лестнице, говоря:

– Ну хоть убейте меня, не помню, когда я их заделал. Ладно, пойду, скажу ей, что с крысами я не виноват. Хотя нет, не стоит, она все равно успокоится.

И поднялся, продолжая бормотать что-то, по лестнице. Замечательный был старикан. Да он и сейчас такой.

А Тому все ложка покоя не давала, он сказал, что надо нам как-то завладеть ею, и задумался. И, придумав, объяснил мне, как мы это сделаем, и мы пошли на кухню, подождали около корзиночки с ложками, а, когда услышали шагитети Салли, Том принялся пересчитывать их, укладывая рядком, а я одну в рукав спрятал. Том и говорит ей:

– Тетя Салли, а ложек-то все-таки девять.

Она отвечает:

– Иди поиграй, не приставай ко мне. Я лучше тебя знаю, сама их пересчитала.

– Да и мы пересчитали, тетенька, целых два раза – девять и все тут.

Видно было, что она еле сдерживается, но ложки считать, темне менее, начала – да и кто бы не начал?

– Ну это ж надо! Господи прости, опять девять! Чума на них, чтоли, напала, на эти ложки? Погодите, я их еще раз сочту.

Я подкинул в общую кучку ту, что в рукаве держал, и тетя Салли снова пересчитала ложки и говорит:

– Чтоб они пропали, проклятые, опять их *десять*! – илицо у нее становится обиженное и озадаченное. А Том говорит:

– Нет, тетенька, быть того не может.

– Ты что, олух, не видел, как я их *считала*?

– Видел, и все-таки...

– Ладно, пересчитаю *опять*.

Я, разумеется, снова одну стянул и получилось их девять, как в первый раз. Ну, ее чуть удар не хватил – аж затрясло всю. Однако она продолжила и продолжала пересчитывать ложки и до того запуталась, что иногда икорзинку за ложку считала и получилось у нее три раза правильно, а тринеправильно. Кончилось тем, что схватила она эту корзинку и запустила ее через всю комнату, и корзинка из кошки дух вышибла, а тетя Салли велела нам убираться и оставить ее в покое, и если, говорит, вы мне до обеда хоть раз на глаза попадетесь, я с вас шкуру заживо спущу. В общем, ложкой мы завладели и, покатав тетя Салли шумела, прогоняя нас, мы сунули эту ложку в карман ее передника и вместе с кровельным гвоздем еще до полудня оказалась у Джима. Мы своим достижением очень были довольны – Том сказал, что оно более чем стоило затраченных нами усилий, потому как *теперь* тетя Салли даже под страхом смерти сможет два раза подряд получить правильный результат, а и получит, так сама себе не поверит, и сказал, что она, пожалуй, дня три еще ложки пересчитывать будет, пока не отступится и тогда уж убьет до смерти всякого, что сунется к ней с просьбой их посчитать.

Ночью мы вернули простыню на бельевую веревку и стянули другую – из тетиного комода; а после пару дней то возвращали ее, то снова крали, так что тетя Салли в конце запуталась и перестала понимать, сколько у нее простыней, и махнула на них рукой, не желая губить из-за какого-то тряпья свою бессмертную душу, и сказала, что лучше умрет, чем еще раз возьмется их пересчитывать.

Ладно, с рубашкой, простыней, ложкой и свечами все уладилось – большое спасибо теленку, крысам и путанице с пересчетом, – а про подсвечники все как-то быстро забыли.

Но вот с пирогом мы намучались и поначалу мороке этой конца видно не было. Выбрали мы в самой глубине леса место для готовки и, в конце концов, пирог испекся вполне приличный, но не сразу, не в первый же день – триста муки мы на него потратили, а сами покрылись ожогами и глаза наши от дыма лоб повывлазили; понимаете, нам ведь нужна была только корка, а она у нас получалась какая-то непрочная и все проседала посерединке. Но потом мы, конечно, набрали на правильную мысль: сразу запечь в пирог лестницу. Отправились на торую ночь к Джиму, разобрали простыню на узкие полоски, свили их, связали, и еще до рассвета получилась у нас превосходная лестница – крепкая, хоть человек на ней вешай. И мы решили притвориться – перед собой, – что потратили на нее девять месяцев.

Утром мы отнесли лестницу в лес и тут выяснилось, что ни в какой пирог она не влезает. Мы ведь ее из целой простыни сделали, так что лестницы нашей хватило бы на сорок пирогов, да еще осталось бы на суп, колбасную начинку и на что угодно. Хоть на целый обед.

Но нам же не обед требовался. Нам требовался всего-навсего пирог, поэтому мы отрезали от лестницы кусочек, а все остальное выбросили. Печь пироги в тазу мы все-таки не решились, боялись, что он прогорит; однако у дяди имелась превосходная медная грелка из тех, которые углями на ночь наполняют, она очень дорожил, потому что грелка эта вместе с ее длинной деревянной ручкой принадлежала одному его предку, приплывшему сюда из Англии на «Мэйфлауэре» или другом каком корабле с Вильгельмом Завоевателем; старик хранил ее на чердаке среди старых котлов и прочих ценных вещей – ценных не потому, что они обладали какой-нибудь ценностью, что нет, то нет, но потому, что были реликвиями, понимаете? Ну вот, мы тихом уволокли ее в лес и в ней-то наши пироги и пекли – первые у нас не получились, опыта не хватало, зато последний удался на славу. Мы обмазали грелку тестом, изнутри, поставили на угли, положили внутрь лестницу и ее тоже тестом обмазали, накрыли крышкой, а сверху еще горячих углей навалили и отошли футов на пять – на всю длину ручки, – постояли в прохладе и покое, и через пятнадцать минут испекся у нас пирог, на который приятно было смотреть. Другое дело, что тому, кто его съесть захотел бы, неплохо было запастись парой бочек зубочистками, потому как, жевал бы он нашу веревочную лестницу, пока его судороги не скрутили бы, уж я-то знаю о чем говорю, да и животом он потом маялся бы очень долго, не скоро бы его снова за стол потянуло.

Когда мы укладывали в кастрюлю Джима, Нат в нашу сторону не смотрел, так что мы под пирог еще и три жестяных тарелки пристроили; теперь у Джима имелось все, что нужно, и он, едва Нат ушел из хибарки, разломал пирог, засунул лестницу под

свой соломенный тюфяк, нацарапал на тарелке парусагогулин и выбросил ее в окно.

Глава XXXVIII. «Здесьлопнуло сердце невольника»

Да, а вот перья изготовлять и пилу тоже – это оказалось тойеще работенкой, – впрочем, Джим сказал, что труднее всего ему будет на стенкеписать. Узник же должен надпись на стенке оставить. Но Том ему твердо заявил: *надо* и все тут; не было еще в истории случая, чтобы государственный преступник неоставил на стенке горестной надписи и щита своего, герба то есть, не изобразил.

– Возьмите хоть леди Джейн Грей, – говорит, – или ГилфордаДадли, или старика Нортумберленда! Оно, конечно, Гек, работа это тяжелая, ну дачто ж тут поделаешь? От нее не отвертишься. Джим просто обязан и надписьоставить, и щит начертать. Все так делают.

Джим и говорит:

– Так ведь, марса Том, нет же у меня никакого щита. Мнекроме рубашки вот этой поношенной прикрыться совсем нечем, а на ней я должендневник вести.

– Ты не понял, Джим, я совсем о другом щите говорю.

– Ну, – возражаю я, – Джим, вообще-то, прав, нет у него нитого щита, ни этого.

– А то я без тебя этого не знаю, – отвечает Том. – Но неволнуйся, когда мы отсюда уйдем, щит, который герб, у него уже будет, потомучто все следует делать *по правилам*, чтобы в историю он у нас с тобойвошел, как безупречный образец для подражания.

И пока мы с Джимом точили перья об куски кирпича, – Джим с обрубкомподсвечника мучился, а я с оловянной ложкой, – Том придумывал этот самый герб.И наконец, сказал, что напридумывал их много и все хорошие, но сам оностановился бы на одном. И говорит:

– Значит так, на щитке герба будет у нас золотой пояс сбагровым крестом на перевязи, а под ним справа внизу собака лежащая отдыхающая под лапой ее цепь зубчатая – это рабство, а в верхней части – шеврон *зеленый* и тоже зубчатый и на *лазурном* поле три линии с полусферическими долькамина концах, а посередке полоса зазубренная с остриями вздыбленными; наверху – негрбегущий, *чернедью*, с узелком на плече, привязанным к перевязи вправо, ипарой красных столбцов, это, значит, его освободители, то есть мы с тобой; ну авнизу девиз: «*Maggiore fretta, minore otto*» – я его в книжкеодной вычитал, означает «Поспешай без торопливости».

– Девиз хороший, – говорю я. – А вот остальное-то все чего значит?

– Знаешь, – отвечает он, – об этом нам толковать некогда.Нам надо дело делать, да поскорее сматываться отсюда.

– Ладно, не все, так хоть что-то, – говорю. – Перевязь,например, это что такое?

– Перевязь, она перевязь и есть – тебе-то зачем это знать?Дойдет до нее черед, я покажу Джиму, как ее изобразить.

– Черт, Том, – говорю я, – тебе что, объяснить трудно? Аполоса зазубренная – это что?

– А этого я и сам не знаю. Но только без нее – никак. Она увсех дворян имеется.

Вот и всегда он так. Не захочет чего-нибудь объяснять, такнипочем не станет. Хоть неделю к нему приставай, ничего не добьешься.

Ладно, насчет герба дело было решено, и Том принялся запоследнюю часть работы – за сочинение скорбной надписи на стене, сказал, развсе их вырезали, значит и Джиму придется. Придумал он их не одну, записал всена бумажке и нам прочитал:

1. *Здесь лопнуло сердце невольника.*
2. *Здесь скончал свои скорбныедни несчастный узник, забытый миром и знакомыми.*
3. *Здесь разбилось сиротливоесердце и усталый дух познал покой после тридцати семи лет одиночногозаключения.*
4. *Здесь, бездомный и всеми покинутый, исчах после тридцатисеми лет горестного заточения благородный незнакомец, побочный сын Людовика XIV.*

Голос Тома, читавшего это, дрожал, он даже чуть нерасплакался. А закончив, никак не мог решить, какую из этих надписей Джимуследует нацарапать на стене, до того все они были

хорошие, но, в конце концов, надумал: пусть все нацарапает. Джим сказал, что у него целый год уйдет на то, чтобы вырезать столько всего гвоздем на бревнах, тем более, что он и писать не умеет, однако Том пообещал наметить ему буквы вчерне, так что Джиму останется их только прорезать. А спустя недолгое время говорит:

– Вообще-то, если рассудить здраво, бревна нам не годятся, – в подземных темницах бревенчатых стен не бывает, поэтому придется надписи в камне вырезать. Нужно раздобыть где-то камень.

Джим сказал, что камень еще и похуже будет, что он хоть столет будет эти надписи в камне вырезать, а до конца их все равно не доберется. Но Том ответил, что выдаст ему меня в помощники. Потом ему захотелось посмотреть, что у меня и Джима с перьями получается. А дело это было прескучнейшим, тяжелым, нудным, да к тому же у меня еще и ладони зажить не успели, поэтому особо далеко мы в нем не продвинулись, и Том говорит:

– Я знаю, как из этого положения выйти. Нам нужно вырезать герб и надписи, ну, так мы можем одним камнем двух птиц убить. Около лесопилки валяется здоровенный жернов – мы и перья об него заточим, и то, что нам требуется на нем вырежем.

Мысль показалась мне неплохой, плохо было другое – величина жернова, однако мы решили, что как-нибудь с ним да справимся. Времени до полуночи оставалось еще немало, и мы направились к лесопилке, оставив Джима трудиться в одиночестве. Подняли мы жернов, покатали его к дому и скоро поняли, что занятие себе нашли непосильное. Время от времени жернов, несмотря на все наши старания, заваливался и каждый раз норовил кого-нибудь из нас придавить. Том сказал, что рано или поздно ему это наверняка удастся. Прокатали мы его по дорожке, умаялись намертво и только что не утонули в поту. Видим – не одолеть нам весь путь и пошли Джима на помощь звать. Приподняли кровать, сняли с ножки цепь, обмотали ее вокруг шеи Джима, он пролез через подкоп, и мы вернулись к жернову и покатали его, точно он невесомый был, – вернее сказать, катили-то я и Джим, а Том руководил нашими действиями. Что он умел, так это руководить, тутему равных не было. Он всегда знал, что как делать полагается.

Лаз мы прорыли не маленький, однако жернов в него не прошел, – ну, Джим взялся за кирку и мигом расширил нашу дыру до нужных размеров. Том разметил жернов гвоздем, и велел Джиму приниматься за дело – гвоздь у него будет вместо резца, а железный болт, который мы в пристройке среди сора нашли, вместо молотка, а работать он может, пока свеча его не догорит, и после прятать жернов под соломенный тюфяк и ложиться на него спать. Мы помогли ему вернуть цепь ножки кровати и собрались сами спать идти. Однако Тому еще одна мысль в голову пришла, и он говорит:

– Слушай, Джим, а пауки у тебя здесь водятся?

– Нет, сэр, слава Богу, не водятся, марса Том.

– Ладно, мы тебе их раздобудем.

– Да Бог с вами, голубчик, не нужны мне пауки. Я их боюсь. По мне, они еще хуже, чем гремучие змеи.

Тут Том поразмыслил минуту-другую и говорит:

– А что, хорошая мысль. Сдается мне, это можно будет устроить. И даже *нужно* будет. Весьма разумно, весьма. Да, мысль превосходная. И где же ты ее держать собираешься?

– Кого держать, марса Том?

– Змею гремучую, кого же еще?

– Господь милосердный, животворящий, марса Том! Да если сюда гремучая змея приползет, так я вот эту вот стенку головой прошибу и наружу вылечу, ей-ей.

– Да ладно, Джим, ты к ней очень быстро привыкнешь и бояться перестанешь. Может даже, приручишь ее.

– Приручу ?!

– Ну да, чего проще? Любое животное испытывает благодарность за доброту и заботу, ему и *в голову* не приходит вредить человеку, который за ним ухаживает. Это ты в первой попавшейся книге можешь прочесть. Попробуй – я больше ни о чем не прошу, потрать на это

дня два-три. И скоро змеяполюбит тебя и просто жить без тебя не сможет – будет и спать с тобой, и позволитносить ее на шее, и головку ее себе в рот засовывать.

– Ой, не говорите так, марса Том, *пожалуйста*, ненадо! Сил моих нет это слышать! Головку она мне позволит в рот засовывать – вотуж удружит! Долго ей дожидаться придется, пока я попрошу ее о такой услуге! Даи спать я с ней тоже не хочу.

– Глупости ты говоришь, Джим. Заключение *обязан* держать у себя какую-нибудь бессловесную тварь, а гремучих змей никто ещедержать не пробовал, ты будешь первым, и лучшего способа прославиться тебе доскончания дней не отыскать.

– Да не хочу я такой славы, марса Том. Цапнет меня ваша змеяв подбородок – на том моя слава и кончится. Нет, сэр, со змеями водиться я несогласен.

– Черт побери, Джим, да ты хоть *попробуй*! Я только обэтом и прошу – а не понравится она тебе, так можешь ее выбросить.

– А если она меня укусит, пока я пробовать буду? Мне ж тогдакрышка придет. Я, марса Том, ради вас на любое дело готов, лишь бы оно разумноебыло, но если вы с Геком притащите сюда гремучую змею, чтобы я ее приручал, я всей же миг деру дам, ей-богу.

– Ну хорошо, хорошо, раз ты так уперся, обойдемся и без змеи.Давай мы тебе ужей наловим – привяжешь им к хвостам пуговицы и притворишься,что это гремучие змеи, – думаю, нам и такие сойдут.

– Ужи, марса Том, это еще куда ни шло, хотя я вам так скажу– мне и без них хорошо. Господи, я и не думал, что сидеть в тюрьме – такоехлопотное дело.

– Конечно, хлопотное, если его по правилам делать. Ты мневот что скажи: крысы у тебя тут имеются?

– Нет, сэр, ни одной не видал.

– Ну ничего, крыс мы тебе тоже наловим.

– Ох, марса Том, не *хочу* я крыс. Самые же поганые твари на свете, от них человеку ни минуты покоя не бывает, – они и бегают понему все время, и за пятки его кусают, когда он заснуть пытается. Нет, сэр,принесите мне ужей, раз уж без этого никуда, а крыс не надо, как-нибудь и безних проживу.

– Ну нет, Джим, крысы у тебя быть *должны* – их вседержат. Не упрямясь. Где это видано – заключенный без крыс? Так не бывает. Узникиих и муштруют, и ухаживают за ними, и фокусам всяким учат, и становятся они компанейскими,что твои мухи. Только их нужно музыкой развлекать. У тебя есть на чем играть?

– Да нет, разве вот гребешок с клочком бумаги, ну и ещегубная гармошка, но крысам, небось, такая музыка не по вкусу придется.

– Еще как по вкусу. Им вообще все едино, какую музыку слушать.Губная гармошка – это для крысы самый подходящий инструмент. Животные же всемузыку любят, а тюремные по ней и вовсе с ума сходят. Особенно по жалобной, аиз губной гармошки другой и не выжмешь. Они как услышат такую, им сразу интереснстановится – лезут отовсюду, посмотреть, что с тобой стряслось. Да, с этим унас все хорошо, музыкальными инструментами ты обеспечен. Значит, тебе нужнобудет просто садиться на кровать перед тем, как спать лечь, ну и рано поутрутоже, и играть на губной гармошке; ты им «Разорвалась былая связь» играй, нанее крысы быстрее всего сбегаются – две минуты поиграешь, и они – крысы, змеи,пауки – забеспокоятся о тебе и полезут из всех щелей. И начнут ползать по тебе,и скакать, в общем, веселиться от души.

– Ну да, им-то весело будет, не сомневаюсь, а *Джиму* каково? Вот чтоб мне пропасть, марса Том, если я хоть какой-нибудь смысл в этомвижу. Но, раз нельзя без этого, сделаю. Да оно и лучше, когда животные всемдовольны, от этого в доме спокойнее.

Том посидел немного, подумал – не забыл ли чего, а потом иговорит:

– О, хорошо, что вспомнил. Как по-твоему, сможешь ты здесьцветочек вырастить?

– Не знаю, марса Том, может и смогу, правда, темно тут доужаса. Да и на что он мне, цветочек-то? За ним же ухаживать все время придется.

– Ты все-таки постарайся, Джим. У некоторых узников этополучалось.

– Пожалуй, коровяк какой-нибудь или рогоз тут и прижился бы,марса Том, но они ж и

половины трудов, какие на них пойдут, не стоят.

– Стоят-стоят. Мы принесем тебе росточек, посадишь его вуглу, вон в том, и станешь выращивать. И не называй его «коровяком», в тюрьме положено говорить «пиччиола», это «цветочек» по-итальянски. Да, а поливать ты его будешь слезами.

– Так у меня же здесь колодезной воды полно, марса Том.

– Колодезная тебе ни к чему, слезами поливать будешь. Так принято.

– Но ведь, марса Том, за то время, что я один корвяк на слезах выращу, у меня бы на колодезной воде два вымахали.

– Не пойдет. Ты *должен* поливать его слезами.

– Он же у меня засохнет, марса Том, как пить дать. Я ведь ине плачу почти.

Это поставило Тома в тупик. Однако он подумал-подумал искажал Джиму, что если расплакаться ему не удастся, то можно будет прибегнуть к помощи луковицы. Сказал, что пойдет утром к неграм и украдкой опустит луковицу в кофейник Джима. А Джим сказал, что «уж лучше тогда в кофе табаку насыпать». И принялся жаловаться, что больно много на него всего навалили – и корвяк расти, и крысамна губной гармошке играть, и к змеям с пауками подлизывайся, и все это помимоперьев, надписей, дневника и всего прочего, и сказал, что уж слишком много узаклоченного хлопот, забот и обязанностей, он, дескать, и не думал никогда, что тюремная жизнь так трудна, но тут терпение Тома лопнуло, и он заявил, что ни один узник в мире не получал еще такие же великие шансы прославиться, как и достались Джиму, и если он этого не ценит, то получается, что все они пропадают зря. Ну, Джиму стыдно стало, он пообещал, что больше так говорить не будет, имы с Томом отправились спать.

Глава XXXIX. Том пишет ненаданные письма

Утром мы побывали в городке и купили проволочную крысоловку, спустились с ней в подвал, распечатали самую лучшую крысиную нору, и примерно через час у нас уже было пятнадцать отборных крыс, и мы вылезли из подвала, испрятали крысоловку с ними в надежном месте – под кроватью тети Салли. Однако, когда мы отправились ловить пауков, маленький Томас Франклин Бенджамин Джефферсон Александер Фелпс нашел ее и открыл, желая посмотреть, не выйдут ли крысы наружу – они и вышли, а тетя Салли как раз вошла в комнату и при нашем возвращении все еще стояла на кровати и вопила благим матом, а крысы из сил выбивались, стараясь, чтобы ей скучно не было. Ну, отхлестала она нас с Томом ореховым прутом, а после нам пришлось еще часа два потратить, – дернуло же этого щенка лезть, куда не просят, – чтобы наловить пятнадцать, не то шестнадцатых крыс, однако эти оказались поуже первых, те-то отборные были, цвет крысиной нации, я таких красавиц и не видал никогда.

Короче говоря, в скором времени мы обзавелись отменным запасом пауков, жуков, лягушек, гусениц и прочего, что под руку подвернулось; хотели еще осиное гнездо прихватить, да не получилось, потому как все осиное семейство засело в доме. Мы, конечно, не сразу отказались от этой идеи, проторчали около гнезда, сколько терпения хватило, думали – посмотрим кто кого измором возьмет. Осы нас взяли. Нашли мы в лесу девясил, натерли им покусанные места и, в общем, стали почти как новенькие, только на стульях сидеть нам не очень удобно было. Потом мы отловили пару десятков ужей и домовых змей, уложили их в мешок, и отнесли в нашу комнату, и тут нас ужинать позвали. Потрудились мы в этот день на славу: и проголодались? – ну что вы, что вы! Вот только, когда мы вернулись к себе, то ни одной растреклятой змеи не увидели – мешок-то мы завязать забыли, ну они и выбрались из него и уползли. Но, правда, недалеко, сразу покидать не стали. И мы решили, что некоторые из них все равно нам достанутся. В доме еще долгое время никакого недостатка в змеях не ощущалось. Они встречались в самых разных местах, а некоторые очень любили свисать со стропил: повисит такая, повисит, а после сорвется и вниз упадет – как правило, тебе в тарелку или на шею, и все больше, когда ты в ней несколько не нуждаешься. Вообще-то, они были красивые, особенно те, что в полосочку, вреданикому не желали, однако тетя Салли этого как-то не замечала, у нее от любой змеи с души воротило и ничего тут поделать было

нельзя; всякий раз, как на нее падала змея, она – чем бы в этот миг ни занималась – бросала работу и шепетом вылетала из комнаты. Отродясь такой женщины не встречал. А уж вопила при этом так, что в Иерихоне слышно было. Вы бы ее и щипцами к змее притронуться не заставили. А если она среди ночи находила змею в своей постели, то выскакивала из нее и шум поднимала такой, точно в доме пожар приключился. Старика она этим совсем извела, он даже стал поговаривать, что лучше бы Господу было и вовсе никаких змей не сотворять. Мало того, тетя Салли не успокоилась даже через неделю после того, как из дому последняя змея уползла, – то есть несколько, если она задумывалась о чем-то, а вы подбирались к ней сзади и касались ее шейным перышком, так она просто-напросто из чулок выскакивала. Очень странно себя вела. Правда, Том говорил, что женщины, они все такие. Так, говорил, они устроены, а почему – неизвестно.

Всякий раз, как ей змея подворачивалась, мы получали порцию орехового прута, и всякий раз тетя Салли говорила, что эта порка – ничто в сравнении с той, какая достанется нам, если мы снова в дом змей напустим. Я против этих ее пороков ничего не имел, пустяковые были пороки, меня больше волновали труды, которые нам придется потратить, чтобы новых змей наловить. Однако мы их наловили и других всяких тварей тоже – и видели бы вы, какое веселье начиналось в хибарке Джима, когда все они сползались, чтобы музыку послушать, и лезли на него. Пауков Джим не любил и пауки его тоже – они на него засады устраивали, а после задавали ему жару. А еще он говорил, что из-за крыс, змей и жернова для него в постели и места уже не осталось, почти, а когда все же находилось немножко, то он все равно заснуть не мог, такая в ней бурная жизнь кипела, – по словам Джима, они ни по чем в одно время спать не ложились, и если змеи отдыхали, то крысы вахту несли, а когда засыпали крысы, дежурство заступали змеи, поэтому то одна из ихних команд под ним шебуршилась, то другая скакала по нему на манер цирковых акробатов, а стоило ему подняться, чтобы в другом месте прилечь, как на него пауки набрасывались. Джим говорил, что если он выберется на свободу, то больше ни за какое жалованье в узники не пойдет.

Ну вот, к концу третьей недели все у нас было готово. Рубашку мы давно уже доставили Джиму еще в одном пироге и всякий раз, как его крысакусала, он вылезал из постели и записывал что-нибудь в дневник – пока чернила не подсохли; перья были готовы, жернов покрылся надписями и всем прочим; ножку кровати мы перепилили, а опилки проглотили, и животы у нас у всех болели после этого жутко. Мы думали, что порем, но ничего, оклемались. Опилки оказались самым несъедобным из всего, что я когда-нибудь пробовал – и Том, он тоже самое говорил. В общем, как я уже сказал, все, что требовалось, мы, наконец, сделали и устали до смерти, особенно Джим. Старик пару раз писал на счет беглого неграна плантацию под Орлеаном, но ответа не получил, потому что не было же там такой плантации, и он надумал дать о Джиме объявления в газеты Сент-Луиса и Нового Орлеана и, когда он упомянул о Сент-Луисе, меня просто холодная дрожь пробрала – я понял, что времени у нас почти не осталось. А Том сказал, что настала пора заняться ненаданными письмами.

– А что это такое? – спрашиваю я.

– Письма, которые пишут, чтобы предупредить людей – дескать, ждите беды. Иногда для этого письма шлют, иногда поступают иначе. За узником ведь непременно кто-нибудь да следит и доносит на него коменданту замка. Вот, когда Людовик Шестнадцатый хотел улепетнуть из своего Трюфельи, так на него горничная донесла. Это хороший способ, хотя и ненаданные письма ничем не хуже. Мы используем и то, и другое. А еще, очень часто делают так: мать узника меняется с ним одеждой и остается в тюрьме, а он деру дает. И мы так же поступим.

– Но погоди, Том, зачем нам *предупредить* кого-то об беде? Пусть сами все выясняют – это же их дело.

– Да знаю я, но разве на них положиться можно? Они же с самого начала все на нас свалили. Они такие доверчивые и бестолковые, что изаметить ничего не способны. Так что, если мы их не предупредим, никто нам мешать не станет и после всех наших трудов и усилий побег пройдет без сучка, без задоринки – ерунда какая-то получится, никому не интересная.

– Ну, что до меня, Том, я бы против этого не возражал.
– Вздор! – возмущенно выпалил он. А я говорю:
– Так ведь я чего, Том? – я ничего. Что тебе годится, то мне подойдет. Ты лучше скажи, где мы горничную возьмем?

– Вот ты горничной и будешь. Ночью прокрадешься к неграм и уворуешь платье девочки-мулатки.

– погоди, Том, но ведь тогда утром такой шум поднимется. У нее же наверняка только одно платье и есть.

– Знаю, но тебе оно понадобится всего минут на пятнадцать, – чтобы донести ненадпись до передней двери и подсунуть под нее.

– А, ну ладно, хотя я с этим и в обычной моей одежде управился бы.

– Так ведь ты тогда на горничную нисколько похож не был бы, верно?

– Верно, но смотреть-то, на кого я похож, все равно некому будет.

– А вот это совершенно не важно. Для нас важно только одно – исполнение нашего долга, а *смотрит* на нас кто или нет, никакого значения не имеет. У тебя вообще хоть какие-нибудь принципы имеются?

– Хорошо-хорошо, молчу. Буду горничной. А матерью Джима кто будет?

– Матерью буду я. Украду ради этого платье у тети Салли.

– Постой, но тогда тебе придется остаться в хибарке послетого, как мы с Джимом удерем.

– Не надолго. Набью одежду Джима соломой, уложу на кровать, вот и получится его переодетая мать, а платье сниму и Джиму отдам и мы все вместе, ускользнем от злосчастной судьбы. Когда из тюрьмы бежит прославленный узник, король, к примеру, про него обязательно говорят: ускользнул от злосчастной судьбы. И про королевского сына тоже так говорят, – все равно, внебрачный он или бракованный.

Ну вот, Том написал ненадпись, я спер ночью платье мулатки, надел его и подсунул письмо под переднюю дверь, как и велел мне Том. Письмо было такое:

Берегитесь. Вас ждет беда. Будьте бдительны.

Неведомый друг

На следующую ночь мы прилепили к передней двери картинку: череп и скрещенные кости – Том ее кровью нарисовал, а еще на следующую – другую, с изображением гроба, но уже к задней двери. Перепугались все чуть не до смерти. Если бы по всему дому привидения скакали, да под кроватями прятались, да подрагивали в воздухе, и то хуже не было бы. Когда вдруг хлопала какая-нибудь дверь, тетя Салли подскакивала на месте и вскрикивала «ой!»; если что-нибудь на пол падало, – подскакивала и вскрикивала «ой!»; если до нее не дотрагивались, когда она того не ждала, – то же самое; бедняга уж и в одну сторону подолгу смотреть не могла, потому как ей казалось, что к ней кто-то сзади подбирается, и она резко поворачивалась, вскрикивая «ой!», и не успев до конца обернуться, как уже поворачивается обратно и снова вскрикивает. Она и в постель на ночь ложиться боялась, и на ногах оставаться тоже. В общем, оказали наши письма потребное воздействие, это Том так сказал и добавил, что более потребного ему пока видеть не доводилось. По его словам, это означало, что мы все сделали правильно.

А теперь, говорит, наступило время основного удара! Наследующее утро мы сочинили при первом свете зари еще одно письмо, но не знали, как с ним поступить, потому что за ужином решено было поставить на ночь двух негров, чтобы они сторожили и переднюю дверь, и заднюю. Том спустился погромоотводу, разведку произвести и, обнаружив негра, который заднюю дверь охранял, спящим, заснул ему письмо за шиворот и вернулся назад. В письме говорилось вот что:

Не выдавайте меня, я хочу быть вашим другом. Сюда проникла Индейской территории банда кровожадных головорезов, которые собираются украсть нынче ночью вашего негра; это они старались запугать вас, чтобы высидели дома и не мешали им. Я сам состою в этой шайке, но недавно поверил в Бога и решил порвать с ней и вернуться к праведной жизни, потому и открываю вам их адский замысел. Сегодня, ровно в полночь, они подкрадутся к вам вдоль

заборас северной стороны, откроют поддельным ключом хижину и заберут негра. Я должен буду держаться в стороне и задудеть, если замечу какую опасность, в жестяной рожок, но только дудеть я на стану, а, как только они войдут в хижину, замемекаю по-овечьи; и пока они будут расковырять негра, вы сможете подкрасться и запереть дверь, а после поубивать их всех, когда у вас найдется свободное время. Ничего не предпринимайте, сделайте, как я говорю, потому что, если вы предпримите, они что-нибудь заподозрят и поднимут шум, гам и бедлам. Награды я никакой не хочу, ею послужит мне мысль о моем добродетельном поступке.

Неведомый друг.

Глава XL. Как едва несорвалось чудесное спасение

Настроение у нас после завтрака было самое отменное – мы пошли к берегу, подняли со дна мой челнок, выплыли на реку, порыбачить, съеливзятую с собой еду, вообще время провели превосходно, да заодно и плотпроведали, с ним ничего плохого не случилось. А вернувшись домой и запоздав кужину, застали всех в страшном беспокойстве и суматохе, – все у них валилось изрук, а нас они сразу после ужина отправили спать, не сказав, в чем причина тревоги, и о новом письме тоже ни слова не сказали, да мы в этом и ненуждались, потому что и так знали о нем, и побольше ихнего, и как только мы поднялись до середины лестницы, а тетя Салли повернулась к нам спиной, мы проскользнули в подвал, набрали там в буфете всякой еды – на добрый обед хватило бы, – отнесли ее в нашу комнату и забрались в постель, а в половине двенадцатого встали, и Том влез в украденное им платье тети Салли и принялся собирать провизию, чтобы ее вниз отнести, но вдруг говорит:

– А масло-то где?

– Я его на кусок кукурузной лепешки положил, – говорю, – большой такой шматок.

– Ну, значит, там и оставил, – здесь его нет.

– Да ладно, и без него обойдемся, – говорю я.

– *С ним* мы обойдемся гораздо лучше, – отвечает он. – Давай-ка, сбегай в подвал и принеси сюда масло. А после спустишься погромоотводу и нагонишь меня. Я пока пойду, набью соломой одежду Джима, чтобы у нас было чучело его переодетой матери. Да, и приготовься помемекачь по-овечьи, – как помемекаешь, так мы сразу все и смоемся.

Он вылез в окно, а я спустился в подвал. Шмат масла, большой, с мужской кулак, лежал, где я его оставил, я взял кусок лепешки, задул свечу, и осторожно поднялся по лестнице, но едва вошел в дом, вижу: тетя Салли идет со свечой в руке, ну я и сунул лепешку с маслом в мою шляпу, а саму ее наголову нахлобучил, а в следующий миг тетя Салли увидела меня и говорит:

– Ты что, в подвале был?

– Да, мэм.

– И что ты там делал?

– Ничего.

– *Ничего!*

– Ничего, мэм.

– Так зачем тебя туда понесло среди ночи?

– Не знаю, мэм.

– Ах, ты не *знаешь*? Ты мне так не отвечай, Том. Говори, что ты делал в подвале.

– Ну вот совсем ничего не делал, тетя Салли, ей же ей, ничего.

Я думал, она меня отпустит, да в обычный день так оно и случилось бы, но, видать, происходившие в доме чудеса довели ее до того, что она стала с опаской относиться к любой не понятной ей мелочи, и потому сказала, очень твердо:

– Отправляйся в гостиную и жди меня там. Ты явно какое-то неподобие учинил и будь уверен, я выясню, какое, и получишь ты у меня позаслугам.

Пошла она выяснять, а я открыл дверь гостиной и, мать честная, сколько же в ней оказалось народу! Пятнадцать фермеров и все до единого с ружьями. Меня аж замутило с перепугу, и я, бочком подобравшись к креслу, плюхнулся в него. Они сидели вокруг,

некоторые вполголоса переговаривались, и всем им было не по себе, все нервничали, делая вид, будто это не так, но я-то понял – так и есть, потому что они то и дело снимали шляпы и надевали снова, исцребли в затылках, и ерзали на стульях, и пуговицы свои пальцами вертели. Мне самому-то было шибко не по себе, однако я шляпу не снимал.

Очень мне хотелось, чтобы тетя Салли поскорее вернулась и воздала мне по заслугам – ну, высекла, что ли, если ей потребуется, а после отпустила и тогда я смог бы сообщить Тому, что на сей раз мы перестарались, разбередили жуткое осиное гнездо, и лучше нам поскорее уносить вместе с Джимом ноги, – пока этой публики еще не лопнуло терпение и она не занялась нами всерьез.

Наконец, тетя Салли пришла и принялась задавать мне вопросы, а я просто *не мог* внятно ответить ни на один, у меня уже в голове все ходуном ходило, потому как фермеры до того разнервничались, что кое-кому из них захотелось сей минут бежать в Джимову хибарку и устроить там засаду наотчаянных злодеев, тем более, говорили эти фермеры, что до полуночи всего-то пара минут и осталась, – однако другие твердили, что надо терпеть и ждать вожьего сигнала. Тетя Салли все сыпала и сыпала вопросами, и меня уж все потрясло от страха, я рад был бы сквозь пол провалиться, а тем временем, в гостиной становилось все жарче, жарче, и масло начало таять и потекло у меня позагривку и за ушами, а когда один из фермеров сказал: «Я за то, чтобы сейчас же перейти в хибару и напасть на них, когда они явятся», – я чуть со стула несвалился, и теперь уж струйка масла потекла по моему лбу, и тетя Салли увидела ее, побелела, как полотно, и говорит:

– Господи помилуй, что же это такое с ребенком? У него воспаление мозгов, это как пить дать, вон они уж и наружу полезли.

И все повернулись ко мне, посмотреть, а она сорвала с моей головы шляпу, и лепешка с остатками масла вывалилась на пол, и тетя схватила меня, прижала к себе и говорит:

– Ох, до чего ж ты меня напугал! И до чего же я рада и благодарна Господу, что с тобой ничего страшного не приключилось, что ты жив-здоров, потому как счастье от нас совсем отвернулось, а ведь пришла беда, так жди другой, и я, как увидела это масло, сразу решила, что долго тебе не протянуть, оно ж и по цвету, и по всему прочему совершенно такое какими были твои мозги, если бы... Боже, боже, ну почему ж ты мне сразу не сказал, зачем в подвал лазил, я бы и сердиться на тебя не стала. Ладно, отправляйся в кровать и чтобы я тебя до утра не видела!

Через секунду я был наверху, а через другую уже слетел по громоотводу вниз и в темноте понесся к пристройке. У меня и слова-то почти нешли изо рта, до того я был перепуган, но я все же сказал Тому, как смог, что нам надо убираться отсюда, и поскорее, потому что вон там, в доме полно мужичины все с ружьями!

Глаза у него загорелись, и он говорит:

– Да ну? Не может быть! Вот это лихо! Черт, Гек, если бы можно было все сначала начать, я бы сюда точно человек двести нагнал! Эх, подождать бы нам немножко, пока...

– Скорее! *Скорее!* – говорю я. – Где Джим?

– Да вот же он, рядом с тобой стоит, протяни руку, дотронешься. Он переоделся, все готово. Сейчас вылезем отсюда и овечий сигнал подадим.

И тут мы услышали, как фермеры с топотом подбегают к двери и начинают с замком возиться, и кто-то из них произносит:

– *Говорил* же я вам, что мы поспешили – дверь-то еще назамке. Ладно, я запрю нескольких из вас в этой хижине, чтобы вы поубивали злодеев, когда те покажутся, а остальные пусть залягут вокруг в темноте и ждут, когда слышатся их шаги.

Ну, стало быть, набились они в хибару, но нас в темноте неразглядели и чуть не затоптали совсем, пока мы под кровать улезали. Однако мы все же улезли и проскользнули, быстро, но тихо, сквозь подкоп – Джим первым, занимаю я, а последним Том, так он распорядился. А оказавшись в пристройке, сразу услышали снаружи чей-то топот, близко-близко. Подкрались мы к двери, Том остановил нас и приложил глаз к щели, но ничего не разглядел, темень же стояла, и он прошептал, что будет прислушиваться, пока шаги не

удалятся, а послеподтолкнет нас локтями и тогда Джим выскользнет первым, а он, Том то есть, последним. Вот, и прижался он к щели ухом и слушал, и слушал, и слушал, авокруг все равно люди топтались, но, наконец, подтолкнул он нас и мывыскользнули, пригнулись и, не дыша, да и вообще никакого шума не производя, гуськом побежали к забору, и добрались до него, и мы с Джимом перелезли надругую сторону, а вот у Тома штанина намертво зацепилась за отставшую отверхней перекладки щепку, и он, услышав чьи-то приближавшиеся шаги, какрванется, – ну щепка и отлетела, да с треском, и Том спрыгнул к нам, а зазабором какой-то фермер как завопит:

– Кто это? Отвечай, не то стреляю!

Отвечать мы не стали, просто припустились бежать во вселопатки. И бросился за нами и «бах! бах! бах!» – вокруг нас зазудели пули! А после мы слышим крик:

– Вон они! К реке побежали! За ними, парни, да собак не забудьте спустить!

Ну и погнались они за нами на всех парах. Мы хорошо ихслышали, потому как они все в башмаках были и орала, а мы – без башмаков итихие. Мы бежали по тропе, которая к лесопилке ведет, и, когда они совсем ужеблизко подобрались, нырнули в кусты, пропустили их мимо себя и потрусиле занима. Все собаки еще с вечера заперты были, чтобы они грабителей не спугнули, однакок этому времени их уже кто-то выпустил, и теперь они неслись к нам с такимгамом, точно их там целый миллион, но ведь это ж наши были собаки, – мыостановились, подождали, пока они нас нагонят, и когда собаки увидели что это всего-навсего мы и ничего интересного им предложить не можем, то воспитаннопоздоровались с нами и рванули дальше, на топот и крик, ну а мы побежали следом почти у самой лесопилки свернули в заросли, дошли до моего челнока, забрались в него, и я стал грести, что было сил, выходя на середину реки, но стараясь приэтом шуметь, как можно меньше. А выйдя на нее, мы тихо-мирно направили челнок кострову, на котором был спрятан плот. Мы слышали, как люди и собаки носятся взад-вперед по берегу, орут друг на друга и лают, но шум этот уходил вседальше, а после и замер. И когда мы вступили на плот, я сказал:

– Ну вот, старина Джим, ты снова свободный человек и, готовпоспорить, рабом никогда больше не будешь.

– Да, Гек, а еще мы здорово потрудились. И задумано все былопрекрасно, и сделано тоже. Такого запутанного и богатого плана, как ваш, *никто* бы нипочем не придумал.

Конечно, довольны мы были – дальше некуда, но пуще всех Том, потому что у него пуля в ноге засела, в икре.

Когда мы с Джимом услышали об этом, радости у нас поубавилось. Тому было больно, из раны кровь текла, так что мы уложили его вшалаше и разодрали одну из рубашек герцога, чтобы перевязку сделать, однако онсказал:

– Давайте сюда ваши тряпки, перевязку я и сам сделать могу. Сейчас для нас главное, раз уж мы так блестяще ускользнули от злосчастнойсудьбы, не торчать на одном месте, не задерживаться здесь, поэтому беритесь за весла и поплыли. Но как же мы все красиво обделали, а? Да, если бы это *мы* устраивали побег Людовика Шестнадцатого, то в его биографии не говорилось бы: «Сын Святого Людовика вознесся на небо!», нет, сэр, мы бы его в два счета черезграницу переправили, вот что мы сделали бы, да еще и без сучка без задоринки. Беритесь за весла, беритесь!

Однако мы с Джимом посовещались, поразмыслили с минуту, а потом я говорю:

– Скажи ему ты, Джим.

Он и говорит:

– Ну, в общем я так думаю, Гек. Если бы мы с тобой марсаТома освобождали и кто-то из нас схлопотал бы пулю, так разве бы он сказал: «Вы, давайте, меня спасайте, а раненый ваш и без доктора обойдется»? Разве марса Томсказал бы такое? Сказал бы? Да ни в коем разе! Ладно, а разве *Джим* можеттакое сказать? Нет, сэр, я тут хоть сорок лет просижу и с места не стронусь, пока доктора не увижу!

Я же всегда знал, что нутром Джим – самый что ни на естьбелый человек, и потому таких слов от него и ожидал, и теперь говорить было больше не о чем, и я сказал Тому, что привезу

сюда доктора. Том расшумелся-раскричался, однако мы с Джимом стояли на своем и плыть куда-либо отказывались; тогда Том попытался выползти из шалаша, чтобы своими руками плототвязать, но мы его удержали. Ну, рассказал он нам в подробностях, что про нас думает, однако и этим ничего не добился.

А когда увидел, что я в челнок сажусь, говорит:

– Ладно, раз уж без этого никак не обойтись, слушай, что ты должен сделать, когда доберешься до городка. Как только войдешь в дом доктора, так сразу запри дверь и крепко-накрепко завяжи ему глаза, и заставь поклясться, что он будет нем, как могила, и вложи ему в руку набитый золотом кошелек, а после поводи его подольше в темноте по задним улочкам и закоулкам, и привези сюда в челноке, но не прямо, а круглым путем, попетляв среди островов, и обыщи его, и отбери кусок мела, который он в карман спрячет, и не отдавай, пока не вернешься с ним в городок, а то он наш плот весь мелом разрисует, чтобы его легче найти было. Они всегда так поступают.

Ну, я пообещал непременно так все и сделать и уплыл, сказав Джиму, чтобы он, как увидит издали доктора, спрятался в лесу, и не вылезал, пока доктор не уедет.

Глава ХLI. «Не иначе как бесы»

Доктор оказался стариком – очень милым, благодушного обличия стариком. Я рассказал ему, как мы с братом отправились вчера вечером на Испанский остров, поохотиться, и наткнулись там на небольшой плот, и заночевали на нем, а около полуночи брат, видать, дернул во сне ногой и ударил по своему ружью, а оно возьми да и выстрелило ему в ногу, и теперь нам нужно, чтобы он, доктор, приплыл туда и залечил его рану, но только чтобы он никому об этом не говорил, никому ни слова, потом что мы хотим вернуться нынче к вечеру домой и сделать нашим родным сюрприз.

– А кто ваши родные? – спрашивает он.

– Фелпсы, они ниже по реке живут.

– Ага, – говорит доктор. И подумав с минуту, спрашивает:

– Как, ты говоришь, он поранился?

– Сон ему приснился, – отвечаю, – а ружье и выстрелило.

– Редкостный сон, – говорит доктор.

В общем, зажег он фонарь, собрал сумку и мы пошли к реке. Однако, когда доктор увидел челнок, тот ему не понравился, – доктор сказал, что для одного человека он достаточно велик, а для двоих, пожалуй, просто опасен. Я говорю:

– Да вы не бойтесь, сэр, он и нас троих без хлопот на место доставит.

– Каких таких троих?

– Ну как же, меня, Сида и... и... и *ружья*. Я ружья имел в виду.

– Ага, – говорит доктор.

Поставил он ногу на борт, покачал челнок, потом головой тряхнули и сказал, что, пожалуй, поищет лодку побольше. Однако все лодки оказались привязанными на цепи с замками, и потому доктор забрался в челнок и сказал, чтобы я ждал его возвращения, или попробовал найти другую лодку, или, если мне захочется, вернулся домой и подготовил всех к сюрпризу. Я ответил, что мне не захочется, объяснил ему, как найти плот, и он уплыл.

И скоро мне пришла в голову мысль. Я говорю себе, а что если нога Тома за три, как говорится, взмаха овечьего хвоста, не заживет? Что нам тогда делать? – сидеть на острове, дожидаясь, пока доктор кота из мешка не выпустит? Нет, сэр, я знаю, что я сделаю. Дождусь его возвращения, и если он скажет, что ему нужно еще раз там побывать, отправлюсь с ним, хоть вплавь, коли придется, а на острове мы его скрутим и свяжем, и поплывем с ним вниз по реке, а как Том поправится, дадим старику денег, сколько он попросит, или все, какие у нас останутся, и высадим на берег.

Залез я под штабель досок, чтобы поспать немного, а когда проснулся, солнце уже в небе стояло! Выскочил я наружу, побежал к дому доктора, но там мне сказали, что он, как уехал ночью, так и не возвращался. Ну, думаю, значит плохи у Тома дела, надо мне побыстрее до

острова добираться. Понесся япо улице и едва свернул угол, как чуть не угодил головой в живот дяди Сайласа. Он и говорит:

– Батюшки, *Том* ! Где ты был столько времени, негодяй?

– Да нигде, – говорю, – мы с Сидом за беглым негромгонялись.

– Но как же ты мог уйти из дому? – говорит он. – Там тетушкатвоя просто места себе не находит.

– Ну это она зря, – говорю, – с нами же ничего плохого неслучилось. Мы просто за фермерами и собаками побежали, да не нагнали их ипотеряли, а потом нам показалось, что их голоса с реки доносятся, и мы отыскаличелнок, и поплыли за ними, а найти не смогли, ну и плыли вдоль берега, пока невыдохлись и не устали, и потому привязали челнок и спать полегли, а проснулисьтолько час назад и погребли сюда, чтобы новости узнать, – Сид пошел в почтовуюконтору, послушать, что там говорят, а я решил едой какой-нибудь разжиться, а после мы бы домой пошли.

Отправились мы в почтовую контору, чтобы «Сид» из неезабрать, но, как я и полагал, его там не оказалось, зато старик письмо какое-тополучил. Подождали мы Сиды, подождали, однако он так и не пришел, и стариксказал – ладно, поехали, пусть Сид, когда ему надоест дурака здесь валять, пешком домой топает или в челноке плывет. Я попросил его оставить меня вконторе, Сиды дожидаться, но он ответил, что это бессмысленно, а я простообязан вернуться домой и сказать тете Салли, что с нами ничего не случилось.

Приехали мы домой и тетя Салли так мне обрадовалась, что ирасплакалась, и рассмеялась сразу, и обняла меня, и розог задала – хотя под еерозгами, как всегда, заснуть можно было, – и сказала, что Сид, когда вернется, такую же лютую порку получит.

А в доме людей было, как сельдей в бочке, – фермеры сженами, их к обеду пригласили, – и тараторили все они, как нанятые. Хуже всехбыла старая миссис Хочкисс, эта вообще рта не закрывала. Слышу, она говорит:

– Знаете, сестра Фелпс, я всю эту вашу хижину обсмотрела итак вам скажу, по-моему, тот негр умом тронутый был. Я так сестре Дамрелл искажала – ведь правда, сестра Дамрелл? – умом, говорю, он тронулся, – вот этисамые слова и сказала. Меня все слышали: говорю, умом он тронулся, на это жевсе, говорю, указывает. Хоть жернов этот возьмите, говорю, интересно, говорю, узнать, какой это человек, если он в здравом рассудке, стал бы на жернове такуюгалиматью выцарапывать, а? Здесь у такого-то лопнуло сердце; а здесь такой-тоизнывал тридцать семь лет, да еще внебрачного сына какого-то Людовика приплел ипрочий вздор. Умалишенный, говорю, я и попервости так сказала, и потомговорила, и под конец, все время говорила – умалишенный, говорю, что твойНавуходоносчик.

– А как вам понравилась лестница из тряпок, сестра Хочкисс?– спрашивает старая миссис Дамрелл. – Зачем, во имя Божие, *могла* ему понадобиться...

– Вот самыми этими словами я и сказала в ту же минуту сестреОттербек, она вам сама подтвердит. Она говорит, вы только посмотрите на этутряпичную лестницу, а я, говорю – да, говорю, *посмотрите*, говорю, нанее, на что, говорю, *могла* она ему понадобиться. А она, и говорит ...

– Но как они, господи прости, *вообще* этот жернов тудазаволокли? И кто эту *дыру* прокопал, кто...

– Самые мои слова, брат Пенрод! Я так сестре Денлап – передайте мне патоку, ладно? – так сестре Денлап в ту же минуту и сказала, как же они, говорю, этот жернов сюда заволокли? И ведь без посторонней помощи, вот ведь что– *без помощи* ! Подумать только! Нет уж, говорите мне что хотите, говорю, а *помощь* у них была, да еще какая помощь-то, говорю; у этогонегра *дюжина* помощников имелась, и я бы шкуру спустила со всех негров этогодома, говорю, а узнала бы, кто ему помогал, говорю, больше того, говорю, я бы...

– *Дюжина*, вы сказали! – да ведь и *сорок* человек столько всего не понаделали бы. Возьмите пилы из столовых ножей ипрочее, это ж сколько на них трудов положено было; а ножку кровати такой пилойотпилить – неделя работы для шести человек; а что этот негр из соломы соорудилна кровати, а...

– Ваша правда, брат Хайтауэр! Именно так я и сказала самомубрату Фелпсу. Он говорит, что вы об этом думаете, сестра Хочкисс? О чем, говорю, брат Фелпс? А он – да вот о том, как эту ножку от кровати отпилили, а? Что я *думаю* ? – говорю. – Я думаю, что она *не сама* себя отпилила, кто-то *другой* , говорю, ее отпилил; вы уж как хотите, а такое, говорю, мое мнение, можете его в расчет не принимать, говорю, но уж такое оно есть, мое мнение, говорю, а если у кого получше имеется, говорю, так пусть его выскажет, вот и все. И говорю сестре Денлап, я говорю...

– Да, забодай меня кошка, чтобы столько всего наворотить, сестра Фелпс, нужно было полон дом негров согнать и заставить их аж четыре недели потеть каждую ночь напролет. Вы хоть рубашку возьмите – она ж до последнего дюйма покрыта тайными африканскими письменами и все кровью написаны! Тут не иначе как целый невольничий корабль потрудился. Господи, да я бы два доллара отдал тому, кто мне их прочитает, а что до негров, которые их написали, порол бы подлецов, пока они...

– Так вы думаете, это ему *люди* помогали, брат Марплс? Пожили бы вы в нашем доме немного, так по-другому запели бы. Господи, да они тут тянули все, что им под руку попадалось, а ведь мы, должна вам сказать, все время настороже были. Рубашку эту прямо с бельевой веревки стянули! А простыня, из которой лестница сделана, – я вам и сказать не могу, сколько раз они ее крали, а мука, а свечи, а подсвечники, а ложки, а старая железная грелка, а тысяча других вещей, которые мне уж и не упомнить, а мое новое ситцевое платье – и ведь все мы: я, Сайлас, Сид и Том, день и ночь за домом следили, я уж говорила, но ни лица, ни ногтя, ни волоса их не углядели. А в последнюю минуту они, нате вам, проскользнули у нас под носом и оставили всех в дураках, – и ведь не только нас, бандитов с Индейской территории тоже, – и преспокойно ушли негром, хоть за ними шестнадцать человек и двадцать две собаки по пятам гнались! Говорю вам, это побивает все, о чем я когда-нибудь слышала! Да никакие бесы лучше и ловчее не управились бы. И сдается мне, не иначе как бесы тут и *орудовали* , потому что – вы же знаете наших собак, самые лучшие собаки в округе, – так ведь ни одна же из них следа-то не взяла! Вот объясните мне это, если сумеете! Хоть кто-нибудь!

– Да, это уж...

– Господь всемогущий, я сроду...

– Господи помилуй, да я бы...

– И дом обокрали, и...

– Боже милосердный, я бы побоялась и жить-то в таком...

– *Жить* побоялись бы! – да меня они до того запугали, сестра Риджуэй, что я и спать ложиться боялась, и просыпаться боялась, нисеть, ни встать без страха не могла. Ведь они же могли украсть и... – господи, ну, вы и сами понимаете, в какой тревоге я всю вчерашнюю ночь провела. Бог мнe свидетель, я боялась, что они кого-нибудь из детей украдут! До того дошла, что у меня мысли в голове стали путаться. Сейчас-то, днем, это дурью кажется, но я сказала себе: там, наверху, спят мои мальчики, и никого рядом с ними нет и, видит Бог, так мне стало не по себе, что я тайком поднялась наверх и заперла их комнату! Честное слово. Да и любой бы запер. Потому что, когда тебя так пугают, и пугают, и каждый раз все сильнее, ты уж совсем соображать перестаешь и как и только глупости не делаешь, и начинаешь думать: вот, положим, я мальчик, сплуну наверху один, а дверь не заперта, и...

Она примолкла, и, по лицу ее судя, удивилась чему-то, а потом медленно так повернулась и уставилась на меня. Ну, я встал и пошел прогуляться.

Говорю себе: я смогу лучше объяснить, почему нас утром в комнате не оказалось, если пройду немного и поразмыслю. Да так и сделал. Правда, далеко уходить не стал, боялся, как бы тетя Салли кого-нибудь за мной вдогонку послала. А вечером, когда гости разбрелись, я подошел к ней и стал рассказывать, как нас с «Сидом» разбудили шум и стрельба, а дверь была заперта, но нам же хотелось посмотреть, что там к чему, вот мы и спустились по громоотводу, ладони все поободрали, больше мы *так* спускаться не станем. А дальше я пересказал ей все, что раньше дяде Сайласу наплел, и она сказала, что прощает нас, что,

может, все было и правильно, потому как, чего же еще от мальчиковждать, у всех у них ветер в голове гуляет, и раз никакой беды из этого невышло, так она, сдается ей, лучше будет благодарить небеса за то, что мы живы,и благополучны, и все еще рядом с ней, чем станет волноваться из-за того, чтопрошло и былъем поросло. Поцеловала она меня, погладила по голове и о чем-то печальнозадумалась, а потом вдруг как вскочит на ноги и говорит:

– Господи-Боже, ночь уж на дворе, а Сиды все нет! Что жетакое стряслось с мальчиком?

Я вижу, удача сама мне в руки просится, и говорю:

– Давайте я сбегаю в город и отыщу его.

А она:

– Ну уж нет. Оставайся здесь, хватит с меня и одного запропавшего.Если он не вернется к ужину, твой дядя сам за ним съездит.

Ну, к ужину он не вернулся, и после ужина дядя уехал.

Возвратился он около десяти, расстроенный, поскольку Томадаже следов никаких не сыскал. Тетя Салли ужасно *разволновалась*, но дядяСайлас сказал, что тревожиться особо не о чем – мальчики они и есть мальчики,сказал он, вот увидишь, утром Сид объявится, живой и невредимый. Однако тетяответила, что все равно посидит немного, подождет его, и свет зажжет, чтобы емуиздали видно было.

А когда я спать отправился, она поднялась со мной и свечуприхватила, и уложила меня, и одеяло мое подоткнула, и так вокруг меня суеутилась,что я почувствовал себя совсем мерзко, даже в глаза ей взглянуть не мог; а после она присела на краешек кровати и долго-долго разговаривала со мной, и всео том, какой чудесный мальчик Сид, ей, похоже, хотелось говорить о нем,говорить и не останавливаться; и все спрашивала меня, не думаю ли я, что он влесу заблудился или, может, утонул, а вдруг он где-то лежит сейчас, вот в эту минуту, страдающий или мертвый, а ее рядом нет и помочь ему она не в силах – изамолчала, только слезы по щекам катятся, а я стал говорить ей, что с Сидом всехорошо, что утром он непременно домой вернется; и она сжала мою руку, а может,и поцеловала меня, и попросила повторить еще разок, и еще, потому что ей отэтого легче становится, ведь вон сколько у нее бед всяких и горестей. А когдасобралась уходить, взглянула мне прямо в глаза, твердо и ласково, и говорит:

– Я не стану запирать дверь, Том, да и окно с громоотводом,они тоже тут останутся, но ты ведь будешь хорошим мальчиком, правда? Ты несбежишь? Ради *меня*.

Видит Бог, мне жуть как хотелось сбежать, выяснить, что сТомом, да я и собирался это сделать, но после таких ее слов не смог бы, дажеесли бы мне несколько царств за это дали.

Однако меня донимали мысли и о ней, и о Томе и потому спал ябеспокойно. Ночью дважды спускался по громоотводу, огибал дом и видел, как она сидитсо свечой у окна и на дорогу смотрит, а в глазах слезы; и так мне хотелосьчто-нибудь сделать для нее, но я же не мог, я мог только клясться себе самому,что никогда больше не причиню ей горя. А в третий раз я проснулся уже на заре иопять соскользнул вниз, смотрю, она так и сидит, свеча почти уж догорела, а тетяСалли спит, опустив на руку старую седую голову.

Глава XLII. Почему неповесили Джима

Дядя Сайлас уехал в город еще до завтрака, но так на следТома и не напал, и вернулся; старики сидели за столом молча, думали о чем-то, икофе их стыл, и не съели они ничего. В конце концов, старик говорит:

– Я тебе письмо отдал?

– Какое письмо?

– То, которое вчера в почтовой конторе забрал.

– Нет, не отдавал ты мне письма.

– Ну, значит, забыл.

Пошарил он по карманам, потом сходил туда, где письмооставил, принес его и вручил тете Салли. А она и говорит:

– Господи, это же из Санкт-Петербурга, от сестры.

Я решил, что мне не повредит еще одна прогулка, но даже сместа сдвинуться не смог. Впрочем, вскрыть письмо она не успела, уронила его и побежала на двор – заметила что-то. Ну и я в ту сторону посмотрел. И увидел лежавшего на матрасе Тома, и старого доктора, и Джима в ее ситцевом платье и со связанными за спиной руками и еще кучу всякого народа. Сунул я письмо за первую вещь, какая мне под руку подвернулась, и тоже на двор помчал. А тетя Салли бежит к Тому, плачет и вскрикивает:

– Ох, он умер, умер, я знаю, он умер!

Том повернул к ней голову, пробормотал что-то, – я сразу понял, что он не в себе, – а тетя всплеснула руками и говорит:

– Слава Богу, жив! А больше мне ничего и не нужно, – и поцеловала Тома и полетела, чтобы приготовить для него постель, к дому, рассыпая направо-налево – так быстро, как язык ее позволял, – приказы неграм и всем прочим, и все старались поскорее убраться с ее дороги.

Тома понесли в дом, старый доктор и дядя Сайлас пошли заним, а я – за толпой, посмотреть, что она с Джимом сделает. Были в ней люди, сильно взвевшиеся на Джима, и этим очень хотелось повесить его в поучение прочим неграм, чтобы, значит, им не повадно было сбегать, на манер Джима, доставившего всем столько хлопот и продержавшего целую семью в смертном страхе многие дни и ночи. Однако другие говорили, нет, мол, не стоит, это ж не наш негр, а ну как объявится его хозяин, он же нас заплатит за него заставит. Желавшие повесить Джима малость поостыли, потому что люди, которым больше всех прочих хочется вздернуть негра, всегда оказываются теми, кому меньше всего хочется платить за него послетого, как они вдоволь над ним натешатся.

Но уж ругали они Джима на все корки и время от времени кто-нибудь ему оплеуху отведывал, однако Джим молчал и ни разу даже вида неподал, что знает меня. Отвели его в ту же самую хибару, переодели в прежнюю одежду и снова приковали, но только не к ножке кровати, а к большой железной скобе, которую вбили в нижнее бревно, – и сказали, что сидеть ему теперь на хлебе и воде, пока хозяин его не придет, а коли хозяина долго не будет, так его саукциона продадут. Лаз наш они засыпали и решили, что по ночам хижину станут сторожить двое вооруженных фермеров, а днем у нее бульдог будет сидеть, к двери привязанный. Ну а когда они со всеми делами покончили и принялись обкладывать Джима на прощание последними словами, подошел старик-доктор, посмотрел на то, что там творилось, и говорит:

– Не обходитесь с ним суровее, чем требуется, потому что он – негр неплохой. Я когда нашел мальчика, увидел, что без посторонней помощи мне пулю не извлечь, а он в таком состоянии был, что я не мог оставить его и поплыть за этой помощью; ему понемногу все хуже становилось, и хуже, и в конце концов, в голове у него помутилось, он меня даже подпускать к себе перестал, все повторял, что, если я разрисую плот мелом, он меня убьет, и другой дикий вздор лепетал, и я понял, что одному мне с ним не сладить, и сказал себе, но, правда, вслух, что просто обязан заручиться чьей-то помощью, и едва я это произнес, как откуда ни возьмись вылезает этот негр и говорит, что поможет мне, – и помог, и очень хорошо помог. Я разумеется, сразу сообразил, что он беглый, а значит податься мне некуда, придется при больном и день просидеть, и следующую ночь. Положеньице, доложу я вам! В городе у меня двое пациентов в простуде лежат, мне бы сплавить туда, проведать их, а нельзя, вдруг негр удерет, и тогда я виноват буду, а никакие лодки мимо – так близко, чтобы я до них докричаться мог, – непроплывают. Так и сидел я на том плоту сиднем до нынешнего утра, и должен вам сказать, лучшей няньки и более преданного, чем этот негр, слуги я за всю жизнь не встречал, а ведь он свободой своей рисковал, да и вымотан был сильно, я сразу понял, что в последнее время ему приходилось трудиться много и тяжело. Он мне понравился, и я вам вот что скажу, джентльмены, такой негр тысячи долларов стоит – и обращения заслуживает самого доброго. И мне он доставлял все, что требовалось, и мальчик на поправку шел так, точно он дома в постели лежал, – даже лучше, быть может, потому что там, на плоту, было покойно и тихо; ну а мне пришлось проторчать на нем, с больным и негром на руках, до сегодняшнего рассвета, только тогда я и увидел проплывавшую мимо лодку с какими-то людьми – и тут мне повезло, потому что негр сидел у тюфяка мальчика и спал, положив голову на колени, – ну, я тихонько

поманил людей к себе, они подкрались к негру исхватили его, он даже проснуться не успел, так что все обошлось без больших неприятностей. Мальчик тоже спал, хоть и беспокойно, мы обмотали веслатряпками, чтобы не разбудить его, лодка взяла плот на буксир, и мы поплыли, тихо и мирно, а негр даже отбиваться не стал, и вообще не произнес ни единого слова. Нет, джентльмены, он негр хороший, такого я о нем мнения.

Кто-то и говорит:

– Да, доктор, должен сказать, вел он себя отменно.

Ну и остальные все малость смягчились, а уж до чего я был благодарен старому доктору, что он за Джима заступился, я и сказать не могу, и еще я порадовался тому, что не ошибся в нем, потому как мне с самого начала показалось, что сердце у старика доброе. В общем, все сошлось на том, что Джим вел себя превосходно, и заслуживает хорошего к нему отношения и даже награды. И все до единого пообещали, не сходя с места и от чистого сердца, что больше его хаять не будут.

А после вышли из хижины и замок на дверь повесили. Я-то надеялся, что они додумаются хоть пару цепей с него снять, уж больно тяжелые были эти цепи, или добавят к воде и хлебу мяса с овощами, однако такое им в голову не пришло, и я решил, что лучше сам этим займусь, поскорее передав тете Салли рассказ доктора, – после того, конечно, как получу причитающуюся мне взбучку, ну, то есть, объясню, почему это я, рассказывая, как мы с Сидом гонялись в тучертову ночь за фермерами, искавшими сбежавшего негра, запомнил сообщить, что Сид подстрелили.

Однако поскорее не получилось. Тетя Салли просидела в комнате Тома весь день и всю ночь, а, увидев дядю Сайласа, я всякий раз старался от него улизнуть.

На следующее утро мне сказали, что Тому стало гораздо лучше, а тетя Салли прилегла вздремнуть. Ну я и прокрался в его комнату, подумав, что, если он не спит, мы сможем сочинить какую-нибудь небылицу, которой вся семья поверит. Однако он спал, и спал очень мирно, и лицо у него было бледное, негорело, как было, когда его принесли. Я присел и стал дожидаться, когда он проснется. А через полчаса, примерно, в комнату тихо вошла тетя Салли – ну, думаю, попал! Однако тетя только приложила палец к губам, села рядом со мной, и стала шептать, что теперь нам лишь радоваться и осталось, потому что симптомы все замечательные, и он давно уже вот так спит, и выглядит все лучше, все спокойнее, и она готова поставить десять к одному, что проснется Сид в здравом рассудке.

Ну, сидим мы, смотрим на него и, в конце концов, он зашевелился, открыл глаза, проморгался, как самый что ни на есть нормальный человек, и говорит:

– Смотри-ка! – да я же *дома* ! Как это я сюда попал? А плот где?

– С ним все в порядке, – говорю я.

– А с *Джимом* ?

– И с ним тоже, – отвечаю я, немного, правда, замаявшись.

Однако Том заминки моей не заметил и говорит:

– Хорошо! Отлично! Значит, все обошлось и опасаться нам нечего! Ты тетушке-то рассказал?

Я хотел сказать «да», но не успел, потому что тетя спросила:

– О чем рассказал, Сид?

– Ну как же, о том, как мы все это устроили.

– Что устроили?

– Да все же! Как будто у вас тут много чего происходит! Отом, как мы беглого негра освободили – я и Том.

– Милость господня! Освободили беглого... Что это бедное дитя говорит? Боже, Боже, у него опять рассудок мутится!

– Ничего у меня не мутится! Я знаю, о чем говорю. Это *мы* освободили его – мы с Томом. Задумали освободить и *освободили* . Да как красиво все проделали!

И начал он рассказывать, и тетя Салли ни разу его не перебила, только смотрела на Тома во все глаза, не мешая ему похвалиться, да и я мигом понял, что мне даже и пытаться слово

вставить не стоит.

– Подумайте сами, тетушка, какая это была работа – недели работы, час за часом, каждую ночь, пока все вы спали. Нам же пришлось и свечи украсть, и простынку, и рубашку, и ваше платье, и ложки, и жестяные тарелки, и столовые ножи, и медную грелку, и жернов, и муку, – конца-края не видать, – вы ивообразить не можете, сколько трудов пошло на изготовление пил и перьев, нанадписи, на то, на другое, и не можете даже вполонину представить себе, как это было весело. А пришлось еще гробы рисовать и все остальное, и писать ненаимные письма от грабителей, вставать по ночам и спускаться по громоотводу, и рыть подкоп, и веревочную лестницу вязать, и запекать ее в пирог, и посылать Джимуложки и прочие инструменты в кармане вашего передника...

– Милость Господня!

– ...и поселить в хибаре крыс, змей и другую живность, чтобы у Джима компания была, а потом вы продержали здесь Тома с маслом в шляпе так долго, что у нас едва все не сорвалось, потому что, когда фермеры прибежали к хибарке, мы из нее выбраться еще не успели, пришлось спешить, а они услышали нас и погнались за нами, и я получил пулю, а после мы соскочили с тропы и пропустили фермеров мимо себя, а когда прибежали собаки, мы их незаинтересовали, собаки на шум понеслись, а мы добрались до нашего челнока и поплыли к плоту, и оказались вне опасности, и Джим стал свободным человеком, и все это *мы* сделали, только мы – ну разве не роскошь, тетушка?!

– Отродясь ничего подобного не слышала! Стало быть, это *вы*, мелкие вы пройдохи, учинили все безобразия, от которых у нас ум за разум заходил, *вы* перепугали нас только что не до смерти! Так и хочется выдрать вас обоих сию же минуту. Подумать только, я места себе не находила ночь за ночью, авы... Ну погоди у меня, вот только поправься, маленький ты негодяй, тогда я из вас обоих душу вытрясу!

Однако Тома распирала такая радость и гордость, что остановиться он не мог, и продолжал молотить языком, а тетя Салли то и дело перебивала его, изрыгая пламя и дым, и делали они это одновременно, точно кошка на ихнем молитвенном собрании и, наконец, она говорит:

– Ну ладно, можешь наслаждаться вашими похождениями, сколько душе твоей угодно, но смотри у меня, если я тебя хоть раз вблизи от него поймаю...

– От кого? – сразу посерьезнев, удивленно спрашивает Том.

– От *кого*? От беглого негра, конечно. А ты думал, откого?

Том грозно взглянул на меня и говорит:

– Том, ты же сказал, что с ним все в порядке, так? Разве он не скрылся?

– *Он*? – переспрашивает тетя Салли. – Это негр-тобеглый? Никуда он не скрылся. Его опять сюда привели, живого-здорового, и сидит он, весь в цепях, в той же хибарке на хлебе да на воде, и будет сидеть, как миленький, пока за ним хозяин не явится, а не явится, так мы его продадим!

Том даже сел в кровати – глаза горят, ноздри раздуваются и сжимаются, совершенно как перепонки у жабы, – и закричал на меня:

– Они не имеют *права* держать его под замком! Беги! – не теряй ни минуты! Выпусти его! Он не раб, он так же свободен, как любой, кто ходит по этой земле!

– Что такое говорит это дитя?

– Чистую правду я говорю, тетя Салли, вот что! и если никто не ему сейчас же не пойдет, так я *сам* пойду! Я же его всю жизнь знаю, и Том тоже. А старая мисс Ватсон умерла два месяца назад, и ужасно стыдно ей было, что она хотела Джима в низовья продать, сама так говорила, ну и освободила его в завещании.

– Тогда зачем же, Господи прости, ты-то его освобождал, если он уже свободный был?

– Ну, знаете ли! Хорошенький вопрос, совершенно женский! Зачем – да приключений мне хотелось, и я готов был по горло в крови ходить, лишь бы... о Господи, *тетя Полли*!

И если именно она не стояла на пороге, добрая и довольная, точно ангел, пирога наевшийся, так считайте, что я и на свет еще не родился!

Тетя Салли подскочила к сестре и обвила ее шею руками, дая, что чуть голову ей не оторвала, и заплакала, а я, решив, что уж больно жарко тут становится для нас обоих, умелся под томову кровать, места мне там как раз хватило. Выглянул недолгое время спустя, смотрю, томова тетя Полли изобъятий сестры уже вывернулась, стоит и смотрит на Тома поверх очков – да так, знаете, точно в порошок его стереть очень хочет. А потом и говорит:

– Ты бы лучше отвел глаза-то – на твоём месте, Том, я так и поступила бы.

– О, Господи! – говорит тетя Салли, – неужто он так изменился? Это же не Том, это Сид, а Том... Том... погодите, а Том-то куда подевался? Минуту назад здесь был.

– Ты хочешь сказать – куда подевался *Гек Финн*! Я, знаешь ли, не для того растила столько лет такого безобразника, как мой Том, чтобы не узнавать его, когда он мне на глаза попадает. Хорошенькое было бы дело! А ну-ка, Гек Финн, вылезай из-под кровати.

Я вылез. Без особой, впрочем, спешки.

Такого растерянного, изумленного лица, какое было тогда у тети Салли, я до той поры еще не видал – правда, дяде Сайласу, когда он вошел в комнату, и ему все рассказали, удалось ее по этой части перещеголять. Вы бы, наверное, его за пьяного приняли – он весь день слонялся по дому, как очумелый, а вечером произнес на молитвенном собрании проповедь, которая обеспечила ему громкую рупетацию, потому как и самый старый старик на свете ничего бы в ней непонял. Ну а томова тетя Полли рассказала, конечно, кто я и что, а когда я сам стал рассказывать, как попал в эту передрыгу из-за того, что миссис Фелпс приняла меня за Тома Сойера... она перебила меня и говорит: «Ох, перестань, зови меня тетей Салли, я уж привыкла к этому, зачем нам что-то менять?»... да, так когда тетя Салли приняла меня за Тома Сойера, мне пришлось выдавать себя за него, деваться-то некуда было, а к тому же я знал, что он возражать не станет, только обрадуется – тайна же, загадка, Том непременно превратил бы ее в приключение и от души повеселился бы. Так оно и вышло, и пришлось ему стать Сидом, чтобы мне все с рук сошло.

А еще его тетя Полли сказала, что насчет завещания старой мисс Ватсон, по которому Джим свободу получил, Том несколько не соврал, так что сами видите, Том Сойер взвалил на себя столько забот и хлопот, чтобы освободить свободного негра! – а я-то до той минуты, до того разговора, в толк взять не мог, как это человек, получивший его воспитание, и вдруг помогает негру бежать.

Ну вот, а тетя Полли рассказала, что, когда от тети Салли пришло письмо, в котором говорилось, что Том и *Сид* благополучно добрались до места, то сказала себе: «Ну, разумеется, началось! Чего ж было и ждать, отпуская его в такой путь одного, без присмотра?»

– И я собралась поскорее и поплыла вниз по реке, одиннадцать сотен миль проплыла, чтобы узнать, что он на сей раз учинил, тем более, что от тебя я никаких ответов на мои вопросы не дождалась.

– Помилуй, так я ж от тебя и вопросов никаких не получала, – говорит тетя Салли.

– Очень интересно! Я тебе два раза писала, спрашивала о каком-то Сиде ты толкуешь.

– Не получала я твоих писем, сестрица.

Тетя Полли поворачивается, медленно и сурово, и говорит:

– Том!

– Ну *что*? – спрашивает он, да обиженно так.

– Ты мне не чтокай, дерзкий мальчишка, – ты мне письма подай!

– Какие письма?

– *Такие* письма. Вот честное слово, возьму я тебя сейчас, да и...

– Они в сундуке лежат. Вон в том. И ничего им не сделалось, какими я их получил в конторе, такими и остались. Я в них и не заглядывал даже, пальцем не тронул. Но я же знал, что от них только неприятностей и жди, и подумал – вам все равно торопиться некуда, ну и...

– Да, шкуру мне с тебя спустить все же придется, тут и говорить не о чем. Я ведь и еще одно написала, о моем приезде, видать, он и...

– Нет, оно только вчера пришло, просто я его прочитать пока не успела, но с этим письмом все в порядке, оно у меня.

Я бы поспорил с ней на пару долларов, что она ошибается, но решил, что, пожалуй, не стоит, так оно безопаснее будет. И промолчал.

Глава последняя

Едва мы остались с Томом наедине, я спросил, как он представлял себе весь побег и что у него было задумано на случай, если нам и вправду удастся ускользнуть от злосчастной судьбы и освободить негра, который и без того свободным был. И Том ответил, что с самого начала собирался, вытащив Джима из темницы, поплыть с ним вниз по реке на плоту и, пережив всякие приключения, добраться до ее устья, а там сказать ему, что он свободен, и возвратиться с ним домой на пароходе, в самых лучших каютах, и заплатить ему потраченное на нас время, но первым делом послать домой письмо, чтобы все негры собрались и встретили его, и провели по городу с факелами и духовым оркестром, и тогда он стал бы героем, да и мы с ним заодно. Ну ладно, по мне, то, что у нас получилось, было не многим хуже.

Мы мигом сняли с Джима цепи, а тетя Полли, дядя Сайлас и тетя Салли, узнав, как замечательно он помогал доктору выхаживать Тома, ужас дочего расхлопотались вокруг него, и устроили наилучшим образом, и кормили всем, что он ни попросит, и следили, чтобы он жил в довольстве и ничем себя не утруждал. А я сказал Джиму, что у нас есть к нему важный разговор, и привел его к Тому, и тот дал ему сорок долларов за то, что он так терпеливо изображал для нас узника и так хорошо делал все, о чем мы его просили, и Джим обрадовался до смерти и затархтел:

– Ну, Гек, что я тебе говорил – помнишь, на острове Джексона? Говорил, что у меня грудь волосатая и какая на то примета есть, говорил, что был богатым и снова буду? Все так и вышло! Тютелька в тютельку! Тут уж не поспоришь – примета, она примета и есть! Знал я, что разбогатею и вот, пожалуйста, разбогател!

А после Том целую речь произнес, да длинную такую: давайте, говорит, как-нибудь ночью удерем отсюда все трое, накупим всякого-разного снаряжения и проведем пару недель, а то и месяц на Индейской территории, будем там приключений искать. Я сказал, что меня это устроит, вот только денег у меня на снаряжение нет, потому как папаша небось уже вернулся в наш город, отобрал мои деньги у судьи Тэтчера и все их пропил.

– Да нет, – говорит Том, – целы твои деньги – шесть тысяч долларов и даже больше; а отец твой и вовсе ни разу у нас не показывался. Во всяком случае, до моего отъезда.

А Джим говорит, да серьезно так, торжественно:

– Он больше не вернется, Гек.

Я спрашиваю:

– Почему это, Джим?

– Какая тебе разница почему, Гек? Не вернется и все тут.

Ну, я вцепился в него мертвой хваткой, и он, наконец, сказал:

– Помнишь тот дом, который по реке плыл, а в нем человек был, накрытый тряпьем, и я залез туда, посмотрел на него и тебе сказал, чтобы ты тоже залез? Ну вот, можешь теперь брать свои деньги, когда тебе захочется, потому что это он и был.

Сейчас Том совсем уж поправился, и прикрепил свою пулю к часовой цепочке, и носит вместе с часами на шее, и то и дело на вытаскивает часы, чтобы время узнать и пулю всем показать. А мне писать больше не о чем и я этому страшно рад, потому что, если бы я знал, какая это морока, книжку сочинять, то ничем бы за такое дело не взялся и больше уж точно не возьмусь. Да и вообще мне сдается, что на Индейские территории я раньше всех остальных попаду, потому как тетя Салли надумала меня усыновить и сделать из меня цивилизованного человека, а я этого не переживу. Пробовал уже.

КОНЕЦ.

ВАШ ПОКОРНЫЙ СЛУГА, ГЕК ФИНН.

[1] Дэвид Гарик (1717-1779), английский актер и драматург. Младшего не существовало (здесь и далее примечания переводчика).

[2] Эдмунд Кин (1789-1833), великий английский актер, дважды гастролировавший в Америке. На сей раз не существовало старшего.

[3] Театр «Хеймаркет» и сейчас стоит на улице Хеймаркет, находящейся в центральной части Лондона. Уайтчепел – один из беднейших районов лондонского Ист-Энда. Паддинг-лейн – улица, лежащая неподалеку от Тауэрского моста и довольно далеко от Хеймаркет-стрит. Зато Пиккадилли с ней совсем рядом.

[4] Генрих VIII Тюдор (1491-1547), король Англии.

[5] Нелл Гвин (1650-1687), любовница Карла II.

[6] Джейн Шор (1445-1527), фаворитка Эдуарда IV.

[7] Розамунда Клиффорд (до 1150-1176), любовница Генриха II, ставшая фольклорным персонажем.

[8] Материалы по земельной переписи, проведенной в Англии в 1085-1086 годах.

[9] Гек неожиданно обнаруживает знакомство с латынью: *e pluribus unum* – «из многих единое».

[10] Том имеет в виду *сенешаля*, судебного чиновника средневековой Франции.

[ИСБ1] Число, 21, 8-9

[ИСБ2] Лука, 14, 21

[ИСБ3] Притчи, 17, 22

[ИСБ4] Псалом 50, 19

[ИСБ5] Апокалипсис 4, 1

[ИСБ6] Несоответствие: в оглавлении Parkville, здесь Pokeville – оба больше не встречаются.

[ИСБ7] Собрано из разных переводов (отмеченных ниже) с некоторыми изменениями, необходимыми для поддержания ритма

[ИСБ8] Из перевода П. Гнедича

[ИСБ9] Тот же монолог – Б. Пастернак

[ИСБ10] Там же – А. Радлова

[ИСБ11] Макбет, М, 5, 5 – А. Радлова

[ИСБ12] ТЖМ – А. Радлова

[ИСБ13] Макбет, 2. 2 – Ю. Корнеев.

[ИСБ14] ТЖМ – А. Кронеберг

[ИСБ15] ТЖМ – М. Морозов

[ИСБ16] ТЖМ – Б. Пастернак.

[ИСБ17] ТЖМ – КР, с искажением

[ИСБ18] Макбет 2, 2 – А. Радлова

[ИСБ19] ТЖМ – В. Набоков

[ИСБ20] ТЖМ с искажением – БП

[ИСБ21] Гамлет 3, 2 – А. Радлова

[ИСБ22] Гамлет 1, 2 – А. Кронеберг

[ИСБ23] ТЖМ – В. Набоков

[ИСБ24] Гамлет 3, 2 – М. Лозинский

[ИСБ25] ТЖМ – П. Гнедич

[ИСБ26] Макбет 1, 7 – Ю. Корнеев

[ИСБ27] ТЖМ – У. Кронеберг, с искажением

[ИСБ28] Ричард III, 1, 1 – А. Радлова, с искажением

[ИСБ29] ТЖМ – М. Лозинский

[ИСБ30] ТЖМ – Б. Пастернак

[ИСБ31] ТЖМ – М. Лозинский с искажением

[ИСБ32]Гамлет1, 4 – М. Лозинский, с искажением